НЁМАН

9/2014
СЕНТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

Главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я

Вадим Гигин, Наталья Голубева,
Олег Ждан (редактор отдела прозы), Алесь Карлюкевич,
Александр Коваленя, Тамара Краснова-Гусаченко, Владимир Макаров,
Роман Матульский, Владимир Мозго (заместитель главного редактора),
Геннадий Пашков, Михаил Поздняков, Елена Попова,
Олег Пролесковский, Алесь Савицкий,
Анатолий Сульянов, Николай Чергинец

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

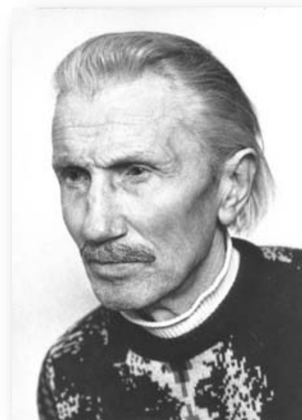
Подписано к печати 12.09.2014 г. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,94. Тираж 2767. Заказ 2629.
Цена номера в розницу 21 400 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.

© «Нёман», 2014, № 9, 1—224

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ВЛАДИМИР ДОМАШЕВИЧ

Финская баня

Повесть

I

Белый снег, белый снег, — белый пух лебединый...

Все белое здесь, как в заколдованном царстве: дорога, поляны, кусты, лес вдоль дороги — все утопает в пушистом и мягком снегу. Деревья аж сгибаются под его тяжестью, ветки не выдерживают белой массы и время от времени ломаются. А дотронешься ненароком до пушистой ветки — и на тебя обрушится снежная лавина, и ты становишься еще белее, потому что снег этот, нетронутый финский снег, намного белее твоего маскхалата, который ты не снимал много дней и ночей, сидя в каком-нибудь временном убежище из еловых веток, греясь у походного костра.

Они шли на лыжах в маскхалатах, шли в белое, сливались с белым, и если бы не ритмичное шуршание лыж и легкое поскрипывание лыжных палок в снегу, можно было подумать, что все вокруг уснуло под белой пушистой периной и видит зимние сны. И что нет на этой засыпанной снегом земле ни гула танковых моторов, ни пушечных выстрелов и взрывов снарядов, ни захлебывающихся пулеметных и автоматных очередей, ни предсмертных криков раненых. И что на улице только январь сорокового года, второй месяц тяжелой войны, когда их маскхалаты и снег часто окрашиваются кровью. Белое становится красным. Но белого здесь так много, что сколько его ни крась, белое останется белым. Белый снег, белые финны — белофинны. Вот почему им подходит такое название...

Лыжники в маскхалатах шли уже около часа, чувствовалась усталость, становилось жарко. Это была бригада бойцов, набранная преимущественно из спортсменов, хорошо тренированных, вооруженных новыми автоматами, а не длинными трехлинейками со штыками. Автомат — новое оружие, которое не каждому дадут. Лыжники-автоматчики всегда наготове — на случай прорыва, на случай нападения или окружения. Но в этот раз они шли выручать пехотный полк майора Исаковского, который уже неделю сидел в окружении между двух озер, голодал и замерзал от холода.

В бригаде лыжников было много белорусов, среди них оказался и Василь Колотай. Его призвали из Минского института физкультуры, где он занимался легкой атлетикой, преимущественно бегом на длинные дистанции, а зимой переходил на лыжи. Василь был рослым парнем, худощавым, но жилистым и выносливым, друзья да и преподаватели предрекали ему чемпионство, а он только улыбался сам себе: нужно ему чемпионство как собаке пятая нога, ему бы поскорей окончить институт да в какую-нибудь школу, чтобы на родную Случчину, да взяться за физкультуру, немного расшевелить школяров, которые к спорту были слишком равнодушны. Но он их расшевелит, разогреет!.. Вот только если бы не эта дурацкая война. Не успели разобраться с освобож-

дением Западной Белоруссии, как тут уже Финляндия — и ее нужно освобождать! Да что-то она не очень хочет, чтобы ее сделали свободной — красной, ей и белой быть неплохо — по всему видно, особенно по тому, как воюют ее солдаты. В плен не сдаются повзводно, как им обещал комиссар на занятиях по политграмоте, а еще и берут в окружение наших бойцов, да вон какими «кусками»: целым полком.

Не понравилось Василю Колотаю, что сегодня утром поменяли командира: прислали какого-то нового из штаба армии. Штабист, штабная крыса, пороха, наверняка, не нюхал. Но не трусливого десятка, потому что еще затемно ходил на рекогносцировку с комбригом Данилиным, их обстреляли финны — и Данилин погиб, а новый, по фамилии Мартэнс, не иначе, из прибалтов или даже латышских стрелков, взял командование на себя, объяснил бригаде задачу и вот ведет их, сам с командирами рот и взводов пошел первым. А где должен быть командир на боевом коне во время наступления, как говорил Чапаев? Но ведь это не кавалерия, это не степь, ровная, как стол, и голая, как бубен. Здесь лес да лес, замерзшее болото, здесь пехота — сто верст прошел и еще охота. Здесь такие озера под снегом, что как только выйдешь на ровный лед, по тебе сразу и влупят из миномета, а если не ляжешь — то и из пулемета. А потом не дадут поднять голову час и больше, и ты уже почувствуешь, что под тебя подплывает вода, а если промокнешь, то тебе конец на сильном морозе, а если и выживешь, то останешься инвалидом. Много таких историй наслушался за последний месяц Василь Колотай, сам попадал в подобные переплеты, но Бог берег от самого худшего.

А перед тем, как их полк попал в окружение, они сами организовали засаду на финнов. Наши конные разведчики выследили их задолго до подхода. Они шли без разведки, вслепую, целый лыжный батальон намеревался прорваться в наш тыл и перерезать дорогу, по которой шло обеспечение фронта.

Дорога, которой двигались финны, была заминирована по обе стороны противопехотными минами-лягушками, выскакивавшими из своих гнезд и взрывавшимися над поверхностью земли, сея смерть. На изгибе дороги взвод автоматчиков устроил засаду с ручным пулеметом по центру. Финны шли как на марше, колонной по два человека, растянутой на пару сотен метров, шли на кинжальный огонь пулемета и автоматов. Вот хлопнул выстрел: взлетела красная ракета — это был сигнал открывать огонь. Застрекотал пулемет, оглушительно ударили автоматы. Колотай лежал неподалеку от пулеметчика Кашкина, стрелял из автомата не целясь, только водил горизонтально стволом, был оглушен стрельбой и тем, что видел перед собой. Картина предстала ужасная: передние финны, преимущественно командиры, были скошены пулеметным огнем. Те, кто шел следом за ними, либо были убиты, либо бросались с дороги влево и вправо, ища спасения, но тут же подрывались на минах, падали мертвыми или ранеными. Сколько продолжался бой, Колотай не мог бы сказать, но ему показалось, что эта сцена расстрела финского батальона продолжалась долго-долго, будто в замедленной киносъемке. Вся дорога и снег у дороги были устланы трупами в маскхалатах, сквозь которые проступали большие красные пятна. Спастись удалось немногим — тем, которые шли позади всех, кого не могли достать пули бойцов из засады. Пулеметчик Кашкин, сыгравший главную роль в уничтожении финских лыжников, вскоре после боя сошел с ума: начал плакать, потом ругался, бросался на всех с кулаками, кричал: «Это вы, гады, устроили бойню! Бог вас накажет! Он вам не простит!» Его связали и отправили в санчасть. Что с ним было дальше — неизвестно.

Впервые после этого боя — если это можно назвать боем — Василь Колотай пожалел финнов: им тоже больно, как и нам, и кровь у них красная, как и наша. У каждого из них есть отец и мать, у многих — дети. Теперь родители не дождутся своих сыновей, дети — своих отцов. Зачем все это, зачем?

Сколько дней прошло после того случая, а Колотай никак не может избавиться от назойливых мыслей, картины того боя не дают ему сосредоточиться на чем-то другом, снова и снова возвращают в тот ад, на ту дорогу. Чем-то она напоминает ему эту, по которой они сегодня идут на лыжах — такая же белизна, такие же заснеженные деревья: одни стройные, ровные, другие выделяются кривизной или однобокостью, сломанной верхушкой или еще чем-то. Каждое дерево имеет свой облик, свое «лицо». Каждое дерево... А за каждым деревом, возможно, притаился их враг, финн-«кукушка», и стоит ему нажать на курок, как кто-то из их цепочки лыжников вскрикнет от боли и упадет неживым на сыпучий снег, который тут же окрасится в красный цвет. Особенно пугают заросли вдоль дороги, где деревья и кусты стоят просто стеной — тогда аж сжимается тело от предчувствия чего-то необычного, страшного. Но такое продолжается недолго, он снова расслабляется, смотрит на дорогу, на непрерывное движение колонны, которая, кажется, понемногу сбавляет темп ходьбы. Ведь идут они уже давно, наверное, больше двух часов, а никакой команды нет, и когда привал — неизвестно, и где тот окруженный полк — неизвестно тоже. Живая, трепещущая масса, как длинная гадюка, растянулась на несколько сотен метров, она то исчезает в густом белом ельнике, то показывается снова, шевелится, покачивается, неумолимо стремится вперед. Становится жарко, охватывает слабость, хочется пить, а еще больше хочется дать отдых натруженным ногам, которые, кажется, вот-вот схватит судорога, и ты упадешь на мягкий снег и не будешь шевелиться, хоть боль от судороги не даст тебе успокоиться.

Но не кончаются ли заросли, потому что вон впереди показался просвет между верхушками деревьев, лес, будто нехотя, отступает от дороги, и они потихоньку выходят-выползают на огромную поляну, которая показывается слева от дороги, а справа остается лес. Возможно, это даже замерзшее озеро, потому что снег на нем ровный и гладкий, не видно ни кустов, ни поваленных деревьев.

И тут же по живой цепи приходит от головы колонны долгожданная команда «привал». Еле заметные на белом фоне фигуры бойцов впереди остановились, стали смешиваться и разрушать строй, высыпаться на белое поле слева от дороги, некоторые снимали лыжи, падали на снег, качались, словно уставшие кони, избавившиеся от хомута, некоторые стали толкаться, — и снег аж заклубился под сотнями ног, будто сюда прорвался вихрь. Те, кто шел сзади, постепенно заполняли поляну, присоединялись к остальной массе, тоже начинали резвиться на снегу, чтобы дать разрядку — не столько физическую, сколько психологическую — тому состоянию нервного напряжения, при котором человек ожидает самого худшего. Сейчас им казалось, что самое худшее уже в прошлом, хотя задачу свою они еще не выполнили: к цели не подошли, а противника не только не уничтожили, но даже не видели в глаза. Рано было радоваться, так как все еще впереди. Но молодость беспечна, она беспокойная и веселая, даже на войне. Кое-кто закурил, сидя на снегу, подложив сдвинутые лыжи, некоторые прикладывались к своим фляжкам, чтобы утолить жажду, начались разговоры, толкотня, поиски знакомых. Происходило что-то напоминающее большую ярмарку: народа — больше тысячи молодых парней, вот только что-то девушек не видно...

Но такая мирная и довольно спокойная картина продолжалась недолго. И это естественно для военного времени. Вдруг среди этой беззаботности прозвучал выстрел, и в небо над поляной пошла, потрескивая, красная ракета. Сигнал тревоги? Еще не успела ракета сгореть, как лес вокруг поляны-озера ожил, загремел выстрелами: палили винтовки, автоматы и пулеметы. Огонь был прицельный, потому что те, кто стоял — тут же падали, скошенные пулями. Погибали и лежавшие, и сидевшие — целились снайперы. Пули вспарывали снег, пробивали лед, летели в воздух ледяные осколки, начала фонтанировать вода. Лежавшие вынуждены были вставать, но тут же их косили пули невидимых врагов, стрелявших из зарослей, которые окружали поляну-озеро. «Что же это творится?» — спросил Колотай у бойца, лежавшего рядом, они почти соприкасались головами в своих шапках-ушанках серого цвета. Тот лишь хлопал глазами, рот его был открыт, а зубы стучали, как у голодного волка. Говорить он не мог, только пожал плечами. Автомат парень держал обеими руками, как мать маленького ребенка, прижимая к груди. Видимо таким образом думал уберечь себя от беды. «Что это творится?» — спрашивал уже сам у себя Колотай — и не мог дать ответ. Выстрелы гудели, шумели, стонали, отдавались эхом, падали бойцы, белый снег местами окрасился кровью. Людей охватила паника, они были просто ошеломлены происходящим вокруг рядом с ними, но ничего не могли сделать, чтобы как-то изменить ситуацию в свою пользу: они были беспомощны, как дети на глубокой воде. Их просто расстреливал невидимый противник, как куропаток на белом снегу: каждая пуля находила свою цель. А они, кто еще оставался жив, не могли ответить ему тем же: они не видели врага, они были как слепые, как с завязанными глазами.

Василь Колотай лежал, зарывшись в снег, чего-то ждал, а чего — и сам не знал. Ждал какой-то команды или конца стрельбы? Скорее всего, — конца стрельбы, потому что, если она будет продолжаться еще столько же, то из них здесь мало кто останется в живых. И вот среди этого беспорядочного и непрекращающегося грохота выстрелов он услышал отличающийся выстрел из ракетницы и тут же увидел зеленую ракету, взлетевшую оттуда же, откуда до этого красная. Она описала дугу над поляной, долетела до земли и погасла. И произошло чудо: стрельба смолкла — словно дирижер взмахнул палочкой и вдруг перестал играть несуразную мелодию большой оркестр. Трудно было поверить в это, но так оно и случилось: ни одного выстрела! Однако никто не спешил вставать, потому что никто не поверил, что обстрел закончился. Колотай, подняв голову, посмотрел налево, глянул направо. Бойцы лежали рядом и слева, и справа, и впереди — вокруг, как снопы. Одни шевелились, другие не подавали признаков жизни или просто затаились — трудно было понять.

«Пора вставать», — сам себе сказал Колотай и поднялся на колени, а потом встал во весь рост. «Где командиры? — спросил сам у себя. — Почему не слышно команды?» Кое-где на чистом белом поле, где лежали неподвижно или шевелились бойцы в белых халатах, местами заляпанных кровью, он увидел отдельных смельчаков, которые, встав, поворачивали оружие к лесу и начинали стрелять — кто длинными, кто короткими очередями. Но странно, что ответа из леса нет, будто там и действительно никто не притаился. «Переводят патроны», — подумал Колотай, но и сам перезарядил автомат, посмотрел, не видно ли чего подозрительного неподалеку в заснеженных кустах на окраине поляны, откуда недавно бил пулемет, и дал длинную очередь, сбивая снег с ветвей. Всего только! «Нет, так воевать нас никто не учил! Дайте мне противника!» — снова сказал сам себе Колотай и направился к дороге, переступая через тела товарищей — живых и неживых. Но не успел дойти: опять

красная ракета взвилась над поляной-озером — и тут же на бойцов обрушился новый шквал огня, еще, казалось, более плотный, чем после первой красной ракеты. Все, кто стоял, вмиг попадали — кто живым, а кто убитым. «Добивают, гады! — со злостью подумал Колотай про финнов. — Завязали мешок и добивают. Вот это баня! Финская баня, черт подери!»

Он упал и пополз к дороге, оттуда было проще скрыться в лесу. Между тем, поляна-озеро начала покрываться водой, снег впитывал ее, как губка, тонкий лед, теперь побитый пулями, готов был проломиться под тяжестью стольких людей. Они давили на лед, лед давил на воду, и она рвалась на поверхность. Подальше от воды, подальше, не то намокнешь, тогда конец. Здесь мороз не то что у нас... Подальше от воды, подальше от беды... Кто-то выстрелил ему вдогонку, пуля просвистела у самого уха... Может, это была не его пуля, ведь если бы его, то он ее не услышал бы, это знал с чужих слов, из чужого опыта...

Колотай ползет, а сзади, слева на поляне-озере бушует гроза: строчат, будто швейные машинки, пулеметы, бьют с короткими перерывами винтовки, захлебываются, частят автоматы, тут и там слышатся взрывы гранат. Нет, такого пекла ему еще не приходилось слышать и видеть. Скорее в кусты, скорее! Автомат мешает ползти, хочется отбросить его как ненужную вещь, но что-то как бы останавливает: ты отвечаешь за него головой. Головой, не чем-нибудь! Так пусть уж будут вместе — голова и автомат. Хотя в такой ситуации не думается о том, что будет, человек живет мгновением, им управляет скорее не разум, а инстинкт самосохранения, он диктует, он ведет...

Так оно и случилось: очутился в кустах за дорогой, уже выбирал момент, чтобы встать, как вдруг заметил возле своей головы две пары пексов-валенок и обомлел — финны! И тут же получил чем-то тяжелым по голове — и все исчезло. Кажется, очнулся сразу, потому что финны стояли над ним так же близко, как и до этого, направив на него карабины.

— Вставать! — сказал резко тот, который был ближе к Колотаю, рослый и крепкий.

Колотай пошевелился, будто проверяя, способен ли он стоять на ногах, встал на колени, повертел головой — вернулась ли она на место после короткого беспамятства и, опираясь руками на утоптанный снег, тяжело поднялся на ноги. Автомат его остался лежать на снегу.

— Руки, руки! — сказал второй финн, щуплее первого, в таком же белом, уже изрядно поношенном — с темными пятнами — маскхалате-комбинезоне с капюшоном и ткнул ему стволом карабина в грудь. — Тэрвэ! — добавил по-фински, и оба захохотали. Смех был короткий, чувствовалось, что они еще не остыли после боя.

Колотай нехотя поднял руки, а что такое «тэрвэ», он не знал, но ему показалось, что это означает «конец». Тем временем щуплый подобрал автомат со снега, проверил, заряжен ли, повесил на шею. Финны о чем-то заговорили между собой, чужой незнакомый язык показался ему несуразным, смешным, и если бы он не стоял здесь с поднятыми руками, то, возможно, захохотал бы. Но сейчас было не до смеха: такого конца он не ожидал. Его охватила слабость, словно из него выпустили кровь. О каком-то сопротивлении он даже не думал. Получилось что-то похожее на детскую игру: чего разлегся, вставай, пошли! Все просто как дважды два.

Между тем стрельба на поляне постепенно слабела. Стреляли короткими очередями из автоматов, бухали винтовочные выстрелы, пулеметы почему-то молчали — они сделали свое дело. «Добивают, гады, — подумал Колотай. — Добивают... Пусть бы уже добили и меня, хоть позора не было бы. А теперь что: плен?»

II

Белая заснеженная дорога для Василя Колотая закончилась тогда, когда их, человек тридцать, случайно уцелевших после бойни у Кривого Озера, пригнали в небольшой городок за несколько десятков километров от фронта и разместили в подвале двухэтажного дома, принадлежащего муниципалитету, и отдали в распоряжение местной жандармерии. Такого унизительного, позорного конца похода никто не ожидал. Настроение было угнетенное, даже мрачное. Хотя уже то, что их загнали в глубокий тыл, вселяло надежду остаться в живых, уцелеть. На войне, как ни крути, это что-то да значит. После такой страшной, внезапной гибели своих товарищей они могли чувствовать себя чуть ли не счастливчиками: пули их не задели. Они поменяли свой статус — и из бойцов действующей армии превратились в бесправных пленных в чужой стране, которая теперь может сделать с ними все, что пожелает. Им не сказали, что их ждет дальше, только пожилой, уже седой жандармский вахмистр, старательно подбирая русские слова, сообщил им, что их судьба должна скоро решиться, советовал потерпеть и сильно не переживать.

Да уж, переживать нечего было. Они ничего не знали о том, что сейчас происходит на фронте, кто кого «гнет» и кто кого «давит», но после разгрома их бригады у многих совсем пропал аппетит, потому что вера в скорую победу над финнами как-то сама по себе стала развеиваться. Финны защищаются упорно, к тому же у них хорошие отношения с французами и англичанами, и если те начнут помогать, нашим будет еще тяжелее, чем сейчас. А аппетит пропал еще и потому, что здесь их кормили, как обычно кормят пленных: чем попало и два раза в день. Еще хорошо, что два, могли бы и один раз: они советские пленные, вчерашние враги, которые пришли на их землю с оружием в руках и хотят эту землю присвоить себе. Если не всю, то большой кусок Карельского перешейка, чтобы ликвидировать угрозу колыбели большевистской революции — Ленинграду.

У Василя Колотая болела голова от удара прикладом, шишка вскочила большая, с куриное яйцо, почти на самом темечке, ближе к правому уху. К счастью, кожа выдержала, не разорвалась, видимо, спасла толстая, на вате, шапка-ушанка. На эти ушанки уже стали менять прежние холодные буденовки с нашитой красной звездой. Если бы не эти шапки-ушанки, они тут просто поотмораживали бы себе не только уши, но и головы.

Они просидели, пролежали на овсяной соломе в холодном подвале несколько долгих суток — таких долгих, что, казалось, конца им не будет. Хорошо, что вверху горела тусклая лампочка, можно было хоть рассмотреть лица людей. Много говорили, спорили, доходило чуть ли не до мордобоя. Одни ругали финнов, другие за них заступались и ругали Советы, особенно командарма II ранга Мерецкова, называли его бездарным учеником такого же учителя. Говорили, что войну не стоило начинать, она не нужна была нам. А кто же начал? Финны! — кричали одни. Советы! — кричали другие. Кому было верить? Правду никому не говорят, правду скрывают, потому что она глаза колет, может испортить репутацию верхам, может настроить массы не на тот лад, который нужно... Но главный, больной вопрос был — почему это маленькие финны бьют больших советских? Это случайность или закономерность? Зима, лес, снега, болота — союзники финнов. Почему только финнов? Потому что они обороняются, а мы наступаем! Наступаем... на грабли, а те нам по лбу: не лезь в чужой огород, лучше за своим ухаживай... У нас все есть, и троекратное или даже большее преимущество в силе, в технике, а результат — мизерный. Почему? Кто виноват? Финские укрепления? Так не

нужно на них в лоб идти, нужно обойти. А они напролом прут, что им, нас жалко? Головы у нас толковой нет, разумной головы нет — от этого все наши беды. Другие подкрепляли услышанное: возьмите историю — только массой брали! Мясом пушечным... Как вот они здесь, в этом подвале... Почему они тут оказались? А все же лучше, чем лежать и коченеть на мокром льду, — говорили третьи, за что их живьем готовы были проглотить ура-патриоты, которых, однако, было совсем и совсем мало.

Потом переходили к национальному вопросу: сколько здесь русских, сколько украинцев — в процентном соотношении. А вот белорусов — хоть отбавляй! Почему их столько нагнали? Потому что белорусы ближе к печке. Как дрова! Берут те, которые ближе к печке, — говорили одни. Умный хозяин берет те, которые лежат дальше, а те, что близко — и дурак найдет, поправляли их другие. Не можем мы воевать, потому что не умеем. Разумные головы поснимали, остались без мозгов. Тем полком, который попал в окружение, кто командовал? Майор! Вот и накомандовал. Масса безголовая осталась, вот в чем наша беда...

Говорили искренне, открыто, в советской казарме такое сказать не посмели бы... Даже не успели бы...

Василю Колотаю все это интересно было слушать, он и сам вставлял иногда реплики, особенно когда заговорили про белорусов, мол, их бросают, как дрова в огонь потому, что они ближе к печке. Это очень похоже на правду, но попробуй ты скажи в глаза кому-нибудь из советского начальства! Сразу врагом народа, националистом обзовут и тут же скажут «пройдемте». Особенно если ты на родном языке заговорил. Ах, как он режет слух нашему «старшему» брату! «Чаму вам дзіка Яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў». Янка Купала, наш пророк, сказал эти слова не только для поляков, но и для русских — чтобы знали. Но куда там! В коммунизме все должны будут говорить по-русски, — твердят кремлевские политики-теоретики. Так зачем мне такой коммунизм, если меня там человеком считать не будут, когда я захочу говорить на своем языке? Идите туда без меня, я может и без него проживу, только не тяните меня на веревке, не гоните, как быдло, палкой или кнутом. Дайте людям право на выбор: вот это, это и это — выбирай, что тебе любо. Нет, не дают, не дадут, только то бери, что они тебе скажут, только туда иди, куда они тебя направят... Вот у вас, финны, флаг какой-то не такой, как положено: белое поле и синий крест на нем. Что это за несуразность? Мы вам наш вручим, красный, огненный, цвета крови и революции, вот это флаг! Мы его пронесем по всей Европе, а потом и по всему миру, вот увидите!

Споры спорами, но время идет — и кушать хочется, и мысли беспокойные лезут в голову: а что там дальше? Куда их отправят, куда погонят? Дадут право выбора? Чего захотел! Ты здесь бесправный, ты здесь пленный, и твое желание никого не интересует, оставь его при себе...

Но вот начинается что-то новое: их вызывают по списку по несколько человек — и те исчезают, больше не возвращаются. Все волнуются: берут и в какую-то пропасть бросают, что ли? Хоть бы сказали, чтобы подготовиться морально... Наконец вахмистр сказал, коверкая русские слова, что их забирают хозяева финны как рабочую силу. Через два дня их осталось меньше половины. И вот подходит очередь Колотая. Вызывают его и еще двух бойцов... бывших бойцов, приводят в какую-то канцелярию. Там уже несколько мужчин, одетых по-зимнему, уже немолодых, где-то около пятидесяти, по виду крестьян — в тулупах, сидят и ждут. Или кого-то ждут? Видимо их, пленных. Вот дожились: их рассматривают, изучают, но молча, только сами

переговариваются с конвоем, ведут себя спокойно, даже деловито: ну как на ярмарке, когда выбирают коня или корову, только что в зубы не смотрят — парни молодые, по двадцать с хвостиком, самая сила. Может и платить за них будут, кто их знает?

Через пару минут осмотра грузноватый финн в рыжем коротком тулупе и валенках, подшитых черным хромом, подошел к Колотаю, посмотрел в глаза, молча подал руку. Колотай протянул свою, крепко пожал, будто хотел показать свою силу, а зачем — и сам не знал. Неужели чтобы понравиться новому хозяину? И почему этот финн выбрал именно его? Может, потому что он ростом выше своих двух товарищей, которые были здесь вместе с ним?

— Лыжи хорошо владеешь? — спросил финн по-русски с акцентом.

— Лыжами владею хорошо, — поправил он финна и ждал нового вопроса.

— А как твоя фамилия? Моя — Хапайнен. Якоб Хапайнен.

— А моя — Василь Колотай, — ответил с готовностью.

— Хорошо, Колотай Васил, я тебя забираю, — сказал Хапайнен и повернулся к вахмистру, сидевшему за столом с толстой книгой, и о чем-то спросил его по-фински, тот ответил коротко. О чем-то они вроде как договаривались. Вахмистр открыл толстый гроссбух — бухгалтерскую книгу — где-то в середине, что-то записал, переспросил еще раз фамилию и имя Колотая, потом дал расписаться самому Хапайнену, новому хозяину Колотая.

Присутствующие молча смотрели на этот новый вид торговли. Хотя какой он новый? Новое — это давно забытое старое. Идет война, и люди расплачиваются за это: кто жизнью, а кто неволей, рабским трудом. Вот так, как они сейчас начинают.

— Пошли, — сказал Хапайнен своему новому батраку.

Колотай пожал руки своим товарищам, пожелал счастья, и у него как-то заныло в груди: они еще свободные... пленные, а он уже стал батраком. Их будто разделяла уже невидимая, но крепкая стена. Но через несколько минут и они станут батраками, что тут гадать? Может даже так будет и лучше: уже как бы что-то решается, уже какая-то почва под ногами. А там будет видно...

Они вышли из здания, относительно теплого, на холодную морозную улицу, и Колотай аж передернулся — его будто пронзило. Поскрипывая снегом, первым шел Хапайнен, за ним, в неудобных валенках, еле поспевал его батрак. Подошли к возку, чем-то напоминающему те, которые приходилось видеть Колотаю дома, на Случчине, и у него сразу как-то потеплело на сердце. В возок был запряжен небольшой крепкий каштанчик, с длинноватой шерстью, покрытой легким инеем. Он сразу узнал хозяина и коротко заржал. Сбруя на нем была не новая, но ухоженная, аккуратно лежала на конике: хомут, чересседельник, уздечка с шорами. Вожжи кожаные, крепкие, на дуге покачивалось колечко, к которому можно было привязать колокольчик: все как полагается.

— Поехали, — сказал Хапайнен и достал из правого кармана тулупа блестящие браслеты-наручники, подбросил их на ладони и спрятал обратно в карман, буркнув как будто сам себе: — Думаю, эта игрушка лишняя.

И этим жестом он сразу склонил Колотая на свою сторону, сделал его своим союзником. Они сели в возок на заднее сиденье рядом: хозяин Хапайнен справа, как и надлежит тому, у кого кнут и вожжи, батрак Колотай — слева, переднее сиденье осталось пустым, укутали ноги старым шерстяным одеялом — и Хапайнен тронул вожжами коня.

Дорога была хорошо укатанная, коник бежал трусцой, возок легонько покачивался на неглубоких зимой выбоинах, ездоки прикасались друг к другу локтями и молчали. Хозяин следил за дорогой, хотя она, видимо, была ему хорошо знакома, а Колотай любовался лесными пейзажами, которые постоян-

но сменялись перед глазами и просто завораживали своей красотой: деревья, преимущественно ели и сосны, стояли заснеженные, как стоги ваты, то приближались к дороге, создавая узкий, как траншея, тоннель, то отступали, давая простор глазам. Солнца не было видно, оно скрывалось за какой-то морозной поволокой, и сложно было определить, какое сейчас время суток — утро или вечер. Вскоре убаюканному Колотаю стало казаться, что это они с отцом едут по лесной дороге в родной Слуцк, чтобы купить ему какую-нибудь обновку, потому что нужно ходить в школу, а пальто у Василя, считай, нет, оно стало тесным, рукава совсем короткие, даже смешно смотреть. Конь Гнедой бежит легко, бодро, только пофыркивает иногда да хвостом покручивает.

Это было давно-давно, а вот же всплыло в памяти, как будто сегодня происходит. Так похож был лес, так похожа была санная дорога, и коник как будто свой, только вместо отца — чужой человек незнакомой национальности, а он сам — страшно сказать! — пленный советский боец, едет батраком к новому хозяину. Это что-то совсем невероятное! Такое может только присниться в страшном сне, а вот же не сон, а явь...

А когда все началось, с чего началось? С их разгрома на марше, у Кривого озера — так назвал бы то место, где их расстреливали, как куропаток, финские солдаты. Кривое — потому что одним краем подступает к дороге, а все остальное отодвигает лес, создавая — на первый взгляд — кривую, однобокую поляну, на которой им дали команду на привал. Интересно, была ли это случайность, или кто-то так задумал? Очень уж похоже на провокацию. Ведь если бы не этот привал, они не стали бы живыми неподвижными мишенями, в которые только не ленись стрелять, что финские стрелки и делали — не ленились. На марше они бы не понесли и десятой доли тех потерь, которых не смогли избежать тогда на привале... Хотя и на марше... Вспомни финнов, которых они били на марше. Сколько их уцелело? Но там было минное поле вдоль дороги, там мины-прыгуны скосили их не меньше, чем пули. Да и ручной пулемет Кашкина косил их, как хороший косарь траву. Недаром парень не выдержал нервного напряжения, хоть и с опозданием, но дошло до него, что косил не траву, а живых людей, пусть и финнов, потому и каялся, потому и плакал, потому и проклинал тех, кто вместе с ним убивал... Сейчас он, наверное, еще больше оплакивал бы своих, которых так же косили финские пули...

Заколдованный круг, и сложно сказать, кто виноват, кто грешник, а кто праведник. Сложно! Только спустя годы люди узнают правду. Хотя — вот недавно было: кто начал первым войну? Поляки или немцы? Кто на кого напал? Немцы говорят — поляки напали на их приграничный городок Глейвиц. А поляки говорят, что это немцы переодели своих солдат в польскую форму и «напали» на свой город, захватили радиостанцию, вышли в эфир, угрожали Германии. Чистой воды провокация! Говорят, — страшно подумать — что эту войну начали не финны, как твердят политруки Красной армии, а мы сами обстреляли свое поселение на Карельском перешейке, обвинив финнов... Где правда, где кривда? Но, если хорошо подумать, разве слабый на сильного нападает? Только последний дурак так может сделать...

Езда уже порядком надоела, становилось холодно, начали мерзнуть ноги, стоило бы, на добрый лад, пробежаться, взявшись за возок, но он только шевелил пальцами в валенках, шевелил ступнями, иногда подергивал ногами, плотней укутывал колени своим маскхалатом, который, как ни странно, с него не содрали, забрали только ремень с сумками для гранат и патронов, точнее, рожков с патронами, которые он почти не растратил — берег на случай, а вот на какой — неизвестно... Ему сейчас казалось, что он сидит чуть ли не голый, и мороз так и подбирается к пояснице и ползет выше, за плечи.

Хапайнен, хозяин Колотая, сидел спокойно, иногда подергивал вожжами, подгоняя каштанчика, который бежал и бежал как заведенный, не ускоряя и не замедляя свой размеренный бег, все больше и больше покрывался инеем и уже становился седым, а потом почти совсем белым. Как долго они ехали, Колотай точно не знал, но по тому, как он замерзал, ему казалось, что они едут часа три, а может, и дольше. Значит, отмахали километров тридцать или даже больше, а лес все не кончается, только становится то выше, стройнее, величавее, то реже, ниже, кривее, со множеством засохших и поваленных деревьев — это, судя по всему, было заболоченное место, на котором дерево нормально расти не может, ведь корень его постоянно в холодной воде, а дерево, как ни странно, не растет и засыхает именно от нехватки этой самой воды, потому что корни при холоде закрывают свои поры и не пускают в ствол такую необходимую влагу. Так когда-то рассказывал ему, Колотаю, еще мальчику, местный лесник.

Странные люди финны, — думал между тем Колотай. Вот столько времени они едут, сидят рядом, а ни слова не произнес человек, не спросил ни о чем, не рассказал ничего, будто он здесь один. Что за человек? И наверняка же его интересует, кого он везет, откуда он, как попал в плен. А вот же молчит: как воды в рот набрал. Ну и он, Колотай, не хочет показаться слишком любопытным, докажет ему, что и белорусы умеют держать язык за зубами, тем более — на финском морозе. Правда, что Колотай белорус, Хапайнен может и не знать, он может даже не знать, что есть где-то такая Беларусь. Для него пленный — это бывший русский, советский солдат, который пришел, чтобы завоевать их, сделать своими слугами. Но еще неизвестно, будет ли так, а пока пусть они, советские солдаты, послужат им, финнам, пусть оставят при себе свою спесь, свои завоевательские замашки...

Может, так думал Хапайнен, а может, ничего не думал, — разве мог знать Колотай, о чем думает человек, который молчит?

Если бы они разговаривали, дорога показалась бы им намного короче и, возможно, даже приятной — смотря о чем они говорили бы, а так это не дорога, а сплошная тягомотина. Хорошо еще, что лес вокруг, что деревья в белом убранстве, словно в каком-то волшебном сне. Даже ни одного зверя не увидели, ни один заяц или волк дорогу не перебежал. Наверняка, лоси и олени здесь водятся, быть не может, а вот же не вышли на дорогу посмотреть, кто это нарушает их извечную тишину, их заколдованное царство. Но не хотят — ну и не надо...

Лес постепенно начал редеть, будто его тут недавно вырубали, оставляя деревья похуже: то кривобокие, то невысокие, то со сломанной верхушкой или обломанными ветками от низа до самого верха, и дерево выглядело как-то невзрачно — голое, осиротевшее, несчастное, словно ему было очень холодно. Попадался и сухостой, который обычно не стоит долго, так как его сразу же режут на дрова, встречался и бурелом, но редко.

Одним словом, Колотай решил, что финский лес мало чем отличается от белорусского. Кажется даже, что наш лес более обжитый, ухоженный, а этот, распростершийся на десятки километров вдоль дороги — более глухой, нетронутый, даже заброшенный — просто дикий, как наша пуща. Во всяком случае, здесь мало попадалось лиственных, а сейчас безлистых деревьев, преобладал ельник, сосонник, в подлеске — можжевельник, молодой ельник. Сейчас все это богатство было густо засыпано снегом, и когда он опадет — неизвестно, потому что ветра, как положено, гуляют по верху, до самого низа в лесу они не достают. Значит, нужно ждать весны, а до нее еще вон как далеко. И деревья, словно медведи в берлогах, спят себе, прикрытые белыми холодными перинами.

Когда уже закончится этот лес, когда закончится их долгая дорога? — не раз мысленно задавал себе вопрос Колотай. Он уже рисовал встречу с семьей этого Хапайнена: у него жена немолодая, возможно, такая, как и он — лет пятидесяти, а детей у них, наверное, немало, может, душ пять, потому что финны большие патриоты и заботятся о своем будущем, не то, что мы, особенно городские: один-два ребенка — и уже все, большего не жди. А государство или нация прирастает за счет бедной деревни, еле сводящей концы с концами, и дети нужны, чтобы их хватало и остаться дома, и в город в поисках лучшей доли поехать, и в армию служить, и далекую Сибирь обживать... Сколько сыновей и сколько дочерей у Хапайнена — угадать сложно. Наверное, мальчиков — два-три, а девочек — одна-две, а может, наоборот — мальчиков меньше, чем девочек. Сейчас финнам нужны солдаты. Хотя кому они сейчас не нужны? Войной давно пахнет — или воняет? — Гитлер по Европе разгуливает, как у себя дома, да и мы не спим в шапку, по кусочку себе прирезаем: Западная Белоруссия и Западная Украина, сейчас вот на Финляндию замахнулись... Не к добру все это, не к добру! Ох, еще как могут столкнуться интересы двух больших лидеров — вождя и фюрера. Хотя Польшу они поделили мирно, не разругались...

Переход от семьи Хапайнена к политике произошел настолько естественно, что Колотай даже не заметил, это случилось как-то само по себе. Да и что ему, в конце концов, до семьи Хапайнена? Хотя если подумать, то он будет жить — или служить — в их семье...

Дорога наконец сделала резкий поворот налево, это, кажется, на юг, лес постепенно стал редеть, а потом и совсем закончился. Они ехали по ровному полю, в конце которого — а может, и не в конце — показались строения. С окнами — избы или дома, без окон — какие-то хозяйственные постройки: гумна, сараи, сеновалы, небольшие с трубами — бани, финские бани, черт подери! Бани! Подумать только — он будет мыться в финской бане! Ха! Думал ли? Гадал ли? И в снах не снилось. А вот же — совсем близко...

Но некоторые дома с разными строениями не были скучены, как у нас в деревне, а стояли поодаль, и походили скорей на хутора, чем на деревню. Хотя дома или избы здесь были «неравные», как писал наш Якуб Колас о полесской деревне, одни меньшие, другие большие, одни имели три-четыре постройки при доме, а другие — одну или две. И по виду тоже отличались: были небольшие, деревянные, а попадались и высокие, кирпичные, с двумя верандами, с двумя дымоходами.

Не успели они приблизиться к одному из деревянных домов с двумя дымоходами, как на них бросилась большая рыжая собака с черной мордой, громко залаяла, но не сердито, как лает собака на незнакомого человека, а словно шутя, встречая хозяина. Действительно, собака приветствовала Хапайнена, который свернул с дороги и подъезжал к дому, огороженному невысоким забором из жердей.

— Тэрвэ, тэрвэ, Каптээни, — сказал Хапайнен, слезая с возка, собаке, которая прыгала вокруг него на задних лапах, пытаясь лизнуть лицо. И добавил еще несколько слов — все той же собаке, но не сердито, а добродушно.

Колотай тут же вспомнил, что это слово «тэрвэ» ему говорил финский солдат, когда его, оглушенного, брали в плен. Скорее всего, оно означает «привет».

— Распрагай каня, — сказал почти по-белорусски Хапайнен своему новому работнику и вроде улыбнулся, приоткрыв тонкие губы под заиндевевшими усами. Это были его первые слова за всю дорогу — в конце дороги!

Колотай сполз с возка и будто на чужих ногах пошел к коню — ноги сильно окоченели и плохо слушались.

Коник, почуяв рядом чужого человека, прижал уши, но Колотай смело погладил его морду, снимая рукавицей густой иней по всей голове. Конь как-то безмятежно фыркнул и залязгал удилами, словно прося, чтобы его разнуздали, что Колотай тут же и сделал, немного стянув вниз недоуздок с головы коня. Начинал распрягать он с вожжей: отцепил от колец узду, собрал в моток, продел концы, сделав продолговатую скрутку. Потом рассупонил хомут, завязал супонь на кольце, чтобы не мешала, затем развязал ремень на седелке, после чего уже вынул дугу из гужей, сбросил шлею вместе с хомутом и положил на передок возка. Конь встрепенулся, стряхивая с себя густой иней, тихонько заржал, будто прося воды. Но поить разогретого коня никто не будет, Колотай это знал. Нужно его только накрыть чепраком, что он и сделал, взяв на сиденье, с которого они только что встали, толстый чепрак, еще, кажется, теплый от их ягодиц и бедер.

Хапайнен смотрел на работу своего помощника и был, видимо, доволен: свой парень, знает крестьянскую работу. Он так же, как это делали мужчины в Беларуси, стал бить руками крест-накрест по туловищу, чтобы согреться и размять руки после долгой дороги.

Тут дверь веранды открылась, и к ним вышел молодой высокий парень без шапки, коротко подстриженный, в коричневом свитере грубой вязки, в расклешенных серых штанах, заправленных в короткие голенища сапог-валенок, которые у финнов называются пексы, это Колотай уже знал.

— Тэрвэ! — сказал он.

Скорее всего, это был сын Хапайнена, потому что сходство бросалось в глаза: одинаковые, слегка кругловатые носы, форма рта, круглые большие глаза.

— Тэрвэ, тэрвэ, прывет! — ответил Хапайнен и что-то еще стал говорить ему, будто отчитывал, нажимая на удвоенные звуки.

Тот провел ладонью по волосам, сказал «кюлля, кюлля», внимательно осмотрел нового человека в маскхалате и русских валенках, подошел к нему и подал руку, сказав «Юхан», это его имя — так понял Колотай и ответил — «Василь».

Парень забрал у Колотая коня, похлопал его по шее и повел в сарай, большое длинное строение в стороне от дома и от улицы. А они, хозяин и его новый помощник, собрали сбрую, бросили все на возок и потянули следом за конем: Хапайнен впрягся в оглобли, а Колотай подталкивал сзади, — возок громко скрипел подкованными полозьями.

Эта короткая хозяйственная разминка показалась Колотаю чем-то вроде доброго знака. Мужчины приняли его хорошо, а это главное, — отметил про себя Колотай.

Изба, или дом — Колотай не знал, была на две половины, они зашли в левую, хорошо протопленную — а может, так показалось с мороза? — на четыре небольших окна, через которые еще пробивался дневной свет. Они разделись. Колотай снял наконец свой маскхалат, за ним — кавалерийский бушлат, хотя никаким кавалеристом он не был, собирался снять и теплую жилетку, но передумал. Хотел остаться в валенках, но хозяин подвинул к нему мягкие войлочные тапки и указал на них пальцем.

И здесь они все делали молча: раздевались, мылись, утирались, можно было подумать, что хозяин немой. Как ни странно, Колотаю это нравилось больше, чем расспросы, желание собеседника влезть в твою душу, выведать все, что его интересует, чтобы потом создать для себя твой портрет, а какой — это уже только ему будет известно. Они собирались перейти в другую половину дома, как вдруг хозяин спросил Колотая:

— У тебя какая-то фамилия неруски... Откуда ты? Польски?

— Я белорус, — ответил Колотай. — Беларусь — это край между Россией и Польшей. Территория у нас почти в два раза меньше вашей, а население сейчас, после присоединения Западной Белоруссии, в два раза больше, чем у вас.

— Скажи честно, ты хочешь домой? — немного подумав, спросил Хапайнен.

Такого поворота беседы Колотай не ожидал, это его насторожило, но ответил:

— Очень хочу. А если бы я сказал «нет», вы не поверили бы.

— Значит — да, *кюлля*? По нашему да — это *кюлля*, а нет — *эй*, а *тэрвэ* — это привет. Понял?

— Запомню навсегда, — сказал Колотай. — *Кюлля, эй, тэрвэ.*

— *Хювя он* — хорошо, запомни и это слово — *хювя он*. Но главное не это. У меня есть план, как тебе бежать, но пока не будем об этом. Подождем.

— Хорошо, *хювя он*, — ответил Колотай и протянул руку Хапайнену, крепко пожав, как в тот раз, когда они только увиделись.

Хапайнен ответил таким же крепким пожатием — в знак согласия.

Они пошли в другую половину дома: хозяин — первый, Колотай — за ним. И оказались на кухне. Здесь было намного теплее, чем в той половине, сразу ударили в нос запахи готовящейся пищи, повеяло чем-то знакомым, от чего Колотай успел уже отвыкнуть.

У плиты со множеством конфорок, от которой веяло горячим духом, стояла невысокая, средних лет женщина в темном платье, поверх которого был надет белый кухонный фартук, завязанный сзади. На голове у нее красовался синий вязаный чепчик с козырьком и наушниками, очень напоминающий уменьшенную военную финскую ушанку, из-под которого выбивались светлые, слегка вьющиеся, льняного цвета волосы. Лицо ее оживляли подвижные внимательные глаза, которые то увеличивались, то уменьшались — в зависимости от того, как она реагировала на услышанное.

Она повернулась к ним, как-то сильно удивилась или испугалась, потом растерянно улыбнулась, произнеся уже такое знакомое Колотаю «тэрвэ», и кивнула головой — как поклонилась.

— Это моя жена Марта, — сказал хозяин Колотаю. — Через час она нас накормит, а теперь, с дороги, мы сходим в нашу финскую баню-сауну, смоем все свои грехи, как у нас говорят.

Разговор они закончили, хозяйка сходила в левую половину, где мужчины только что раздевались, и через несколько минут принесла два свертка белья. Один вручила мужу, второй ему: березовый веник, свежее белье, большое полотенце, мыло, мочалка — все, что нужно для бани.

Пошли они вдвоем, сын Юхан должен был присоединиться к ним немного позже — занимался хозяйством. Баня-сауна состояла из трех, даже четырех частей или комнат: предбанник, моечное отделение, парилка и небольшая ванная комната, в которой стояла большая эмалированная ванна, что очень удивило Колотая. Эмалированная ванна в такой глуши, среди лесов и болот. Кто ее сюда доставил, и сколько она стоила бедному Хапайнену! Но главной была парилка: каменная печка, в которую вмурована железная бочка, обеспечивала водой — горячей водой. А вот откуда берется пар, Колотай так и не понял...

В предбаннике они разделись догола, было даже немного холодно, но вот вошли в моечное отделение, держа в руках веники, мочалки и мыло, — здесь дух уже был нормальный, чувствовалось, что баню протопили давно, и она дышит жаром как положено. А что же там в парилке? О, здесь жара, даже лицо

жжет, воздух сухой, как в овине, нужно его смягчить водой, что Хапайнен и делает: поливает камни тонкой струйкой из деревянной шаечки с длинной ручкой, напоминающей подойник. Такую шаечку получил и Колотай, он опускал свой веник в воду и обливался, чтобы не так жгло кожу. И кажется, от него самого начинал идти пар, а с лица пот тек просто ручьем, особенно с носа.

Появился Юхан — белый, еще не разогретый, с хорошо развитой мускулатурой груди, рук, плеч. Да и ноги у него были не тоненькие, как у высоких парней, а тоже довольно крепкие, кряжистые, как у его отца. Телосложением они были очень похожи, только сын выше отца на полголовы, и тоньше — его время еще не пришло, округляться будет потом.

Юхан сразу забрался на верхнюю полку, посидел немного, и облившись по́том, стал хлестать себя березовым веником, распространяя вокруг приятный аромат распаренных березовых листьев. Хапайнен и Колотай тоже даром время не теряли, хотя сразу наверх не ринулись, как молодой парень, которому хочется показать, чего он стоит. Сам Колотай париться не любил, на их Случчине бани не были распространены, не каждый хозяин имел свою баню — ходили к родственнику или соседу. «Стройте бани!» — призывал своих земляков Кондрат Крапива. Не все его послушались: кто строил, а кто ленился.

Другое дело в городе, а тем более — в армии. Тут хочешь не хочешь, а будешь ходить — и будешь любить. И все-таки приятно попариться-помыться, отхлестать себя веником, а если где не достанешь, там поможет сосед, а потом ты его отхлещешь на полке, он аж будет стонать и проситься, мол, нет сил терпеть больше — вот-вот каюк...

Постепенно мир будто исчезает совсем, остаешься ты в густом пару с несколькими людьми, которые заняты тем же, чем и ты, словно не замечаешь их, не чувствуешь, тебе становится легко и хорошо, потому что вода смывает с тебя не только пот и грязь, но и омолаживает, возвращает затраченные силы, она достает даже до души, до самого дна, очищает, смывает все бесчеловечное, ненужное — все то, что невольно оседает там от нашего повседневного житья-бытья, насыщенного миазмами бесчеловечности, черствости, враждебности, которые, словно чертополох, колют и ранят человека при каждом его шаге.

Хотя... вода смыла с него пот войны, но не смыла с души тяжесть, каменную тяжесть ответственности за ее результаты, даже за ее жертвы, за то, что нес он вот этим людям, с которыми сегодня парится в бане. Просто невероятно, что так получилось: он, их враг, который шел завоевывать их землю, сегодня стал их батраком, может, даже слугой, утратил весь свой воинственный пыл и гонор, превратившись в самого обычного мирного человека, которому не до войны, которому не до политики, — одним словом, он стал здесь таким же, каким был до начала войны. Выходит, стоило пройти через все муки, через позор плена, чтобы понять, что война ничего хорошего никому не несет — ни одной, ни другой стороне. Как жаль, что высокие политики не проходят такой школы, которую пришлось пройти ему!

Наконец Колотай почувствовал слабость от большой жары, спустился вниз, стал обливать себя чуть теплой водичкой, смывая пот с разогретого, распаренного и размякшего, как глина, тела. Кажется, если бы не кости, не позвоночник, так и рухнул бы здесь на мокрый пол и больше не поднялся — не хватило бы сил.

Вот это баня, финская сауна! Она запомнится ему навсегда...

Спустились вниз и финны, тяжело дышали, поливали себя водой с веников, отходили от горячего пара. Хапайнен что-то сказал сыну, но тот только помотал головой, как будто от чего-то отказался.

— Говорю, чтобы пошел покачался по снегу, как конь по траве. Да конь и по снегу любит покачаться, дай ему волю. А он ленится, — сказал Хапайнен Колотаю. — Ну как, Васил, наша сауна тебе нравится?

— Сауна прекрасная, давно такого удовольствия не получал, — честно ответил Колотай. — Буду помнить, сколько жить буду.

— Хорошо, хювя он, как мы говорим. Когда-нибудь будешь рассказывать внукам.

— Не поверят, — махнул рукой Колотай. — Скажут, что басни им рассказываю, что такого быть не могло, да еще со мной. Ни за что!

А про себя подумал: разве может быть такое с ним когда-нибудь? Тут не знаешь, что ожидает тебя сегодня, завтра, а он говорит о каких-то внуках... Чтобы их иметь, нужно еще родить детей, которых у него нет, и неизвестно будут ли. Ой, неизвестно! Идет война, а она ничего хорошего людям не несет, кроме мучений и смерти. Война — кровавая баня. Вот как мы разливаем здесь воду, так на войне разливается кровь — и наша, и ваша. И вот мы, говоря фигурально, обливаемся не водой, а кровью... Фу-у-у — ему даже холодно стало от такого сравнения... Где-то там, на месте боя, лежат окоченевшие от мороза тела его друзей-товарищей. Их не один десяток, даже не одна сотня... А он здесь парится в бане со своими — кем? — врагами! Ему снова стало жарко... Говорит с ними, трет им спины, а они ему, хвалит их сауну-баню на все лады! Так что это, если не предательство? — вдруг пронзил он себя этим страшным словом. Ты предатель, Колотай! Таким тебя посчитают, если уже не посчитали, твои начальники где-то в штабе дивизии или армии, уже внесли тебя в черные списки, где ты будешь всегда, даже когда тебя самого уже не будет... А может, его уже причислили к покойникам и послали домой родителям похоронку, или как она там называется. Такую казенную бумагу, где будет сказано, что ваш сын — фамилия, имя, отчество — погиб за Родину, проявив при этом высокий героизм и т. д.

И ему снова стало холодно, словно кто-то вылил на него ведро холодной воды. Вот тебе финская баня, Колотай! Действительно, будешь ты ее помнить, пока живешь на этом свете...

Странно, что подобные мысли посещают его в таком неподходящем месте! Но мысли — птицы, прилетающие не тогда, когда их ждешь. Даже скорее тогда, когда ты занят чем-то далеким от всего важного, главного. Как вот сейчас: посетили Колотая, не спросив разрешения, нежданно-негаданно. Но им нельзя запретить, их нельзя не пустить, прогнать. Они побудут — и улетят сами. Потом могут снова прилететь, но уже совершенно другие, в совершенно ином оперенье. И песни их будут другие: может, грустные, а может, и веселые. Все будет зависеть от множества составляющих...

Наконец все натешились водой и теплом, нужно было заканчивать эту голую ярмарку. Вышли в предбанник, стали вытираться, одеваться. Колотай уже вблизи залюбовался хорошо скроенными-сложенными фигурами финнов: хоть ты лепи из них скульптуры да ставь где-нибудь на стадионах и во дворцах спорта — будут прекрасно смотреться. А если большинство из них такие богатыри, так это о многом говорит, легко они не сдадутся, точнее, легко их не одолеешь.

В предбаннике Колотай надел на себя еще новое, но чужое ситцевое белье, видимо, Юхана, потому что было оно как раз по росту, может, слегка тесноватое: они ростом и в плечах почти одинаковые, при том, что Юхан на пару лет моложе Колотая. И здесь его ожидал сюрприз: Хапайнен дал ему в руки новую форму — спортивный костюм синего цвета, опять же, видимо, своего сына, и сказал, что ему нужно стать цивильным, а эту советскую

форму спрятать, она свое отслужила. Валенки пока можно еще поносить, а там будет видно по погоде. Сейчас морозы сильные, валенки не помешают. Колотаю оставалось только поблагодарить, хотя теплые ватные штаны он пожалел: хорошо согревали нижнюю половину тела, можно было посидеть даже на снегу — и хоть бы что. Но и спортивный костюм был довольно теплый на вид: широкие синие штаны из толстой суконной ткани, брючины которых застегивались в самом низу, и такая же просторная матроска или куртка, как ее назвать, под которую можно поддеть свитер или что-нибудь теплое. Этого уже было достаточно, чтобы отправляться в дорогу, даже долгую, и не бояться, что замерзнешь.

Свежие, помолодевшие, особенно хозяин, потому что его сын Юхан и батрак Колотай и так были молоды, они пошли на кухню, где их ждала хозяйка, которая сразу оживилась и стала выставлять с плиты на стол готовые блюда, может, даже уже перегретые.

Сам Хапайнен занял центральное место за столом, по правую руку от него сел Юхан, а Колотаю он указал на место в торце стола. Место хозяйки было напротив мужа и сына, но она не спешила его занимать — хватало забот: что-то снимала с плиты, ставила на стол. Пахло шкварками с жареным луком, на сковороде пищала яичница — очень это похоже на наше, — подумал Колотай.

Хозяин вдруг встал из-за стола, за который только что сел, стукнул себя пальцем по лбу, сказав что-то по-фински, и вышел в сени. Через несколько минут он вернулся с плоской граненой, из темного стекла, бутылкой, закрытой белой фарфоровой пробкой на проволочных пружинках: нажал на рычажок — и бутылка открывается. Такие бутылки Колотай видел на Случчине, и говорили, что это немецкие, еще с той, первой мировой войны.

Хапайнен поставил бутылку на стол, перекрестился всей ладонью и обратился к Колотаю по-русски:

— После бани нужно немного согреть душу. На улице зима. Как ты считаешь, Васил?

— Я с вами согласен, — ответил Колотай. — У нас тоже так заведено: после бани обязательно должна быть рюмка. Или кружка пива.

Хозяйка у плиты неожиданно спросила тоже по-русски:

— Если есть деньги?

— Даже если последняя копейка, — ответил Колотай. — Потом пойдешь занимать, но после бани нужно промочить горло.

— А что значит «занимать»? — переспросила хозяйка. Глаза ее из-под козырька синей шапочки-чепчика смотрели как-то удивленно.

Колотай тоже удивился: ну и люди, не знают, что такое занимать! Да если бы у нас не занимали друг у друга, то многие умерли бы от голода.

— Занимать — это брать у другого, например, полбуханки хлеба, а потом возвращать уже свой, но тогда, когда его испекли. Или четверть муки — на блины, или даже той же соли: вот вышла вся, а в магазин идти далеко, зима, холод, а у соседа занял — и порядок. А потом отдашь, когда купишь. У нас это считается нормальным, мало кто не занимает. Разве кто побогаче — у таких всегда все есть.

— Так у вас этих, кто побогаче, как ты говоришь, не так уж много, а так все бедные, которые занимают друг у друга?

Колотай даже растерялся: такой неожиданный вывод сделала хозяйка из его простых объяснений! Он никогда сам об этом не задумывался! А тут вдруг такой поворот. Очень странно!

— Так обобщать, может, и не стоит, но богатых у нас и правда немного, потому что их раскулачили, вывезли в Сибирь, а в основном — победнее, колхозники, у которых есть корова, пара свиней, овечек, кур, гусей — и все.

— А что это у вас за колхозы? — не отставала хозяйка. Она сняла сковороду с плиты и разложила яйца и шкварки на тарелки перед мужчинами.

Хозяин тем временем наполнил круглые хрустальные рюмки светлой жидкостью из своей темной бутылки.

Колотай почувствовал себя снова студентом — как на экзамене по политэкономии. Попробуй только ошибиться с ответом — и отхватишь «неуд». Он объяснял долго и довольно путано. С его слов получалось, что колхозы — это такая форма хозяйствования, когда все принадлежит колхозу, или, точнее, государству. Людям в колхозах живется нелегко, многие убегают в города, хотя и удрать непросто, потому что у колхозников нет паспортов, они просто привязаны к тому месту, где живут.

Хозяин и хозяйка смотрели на него, как на человека с другой планеты — такое выражение читалось на их удивленных лицах. Видимо, они ожидали, что он начнет хвалить свою систему, а он говорит то же, что рассказывают о ней все те, кто более-менее знает о жизни своих восточных соседей. Они ожидали увидеть в нем агитатора, советского агитатора, а он стал агитировать совсем не в ту сторону.

Наконец хозяин прервал разговор, сказав, что хватит соловья баснями кормить, нужно выпить и закусить, и они все четверо: трое мужчин и женщина — подняли свои рюмки и выпили.

Колотаю показалось, что это какая-то крепкая самогонка, но без обычного самогонного привкуса, однако пошла хорошо: сразу потеплело в груди, мягко легла в желудке. Вскоре он почувствовал, что хмелеет — проголодался, да и не пил с того времени, как попал в плен, на позициях им давали по маленькой бутылочке — для согрева ног, как шутили бойцы.

Разговор тем временем то затухал, то начинался снова. Иногда вставлял слово и Юхан: он что-то спрашивал у отца или матери, они ему что-то объясняли, а он вроде не верил и только мотал головой. Они все ели, пили, говорили. Теперь подошла очередь вопросов от хозяина: его интересовало, правда ли, что в Советах большие репрессии, посажено в тюрьмы и вывезено в Сибирь и на Север, на Соловки много людей, так называемых врагов народа. И что среди этих врагов много военных, больших начальников — маршалов, генералов. Он спрашивал, действительно ли они враги, не наговоры ли это на людей, которые не желают добра сталинскому режиму? Колотай чувствовал, что Хапайнен знает обо всем, что происходит в Советском Союзе, не хуже его самого, но он хочет услышать из первых уст, что это правда или неправда. И Колотай его не разочаровал: да, в Советах много жертв, и преимущественно среди людей образованных, разумных, которые хоть и не стали врагами режима, но могут стать в любой момент. Идет война на опережение, война безжалостная и жестокая. Это, если можно так сказать, не только большое кровопускание, но и постепенное обезглавливание народов Советского Союза, особенно малых народов — чтобы даже забыли, кто они, чтобы знали только их главного защитника — родную коммунистическую партию и великий русский народ во главе с гениальным вождем Иосифом Сталиным.

Говоря так, Колотай чувствовал шкурой, что он произносит такую крамолу, за которую дома ему бы не миновать Сибири или Соловков. Но вернется ли он когда-нибудь домой — еще неизвестно, поэтому говорил то, что думал — пусть знают и эти люди, их соседи, которые уже однажды испытали, что значит быть под пятой великой империи.

III

Колотай проснулся вдруг, как от удара: где я? Но постепенно оцепенение проходило: вспомнился вечер, баня-сауна, потом ужин с чаркой, долгий разговор, расспросы. Видно, лишнего наговорил, не стоило так глубоко залезать в политику. Но что уже поделаешь? За столом молчать нельзя, тем более — в его положении. Кто он здесь? Чужеземец, пришлый, приблуда... Вот лежит на чужой постели, в чужой кровати, в чужом доме. Все чужое, и сам он здесь чужой. А что поделаешь? Могло быть и хуже. Разве неделю назад он мог подумать про такой финал? Мог предположить, что его убьют, что ранят, но чтобы попасть в плен живым-здоровым, только слегка оглушенным — о таком не думал, не гадал. А вот ведь жизнь выкидывает неожиданные штуки. Еще и какие штуки! Скорее всего — тупик. И как из него выбираться? Но долой рассуждения! Нужно собираться, нужно тренироваться. Хапайнен что-то задумал. Может, и что-то стоящее. Почему-то к этому человеку у него невольное уважение, может, даже немного похожее на то, какое у него было к своему отцу: он умный, рассудительный, он сделает так, как нужно, он выберет сам лучший вариант из тех, которые есть, — и не ошибется, потому что у него опыт, у него природное чутье — интуиция, которая его никогда не подводила. Ему можно верить... Так и Хапайнен. Он ставит на него, Колотая, сводит со своим сыном. Лыжи, тренировки. Одним словом, дорога. Домой? Недаром финн спрашивал у Колотая, хочет ли он домой. Это ключик к его замыслу. Только куда ведет эта дорога? Вот вопрос: если назад, на восток, то для этого не надо никаких тренировок, расстояние здесь небольшое. Значит, что-то другое. Но что? Ах, как хочется заглянуть за край горизонта, увидеть, что там тебя ждет! Однако потерпи — на хотение есть терпение.

Однако хватит валяться в постели, это не дома, и не в гостях. Тебя ждет какая-то работа, может, даже и тяжелая, а может, и приятная: пилить дрова, колоть чурбаны или пни. Такую работу он любил, это лучше любой физкультуры.

Он надел свой новый спортивный костюм, помахал руками, чтобы убедиться, так ли он на нем сидит, как нужно, и не почувствовал никакой особенной перемены: там была армейская плотная, даже тесноватая форма, а это просторный легкий гражданский костюм, который нигде не жмет, не мешает, не ограничивает. Вот что значит форма! Недаром к ней такое отеческое внимание и уважение в каждой стране, в каждой армии: чтобы твой солдат или офицер выглядел лучше всех остальных. Чего нельзя было сказать о сегодняшней Красной армии, — подумал Колотай. Далеко ей было до бывшей царской армии, очень далеко...

Тут дверь скрипнула — и на пороге показался Хапайнен в обычной домашней одежде: теплых суконных штанах, в валенках-бурках, в синем форменном мундире лесной службы, без шапки. На полысевшей большой голове — серебристый пушок на темени, а немного ниже — такого же серебристого оттенка волосы.

— Тэрвэ, Васил, как спалось? — поздоровался и сразу поинтересовался самочувствием гостя Хапайнен.

Колотай прекратил свои занятия физкультурой, ответил на приветствие и поблагодарил за ночлег — спал он как пшеницу продавши.

— А что это значит — как пшеницу продавши? — переспросил Хапайнен.

— Это значит — крепко, как убитый, — ответил Колотай и стал объяснять: — Когда-то крестьянин возил на ярмарку первый обмолот пшеницы, продавал ее на свои нужды, покупал все необходимое, а потом заходил

в шинок, выпивал рюмку-другую, после чего, иногда с песней, ехал домой, затем заваливался спать. И спал как пшеницу продавши.

Хапайнен улыбнулся и сказал:

— Картина очень похожа на нашу. Очень-очень. Только у нас пшеница слабо растет, больше рожь, — объяснил он и добавил: — Кончай разминку, делай пробежку — и пойдем завтракать. Бистро!

Колотай так и сделал, и через минут пятнадцать он уже был готов выполнять все остальные «приказы» своего нового хозяина.

Хапайнен на кухне уже дирижировал своим семейным оркестром: указал Юхану, своему сыну, на табуретку, потом Колотаю, что-то сказал жене, но коротко, как приказал. Та начала носить на стол тарелки с ячной кашей, поставила в центре глиняную миску с селедкой, положила на белую скатерть круглую буханку хлеба, а рядом — большой кухонный нож. Хозяин взял буханку в левую руку, прижал ее к груди, а правой стал резать ножом большие ломти и класть их на неглубокую белую тарелку.

Колотай от этой сценки даже встрепенулся: ну как у нас, все до мелочей. Как давно он не видел такой картины, знакомой с глубокого детства! Как хотелось еще маленькому вот так смело взять буханку хлеба, прижать ее к груди и откромсать ломоть-другой. Но куда там! Маленькому не дадут, скажут — не столько хлеба нарежешь, сколько себя самого. Подожди, подрасти... И вот он вырос. А что дальше?

Покончив с хлебом, Хапайнен вытер руки о край скатерти, перекрестился всей ладонью на икону в углу кухни и сказал всем:

— Будем завтракать. — И сел рядом с Юханом, подвинул к себе тарелку с кашей, вилкой взял селедку из большой миски, потом показал рукой Колотаю, чтобы он сделал то же самое, не стеснялся, и снова начал: — У меня три сына и дочь. Она замужем, с нами не живет. Младшие сыновья — школьники, а вот старший, Юхан, окончил лицей, скоро ему в армию... Война на пороге, а ему в армию... В огонь, под пули. Ты побывал, знаешь, что это такое. А он еще дитя, мальчик — и его в огонь... Не могу, душа не позволяет... У меня есть план, я тебе уже говорил, но детали не будем... Понимаешь? А сейчас ты должен научить Юхана бегать на лыжах. Он умеет, но так, как баба, а нужно, как солдат — быстро-быстро и далеко-далеко. Понял? Тренировка...

Услышанное сильно удивило Колотая. Он даже не знал, что и подумать, как себя вести, что говорить. А Хапайнен, будто соскучившись по разговору, продолжал:

— Я здесь работаю лесником, сотни километров лесных дорог, днем и ночью, на лыжах и на коне, с ружьем. Я охотник, хорошо стреляю. Вот возьми это мясо, дикий кабан. Я застрелил его неделю назад, как раз перед тем боем, в котором ты попал в плен... Счастье, что уцелел. Теперь тебе нужно найти дорогу домой. Понял? Слышал о нашем Маннергейме? Наверняка слышал — линия Маннергейма. Он старый русский генерал, но служить им не стал. Подавил восстание... Они хотели советы... Ну вот теперь советы нам мстят за старые грехи, что мы их оставили. А зачем они нам? Я тоже воевал у Маннергейма, был ранен... И вот теперь мой сын может пойти на линию... Боюсь, что не устоим против вас. Вас много-много, а нас — горстка... Сына нужно как-то спасать. Чтобы не сложил напрасно голову, как твои друзья... Ни за что, ни за что! — повторил с нажимом, чего Колотай от спокойного финна не ожидал.

— Мы напали на вас! Ты в это веришь? Брехня, самая чистая брехня! Пять миллионов нападают на сто пятьдесят. Разве в этом есть здравый смысл? Нет... Просто передел Европы между двумя сильными: ты бери это, а я возьму то.

А когда разберут все, что тогда? Посмотрят, кто больше набрал, и могут разругаться. Еще как! Посмотреть — люди как люди. А как станут что делить — становятся зверями. Забывают, что они люди. Что над ними Бог, а они — его дети... Или слуги... Или рабы... Только не хозяева чужих жизней и судеб, каковыми они себя считают.

Тут дверь открылась и на кухню несмело вошли два мальчика: один рослый, лет пятнадцати, а второй — около десяти, еще дитя, оба стриженные, светлоголовые, в школьной форме темно-синего цвета. Сказали «тэрвэ», не зная, что делать дальше — видимо, решили напомнить о себе.

— Вот это мои школьники, старший Матти, младший Бруно, — кивнул в их сторону Хапайнен. — С ними хлопот больше, потому что вырастут — и в солдаты. А девка что? Отдал замуж — и спокоен... Марта, покорми мальчишек, им уже в школу пора. Ты не забыла?

— Не забыла, дорогой Якоб, не забыла, — сказала жена и стала собирать тарелки, миски с едой, ложки и вилки. Они втроем скрылись за дверью. А они, трое мужчин, уже приступили к чаю, заваренному на ягодах можжевельника, в прикуску с клюквенным вареньем, и говорили дальше, точнее, говорил сегодня преимущественно хозяин. Начал с вопроса:

— Мы не договорили о твоей фамилии... Ты родственник русского посла в Швеции Коллонтай, или нет? Или просто похоже звучит?

Колотай знал, кто такая Коллонтай — что она жена председателя Центробалта Дыбенко, которого в конце тридцатых расстреляли как врага народа, но что она была в Швеции послом — не знал и удивился. Вот почему Хапайнен заинтересовался им еще там, когда разбирали пленных, а может, еще и до этого, кто знает? Только он сам. Так что? Схитрить или сказать правду? Разочаровать?

— Нет, нет — никакой не родственник. Просто фамилия немного похожа, но не все буквы совпадают, — ответил Колотай, наблюдая за выражением лица Хапайнена.

Но не таков финн, чтобы можно было прочитать выражение его лица. Лицо его было словно вылито из бронзы, только глаза двигались. Но по всему видно, что Хапайнен не поверил, ничего не ответил и как бы задумался. Как раз на кухню вернулась Марта, и он заговорил с ней о чем-то, может, даже о своих школьниках.

Колотай между тем допил свой чай и поблагодарил хозяйку и хозяина за вкусный завтрак: он просто ожил за их гостеприимным столом, добавив, что пленных так нигде не кормят.

— На здоровье. Я рада, что тебе понравилось, — ответила хозяйка с улыбкой. — А как я говорю по-русски? Тебе не смешно?

— Что вы! — подхватил Колотай. — Вы хорошо говорите, может, даже лучше меня, я сам учился по-белорусски, а наш язык отличается от русского, и местами даже очень.

— Так ты не русский, не *веняляйнен*? Ну и хорошо, русских я не люблю, потому что они напали на нас, хотят опять присоединить к России, как при царе... Чтобы мы язык их изучали, как тогда, до революции, а свой забыли. Моего мужа в школе называли Серебряный, а не Хапайнен, как его финская фамилия. Правда, Якоб? — спросила у мужа. Тот только кивнул. — Если бы они здесь пробыли эти двадцать лет, то многие уже и забыли бы, что они финны.

— Это они умеют делать, нет, чтобы что-то хорошее, — вмешался Хапайнен. — Но хватит лясы точить. Как вы, парни, готовы стать на лыжи? Погода позволяет, хоть и мороз.

— Я готов, — ответил Колотай. — Только где взять лыжи?

— Лыж у нас хватает, чтоб чего хорошего, — успокоил его хозяин и обратился к сыну по-фински, может, сказал то же, что и Колотаю.

Наконец решили: хозяин едет осматривать свои лесные владения, а парни — Юхан и Васил, как называл его Хапайнен, — должны сегодня сделать пробный выход на лыжах в пределах где-то километров двадцати-тридцати, а если все будет идти гладко — то и больше.

Они собирались долго и основательно: примеряли лыжи, проверяли крепления, выбирали обувь. Колотаю дали вместо валенок финские пексы, и он почувствовал, как удобно ногам, как хорошо в них ходить на лыжах. Главное, что в пексах гнулась подошва, в то время как в валенках она была почти неподвижная, как лубяная. На свои спортивные костюмы они надели непромокаемые куртки цвета хаки с капюшонами, на головы — теплые вязаные шапочки, на глаза — темные очки, на руки — теплые рукавицы из овчины.

Хапайнен, все проверив и осмотрев их, пошутил, что они похожи на десантников, а еще больше — на шпионов. И посоветовал не попадаться на глаза пограничникам, которые иногда любят промчаться на своих снегоходах по новым дорогам. Лучше идти глухими тропами, по целику, хоть это и тяжелее. Он о чем-то поговорил с сыном по-фински, называл какие-то пункты — деревни или городки, через которые они должны пройти, чертил палкой по снегу карту их маршрута, Юхан согласно кивал головой, что-то вроде уточнял.

Оставалось два вопроса: какие документы брать с собой Юхану, а второй — брать ли с собой охотничье ружье. Документы у Юхана имелись, а вот у Колотая на руках ничего не оказалось. Его красноармейская книжка, как сказал Хапайнен, осталась там, где они сидели до распределения, а вместо нее на руки Хапайнену выдали справку, что советский пленный такой-то и такой-то находится в распоряжении и под опекой Якоба Хапайнена, отвечающего за него, Колотая, головой. В свою очередь, пленный Колотай должен во всем подчиняться воле своего хозяина и служить ему верой и правдой. В противном случае пленного ждет заключение и тюрьма.

Такая справка на финском языке была на руках у Хапайнена, и теперь он передал ее Юхану — на случай, если наткнутся на воинский патруль.

Брать ли ружье — тут отец с сыном стали спорить: каждый стоял на своем, наконец, как-то договорились. Кто кого? — подумал Колотай. Хапайнен спросил у Колотая его мнение.

— Мне кажется, нужно брать, — ответил Колотай.

— И Юхан тоже говорит брать. А я говорю — нет... Ладно, пусть будет повашему. С ружьем в лесу смелее. Вдруг какой кабан или рысь, или даже волки...

О том, что пленный может завладеть оружием, он не говорил, но что подумал об этом, Колотай был уверен. Но, в конце концов, если бы он не доверял Колотаю, не отпустил бы их в большую дорогу. Потому что любая дорога — это в какой-то мере риск, тем более, лесная и зимняя. Возможно, если бы не вчерашний разговор после бани, Хапайнен побоялся бы отпустить своего сына в дорогу с советским пленным, поскольку это все же чужой, незнакомый человек, и как он поведет себя на свободе, в лесу, да когда рядом оружие, которое легко можно захватить, никто не знает, потому что никто не знает, что у него на уме. А после разговора за столом он поменял свое мнение — поверил в искренность Колотая, признав его если не другом, то и не врагом.

Через минуту Хапайнен вынес из дома патронташ и двустволку, сын принял ружье, сразу переломил его и, увидев, что в казеннике сидят

два заряда, снова сложил, а потом забросил за спину стволом вниз, как настоящий охотник. А может, он таковым и был, Колотай не знал. Подпоясался, провел пальцами по патронам, словно проверяя, насколько прочно они сидят в своих ячейках, и что-то сказал отцу. Тот посмотрел на часы и снова пошел в дом. Парни ждали недолго. Хапайнен вышел, неся в руках небольшой, чем-то наполненный рюкзак. Колотай догадался, что это им еда на дорогу.

— Держи, Васил, это вам подкрепиться. Здесь термос с кофе, пару бутербродов и кусок дичи. В дороге пойдет за милую душу.

Колотай забросил на спину рюкзак, Хапайнен помог ему распрямить лямки, и они уже готовы были выдвигаться. «Едешь в дорогу на день — бери хлеба на неделю», — вспомнилась Колотаю старая белорусская поговорка. Хорошо, пусть висит рюкзак, будет немного теплее спине.

Наконец Хапайнен осмотрел их, остался доволен и, как мастер спорта на старте, взмахнул рукой и сказал по-русски:

— Марш-марш!

Они сразу рванули с места, Хапайнен проводил их со двора, постоял и вернулся обратно. А хозяйка даже не вышла проводить, — подумал Колотай. Его мать обязательно вышла бы, еще и заплакала, как будто ее сын отправляется куда-то далеко... Так она провожала его в армию, долго не могла отпустить от себя, плакала и все повторяла: «Ты же береги себя, сынок, береги себя». То же самое она бы и сегодня сказала, но вон как она далеко... А он бережет себя, потому что остался один. Хорошо, что попал к добрым людям. Может, и не пропадет.

Возникло такое чувство, что в его жизни начинается новая страница — на чужом, незнакомом материале, с неизвестным продолжением, а тем более концовкой. Хотелось все это знать: как, что, когда? — но он гнал всякие фантазии, заставлял себя жить этим моментом, этой минутой, которая тоже была хороша: белый пушистый снег, на горизонте — лес, и тоже весь белый, как облака, которые спустились на землю, разлеглись там и забыли о небе. И если бы не узкая серая полоска стволов у земли, можно было бы подумать, что леса вовсе нет — это небо. Лес он любил, потому что жил у леса, ходил летом за ягодами, осенью за грибами, а зимой ездил с отцом за дровами. Лес был для него чем-то живым, ему казалось, что лес чувствует, видит, как ты входишь под его сень, что делаешь и как себя ведешь — варвар ты, душегуб или ты ему приятель, друг, защитник...

На фоне леса, далеко, на горке, он увидел ветряную мельницу, ну совсем такую, как наша, может, только сложенную из камня, кто ее знает, ему так показалось. Она не махала своими длинными широкими крыльями-шмыгами, потому что стояла тишина, воздух был неподвижным, казалось, даже густым, однако парни шли сквозь него легко, словно летели, не касаясь земли.

Странно, но только сейчас Колотай подумал: а как они с Юханом будут разговаривать, если тот не знает ни слова по-русски, а Колотай — ни слова по-фински? А может, Юхан только прикидывается, что ничего не понимает по-русски? Нужно проверить... Он налег на палки, догнал Юхана, стал идти с ним рядом. Тот подозрительно посмотрел на него, но не остановился.

— Юхан, ты понимаешь, что я тебе говорю? — спросил по-русски.

— Понимаю, *Юм-мяр-рян*, — растягивая и нажимая на «р», ответил Юхан. — Не все, но немного понимаю.

— Хювя он! — воскликнул Колотай по-фински. — Хорошо! — и отстал от Юхана, давая ему идти первым.

IV

Начало было хорошее — хювя он! — они вернулись поздно, начинало смеркаться. Небо, которого просто не было видно — одна серость, постепенно темнело, приобретая цвет и чувствительную тяжесть. Парни хотя и устали, но были довольны. В рюкзаке у Колотая лежал еще, наверное, теплый заяц-беляк, который на свою беду попался им на просеке и которого Юхан уложил на снег с первого выстрела. Это было уже в конце их маршрута, они возвращались и были близко от дома.

Из всего, что сегодня видел и пережил Колотай, можно было сделать вывод, что Юхан — хороший лыжник, что он идет не хуже его, Колотая, может, только менее выносливый и тренированный, потому что не ходил на длинные дистанции, для него двадцать километров — это предел, а нужно научиться преодолевать много больше. Нужно время, чтобы организм постепенно свыкся с дополнительной нагрузкой.

За ужином хозяин расспрашивал их, как чувствовали себя в дороге, устали ли, смогут ли завтра опять стать на лыжи и махнуть по тому же маршруту, добавить еще километров десять-пятнадцать. Сначала говорил Юхан, и по его тону можно было понять, что он чувствует себя бодро, не устал ничуть, — так показалось Колотаю. А сам он сказал, что они шли хорошо, резво, не переутомились, хотя ехать лесом по целику тяжело, невозможно развивать нужную скорость, как по ровной дороге или слежавшемуся снегу, на котором лыжи не проваливаются, а идут поверху. Снег был мягкий, сыпучий и летучий, как пух, он еще не слежался, хотя уже прошло два месяца зимы... Два месяца зимы, два месяца войны. Там, на линии огня, на линии Маннергейма, умирают люди — с одной и с другой стороны, а он сидит себе тихо, и рад, что уцелел, не лег костьми там, на заснеженной глади Кривого Озера, где полегли его товарищи-друзья. Как можно оставаться спокойным, как можно играть в какие-то лыжные походы и неизвестно для чего? Хапайнен не говорит, что он задумал и какой у него план, но теперь Колотай догадывается, что дорога их лежит не на Восток, а на Запад. А на западе, что знает даже школьник, находится Швеция. Не туда ли они вострят свои лыжи? В конце концов, теперь он во власти обстоятельств, которые пока что складываются вроде в его пользу, значит, не нужно спешить, подгонять события, пусть все идет самотеком, точнее, так, как планирует это хитрый финн Якоб Хапайнен-Серебряный...

Он возвращается к реальности, слышит чужой непонятный язык, видит за столом слева от себя Хапайнена и его сына, а справа — его щуплую жену Марту в неизменном чепчике синего цвета, из-под которого на шею выбиваются светлые, овсяного цвета волосы с вьющимися концами... Наконец, они о чем-то договорились, как по команде посмотрели на него и улыбнулись: не иначе, говорили о нем. Но что — только им известно. Не станет же он из-за этого на них злиться. Его и так здесь приняли как своего, а могло быть совершенно по-другому. Вспомни наручники, которые показывал Хапайнен в начале их дороги, а потом спрятал в карман...

Все умолкают, устанавливается тишина, но лишь на минуту, собирается говорить хозяин. Он постучал вилкой по тарелке и начал:

— Если все будет идти нормально, если за ночь вы сможете хорошо отдохнуть и не будут сильно болеть ноги, вы завтра снова можете идти на тренировку, только не перестарайтесь. Вы просто должны поддерживать форму, чтобы не опускаться ниже имеющегося уровня. Не ниже! Выше, если сможете — давайте. Что ты на это скажешь, Васил?

— Мне кажется, вы говорите правильно. Знаю по себе: когда пойдешь косить первый день, то назавтра болит все тело, как побитое, но поработаешь несколько часов — и вся боль куда-то исчезает, все становится на места, и ты снова косишь, как нормальный косарь... Возможно, завтра у нас и будут болеть ноги, это не страшно: станем на лыжи и пойдем, норму свою выполним, — закончил Колотай свой длинный монолог.

— Люблю смелых людей, — сказал на это Хапайнен. — Ведь что это за мужчина, если он плачет от боли? Мужчина — солдат, должен быть готов ко всему. За сегодняшний день я ставлю вам «отлично», а завтра — будет видно.

— «Пераначуем — болей пачуем», как говорят белорусы, — вставил Колотай свою поговорку — пусть знают финны.

— А можно понять, — сказала на это хозяйка. — Это очень хорошо, что ты белорус, а не русский. Я русских не люблю...

— Ты снова за свое, — криво улыбнулся Хапайнен, — не можешь успокоиться. Что тебе сделали русские?

— Как что? Ты еще спрашиваешь. Они вон сколько нашей крови пролили. И еще проливают... Вот скоро сыну твоему идти на войну. А с войны не все живыми возвращаются, — уже даже злилась на мужа хозяйка: — А ты — что тебе русские? Не сделали, так могут сделать...

— А вот и не сделают. Я их перехитрю. И не только русских, но и своих. Вот увидишь. Пусть только парни натренируются, укрепят мышцы. Я им поставлю задачку, что они ахнут. И ты тоже, моя верная Марта, — сказал Хапайнен как-то слишком серьезно.

— Если бы так было, как ты говоришь, если бы так было!

Она замолчала — можно было подумать, что злится на своего мужа. Но нет! Такой уж, видимо, был характер у этих северных людей, суровых и готовых ко всему, даже к самому худшему. Вот почему они так упорно защищаются от сильного восточного соседа и не хотят пускать его на свою землю.

После ужина мужчины пошли хлопотать по хозяйству, а хозяйка занялась школьниками. Она их кормила, проверяла уроки, они даже вместе пели свои песни, а ребята помогали ей на кухне: помыть посуду, принести дров, вынести золу и еще делали всякие другие мелкие работы. Колотаю это сразу бросилось в глаза, и он подумал, что воспитание в семье Хапайненов поставлено на надлежащую высоту.

А мужчины пошли в сарай, который находился недалеко от гумна, которое у финнов включало не только ток, но и ригу. А сарай соединялся с гумном навесом, под которым могли стоять сани, санки, возок, телега, всякий сельскохозяйственный инвентарь, даже жнейка или косилка. Хотя у них тут же был и сеновал, с которого сено по чердаку передавалось в сарай, тоже сначала на чердак, а оттуда — на корм животным. Здесь же в пуне стояла сечкарня, они резали сечку и готовили паренку коровам, как это делали и дома у Колотая. Строения эти были просторные, леса у них хватало. Сарай тоже сложен из дерева, из кругляков, но снаружи обшит досками, так что животные были хоть немного укрыты от холода. Как уже заметил Колотай, дома здесь строились с закрытыми дворами, то есть все строения создавали замкнутое квадратное пространство, спасающее людей и животных от пронзительных зимних ветров и снежных завалов. У Хапайненов постройки размещались в два «шаронга», как говорят у нас в Беларуси, — дом стоит отдельно, а перед ним метров за тридцать в один ряд — все хозяйственные постройки. Но та или иная форма размещения построек зависела, видимо, от вкуса или даже средств хозяина: без денег особо не размахнешься.

Что особенно удивило Колотая, так это северное сияние. Оно было таким далеким, но все же нагоняло на человека тоску, затрагивало какие-то особенные струны души, о которых ты никогда не думал и даже не подозревал, что они у тебя есть. Под этим сиянием человек — так считал Колотай — становится маленьким, как песчинка во Вселенной, он превращается в частичку чего-то огромного, бескрайнего, что соединяется где-то там далеко и высоко еще с чем-то большим, и ты уже не сам по себе, а кто-то и что-то, попадающее во власть Вселенной, и не ты собой управляешь, думаешь, решаешь, а управляет и решает за тебя что-то такое, смотрящее на тебя с высоты сотен и тысяч километров, и оно видит тебя — насквозь, — а ты его не видишь, только чувствуешь, какая огромная сила держит тебя в своих невидимых, мягких, но крепких объятиях. И когда начинаешь больше думать об этом, становится даже страшно...

В сарае не было фонаря, с которым обычно люди ходят в сарай, погреб, гумно — туда, где нет окон. А здесь двери были открыты, и в сарае стоял полумрак, в котором легко можно ориентироваться, тем более, что работа эта такая привычная, знакомая, ее можно выполнять с завязанными глазами. Колотай первый раз видел, как Хапайнен и Юхан поили лошадей в денниках, коров, стоящих в своих стойлах, но без цепей на шее, как это часто бывает в хозяйствах. Потом лошадям засыпали овес в ясли, клали сено, чтобы было что жевать всю ночь и греться. Коровы тоже получили на ночь свою порцию сена, овцы, чтобы о них не забыли, блеяли на весь сарай, требуя своего.

Примерно через час все было сделано: животные стояли над своими яслями и жевали — грелись. Хапайнен ничего не спрашивал у Колотая, ничего не говорил. Он словно лишь показывал своему батраку: вот смотри, запоминай, тем более, что ты сам крестьянин. Но в конце спросил у Колотая:

— А сколько у вашего колхозника коров, лошадей?

— Лошадей нет, они все колхозные, а корова у большинства одна, еще теленок, потом его сдают на ферму, имеют какую-то прибыль. У некоторых есть свиньи — одна, две, овечки — три, пять. Вот такое наше частное хозяйство.

— А как же без лошадей? — удивился Хапайнен.

— А зачем они? Земли у нас нет, она вся колхозная, ее пашут сейчас тракторами.

— Тракторами, — покивал головой Хапайнен, — а потом МТС заберет из колхоза половину их урожая за работу. Так или нет?

— Так-то оно так, но откуда вы знаете такие подробности нашей жизни? — настал черед Колотая удивляться.

— Откуда? Люди наши у вас бывают, в Карелию ходят к родственникам и все видят и нам рассказывают... На одной земле работаем, на песчаной, каменистой, а мы, финны, намного лучше вас живем, ты это знай. Потому что на себя работаем, а вы — на ненасытное большое государство, которому сколько ни дай — все мало. Как в пропасть бросай — и все будет мало. Может, неправду говорю?

— Если бы неправду — я был бы рад. А то именно так, как оно есть, вы говорите. Мы живем хуже вас, мы по сравнению с вами действительно бедные. А почему — об этом можно много говорить. Главное, мне кажется, в нашей системе: забрать все у людей, а потом давать им по маленькому кусочку. А если будешь жаловаться, кричать — так и того не получишь.

Они уже собирались выходить из сарая, как появилась хозяйка с ведром в руках, прикрытым белой салфеткой, не иначе, доить коров. Юхан остался с матерью, а они вдвоем вышли во двор. Снег громко скрипел под ногами, мороз крепчал. Небо было темное, низкое — похоже, пойдет снег. Каптэ-

эни — Капитан бросился к ним, лизнул руку хозяина, потом потерся о ногу Колотая — он признал уже чужака своим.

— Ты не куришь? — спросил Хапайнен у Колотая.

— Нет, что-то не нашел в этом ничего приятного.

— Правильно. Я курил много лет, а потом бросил. Вредная привычка. А скажи, Васил, много у вас пьют?

— Насколько я знаю, пьют много. И в городе, и в деревне. Водка дешевая, говорят, что специально. Хороших товаров нет, чтобы что-то купить, нужно долго стоять в очереди. А водки сколько угодно. Вот люди и берут.

— Одни пьют от изобилия, другие — с горя, — подвел итог Хапайнен.

— У нас, скорее всего, — с горя, — добавил Колотай. — Тоже вредная привычка. Однако же...

Хапайнен ничего не сказал. Он мог оборвать разговор на полуслове.

На следующее утро все повторилось. Позавтракав, парни, Юхан и Васил, как его называл Хапайнен, стали на лыжи и опять пошли своим маршрутом — прямо на запад, хотя прямой дороги, ведущей на запад, не было. Как заметил Колотай, дороги здесь чаще шли с юга на север, потому что на карте Финляндия — Суоми вытянута с юга на север и, естественно, так вытянуты и ее дороги, хотя нельзя сказать, что людям не нужно перемещаться с востока на запад и с запада на восток. Как на карте сетка параллелей и меридианов, географической широты и долготы, так в реальности сетка дорог покрывает страну вдоль и поперек, дает людям возможность бывать там, где хочется, где нужно. К тому же зимой можно и не выбирать дорогу, потому что для лыж она не всегда нужна, на лыжах — лишь бы снег лежал на земле, а если он еще утоптанный, твердый, слежавшийся, тогда красота, можно ставить рекорды скорости. Этой зимой, говорил Хапайнен, еще не было оттепели, потому снег лежит сухой, сыпучий, как пух, он никак не может склеиться, слежаться, чтобы образовать корочку, по которой легко скользить на лыжах.

Сначала первым шел Юхан и показывал хороший темп, Колотай еле успевал за ним. И думал, чего это парень сразу, в начале маршрута, так выкладывается, хватит ли у него пороха на всю дорогу. Но вскоре темп замедлился, и Юхан подал знак, чтобы Колотай шел первым. «Пожалуйста», — сказал Колотай себе и Юхану тоже, пусть запоминает: пожалуйста! Как по-фински? *Олкас хювя?* Нужно запомнить, чтобы не забыть.

— Пожалуйста! *Олкас хювя!* — сказал Юхану и оставил его позади.

Теперь он проверит, какой ты финский лыжник — хваленый, знаменитый и так далее.

Темпа, заданного Юханом, он не сбавлял, но и не увеличивал, шел ровно, не выкладываясь, слышал за собой легкое поскрипывание лыж, глухие удары палок, которые иногда доставали до земли и клевали ее своими острыми клювиками-гвоздями. Все шло в нормальном темпе и ритме, они прошли километров десять, когда Колотай почувствовал и услышал, что за ним никого нет. Что за беда? Куда мог деться Юхан? Он повернул назад, пошел по узкой, ведущей между заснеженных елок, дорожке от своих лыж, и увидел, что Юхан лежит на снегу: ноги с лыжами справа от дорожки, он сам — слева, а палки торчат в снегу.

— Юхан, что с тобой? — почти закричал Колотай. Его даже бросило в жар: такую картину он не ожидал увидеть.

Юхан зашевелился, приподнял голову, почему-то снял очки и оперся на руки.

— *Митэн сэ он веняйакси?*[1] Мне *ялка* — болит? *Кюлля?* Нога болит...

---

[1] Как это по-русски (фин.)?

— Что же ты меня не остановил сразу? Так не годится, — говорил Колотай, отстегивая крепления и снимая лыжи с ног Юхана. — Где болит? Покажи. — Он приподнял Юхана, посадил его на снег.

Юхан дотронулся до правой икры, хотел выпрямить ногу, но тщетно — ее свело, она была неуправляема. Колотай снял рукавицы, стал ощупывать ногу. Икра была твердая, как кость голени. Что же делать? Такая сильная судорога! Он стал массировать икру, растирать ногу, шевелить ступню, чтобы мышцы расслабились, но ничего не менялось: нога была как неживая, ступня даже выгнулась внутрь. Если бы иголка была или что-то острое... Лыжная палка? Там кончик слишком тупой... Нет, нужно его поставить на ноги, придать естественную позу, тогда судорога может отпустить: она как бы сама устает быть в таком напряжении и отпускает. Он приподнял Юхана повыше, помог встать на ноги. Левая стояла нормально, а правая свисала, как неживая. Оставалось только растирать ногу, чтобы не порвать сухожилия или связки. Наконец что-то вроде сдвинулось: икра перестала быть костисто-твердой, немного расслабилась мышца, а ступня как бы снова соединилась с голенью — стала гнуться. Раз-два, раз-два — пошевелил ногой Юхан. Колотай подставил ему лыжу, тот, став на опору, пошевелил ступней еще и еще, — и вот все стало на место: судорога отпустила, нога выпрямилась. Колотай пощупал икру: она была мягкая, расслабленная, одним словом, пришла в норму. Теперь с лица Юхана исчезла гримаса боли, а что было больно, об этом можно у него не спрашивать, видно и так. Колотай знал это и по себе, когда судорога схватит икру или бедро, боль такая, что хоть кричи. Это бывало с ним после долгой дороги пешком, да и после многочасового кросса на лыжах, уже в институте, а потом в армии.

— Хювя он, — сказал Колотай Юхану. — Очень хорошо, нога стала как нога. Становись на лыжи. Он подал Юхану вторую лыжу, приделал крепление, подал палки, даже нашел в снегу очки, вытер их, прочистил и отдал Юхану, который уже немного отошел от боли и стоял на лыжах довольно уверенно, но боялся трогаться с места, чтобы не повторился приступ.

— Куда поедем: туда или сюда? — указав рукой сначала на запад, а потом на восток, спросил у Юхана и отметил, что тот понял.

Финн слабо улыбнулся, потопал лыжами, как бы проверяя силу своих ног, поморщился и указал правой рукой на восток.

— Правильное решение. На сегодня достаточно. Иди первым, чтобы я тебя не потерял, — сказал Колотай Юхану, хотя не был уверен, что тот его понял.

Юхан не стал делать круг, как ожидал Колотай, а развернулся на месте: сначала перенес правую ногу с лыжей назад, а потом — левую, и вот он уже готов к движению.

— Тэрвэ! — сказал Колотай непонятно кому, и они тронулись с места.

Шли потихоньку, еле двигались, чтоб опять судорога не напомнила о себе, не вцепилась невидимыми, но такими острыми зубами. Потихоньку-полегоньку Юхан расшевелился, начинал набирать привычный для него темп, и уже через полчаса они отмахали приличный кусок дороги. И тут Колотай вспомнил, что у них есть собойка, которая лежит в его рюкзаке и болтается там лишним грузом.

— Юхан, стой! — крикнул Колотай. — Перекур или перекус, что пожелаешь.

Юхан сразу остановился, оглянулся, и Колотай указал ему палкой на присыпанную снегом валежину: сюда! Дважды не нужно было повторять: финн сразу сделал поворот-разворот на сто восемьдесят градусов и около

дерева оказался одновременно с Колотаем. Они палками сбили снег со ствола, уселись, не снимая лыжи, потому что те задними концами вошли под дерево, Колотай снял рюкзак, и они стали разглядывать, что им положила мать Юхана. Очень кстати был термос с кофе. А также завернутый в промасленную бумагу пирог, как раз на двоих, с какой-то начинкой лихапииракка, как объяснил Юхан: пирог, начиненный рисом, да еще с мясом. Что еще нужно путникам? Колотай нашел еще эмалированную кружку синего цвета. Они налили кофе: одному — в кружку, другому — в крышку термоса, разломали пирог на две части и стали греться.

Ели каждый по-своему: Юхан начал с пирога, а потом пил кофе, Колотай откусывал кусок пирога, добавлял к нему глоток кофе — так, как когда-то дома ел хлеб с молоком, или молоко с хлебом. Ему казалось, что его способ более практичный, чем Юхана, но учить или переучивать парня не стал.

У Колотая часов не было (он отдал их перед армией своей девушке), а Юхан с собой не брал, они определяли время по тому, как уставали ноги, к тому же день теперь короткий, и сумерки говорят сами за себя — сейчас где-то около четырех-пяти часов, время возвращаться домой. Вчера они вернулись засветло, а сегодня еще неизвестно, как получится: все зависит от ноги Юхана. За плечами у Юхана охотничье ружье, оно весит несколько килограммов, может, стоило бы его забрать у парня, а отдать ему уже опустевший рюкзак? Но Колотай не решился затрагивать этот вопрос: еще подумает что плохое. Не хватало еще, чтобы подумал, будто он хочет завладеть оружием... Никакое оружие ему больше не нужно, настрелялся не только из карабина, а даже из нового автомата, который где-то там записан в трофеи финским военным. Тогда много они отхватили трофеев...

Что будет дальше — тяжело сказать, но конца катавасии, похоже, в скором времени не предвидится. Это только начало, хотя за два месяца можно что-то сделать, если делать серьезно. Колотай поймал себя на том, что он рассуждает не как человек с востока, а уже как бы сверху или со стороны: все виделось ему не таким, каким казалось тогда, когда находился по ту сторону линии фронта. Сейчас он далеко от той страшной границы, которую ему удалось помимо собственной воли перейти, перебраться — считай, как хочешь, — и как-то поменялись его взгляды на то, что казалось таким прочным и неизменным. В чем причина? Неужели на него влияет то, где он оказался и что делает сейчас? Вот этот финский парень Юхан, с которым они по-дружески маршируют на лыжах по глухому финскому лесу, чтобы натренировать ноги, а потом махнуть куда-то далеко-далеко, а куда — он не знает, но, как сказал ему Якоб Хапайнен, в направлении дома.

Да, для этого стоит постараться, хотя он не знал, как встретят его там, если такое вообще станет возможным. Как его встретят и что скажут на то, где он был, кому служил, что делал, живя у своих врагов, вместо того, чтобы... А как ты там оказался, бывший боец Красной армии Колотай, почему это ты выжил, когда погибла бригада, целая бригада, насчитывавшая больше тысячи бойцов? Чем ты это объяснишь? Что угодно им говори, а они будут твердить одно: ты, как последний трус, поднял руки вверх, бросил оружие, изменил присяге, Родине... И ничего им не докажешь, потому что нет никаких доказательств твоих слов, твоего поведения. А есть факт — ты попал в плен, а как попадают в плен — известно: бросают оружие, поднимают руки вверх, становятся предателями...

Такие вот невеселые мысли-рассуждения вертелись в его голове, пока они сидели на поваленном дереве и пили кофе с пирогом. Но не надолго ли они тут задержались? Уже и мороз начал надоедать, пошел в ноги, забирался за плечи,

щипал руки и лицо. Пора в дорогу! Хорошо ехать или идти домой — ноги сами несут. Красота! А если бы еще к родному дому? Но возможно его путь лежит именно через эти лесные финские заснеженные дороги? Кто знает...

С невысокой сосны за ними наблюдала пара клестов, первых птиц, которых здесь увидел Колотай: буровато-красный самец и зеленоватая самочка. Они перепрыгивали с ветки на ветку, словно грелись.

— Как нога? — спросил Колотай у Юхана.

Тот пошевелил правой ногой, лыжа закачалась-заскользила по снегу, посмотрел на Колотая и довольно весело ответил:

— Хювя он — хорошо.

— Тогда поехали, — подытожил Колотай и сполз со ствола, стал на лыжи.

И они снова едут-идут: Юхан первый, за ним Колотай. Он внимательно следит за финном, не спускает глаз, но пока ничего подозрительного не замечает: идет ровно, слегка пригнувшись, крепко налегает на палки, перебирает ногами, но не часто, пуская лыжи как бы в самостоятельное скольжение. Но по такому мягкому рассыпчатому снегу разве разгонишься? Все время нужно налегать на палки, тогда что-то получается. Колотай даже стал себя успокаивать: ничего с парнем не случится, что тут удивительного, подумаешь, ногу свело? С ним такое случалось, да и не только с ним...

Они шли уже довольно долго и без приключений, даже зайцы не попадались, и темп взял Юхан нормальный, может, немного ниже среднего, и это давало основания думать, что с ногой у него все в норме. Вот они вырываются с узкой лесной тропинки на открытое место, и на память Колотаю приходят слова из «Руслана и Людмилы»: «Руслан глядит — и догадался, что подъезжает к голове». Действительно, увиденное напоминало огромную каменную голову, покрытую белой шапкой, — это лежал большущий валун высотой, наверное, больше трех метров, похожий на копну сена, немного растянутую с востока на запад, как будто его катили откуда-то с севера на юг и дальше не смогли — не хватило сил. Но странно то, что валун был одинокий, без каких-либо младших друзей-соратников. Не может такого быть, чтобы он здесь очутился или остался один, а его друзья-товарищи покатились дальше. Нужно будет спросить у Хапайнена, он должен знать. А потом до него дошло: если здесь и были валуны поменьше, то их использовали как строительный материал. А этого богатыря просто пожалели, хотя его тоже можно было осилить: взорвать тротилом, прокрутив несколько дырок. Но хорошо, что валун уцелел — это памятник финской природе, людям, истории земли. Вечный памятник! Чтобы люди брали с него пример! Чтобы были твердые, как этот гранит. Чтобы не покидали эту землю никогда, как этот валун. Он здесь вечный и они вечные. Только так!

Вчера они здесь лишь замедлили шаг, постояли минуту-другую, посмотрели на богатыря и двинулись дальше. Юхан хотел ему что-то объяснить, но Колотай ничего не понял, кроме двух слов по-русски: большой, тяжелый, что было заметно и без комментариев. А сегодня они остановились возле великана нарочно, счистили палками снег с боков, чтобы разглядеть монолит, его основу, подошву — сильно ли врос в землю, или его можно сдвинуть с места? Обошли вокруг него, еще немного постояли-посмотрели и двинулись дальше.

У нас таких великанов нет, — подумал Колотай. Если и есть, то поменьше, разве что в человеческий рост. Валуны средней величины у нас разбивают на щебень: для фундамента, на «краеугольные камни» в основание зданий. Ему самому приходилось бить камни. Тяжелый молот сначала отскакивает от камня, как мячик, но после нескольких ударов в одно место, глыба вдруг

рассыпается на осколки, как кусок льда. Беларусь тоже богата на камни, на озера, на реки, ну и на леса. Наш рельеф когда-то шлифовал, возможно, один и тот же ледник, катившийся с севера на юг и таявший по дороге, усеивая землю валунами и камнями, затопляя низины озерами, а вся остальная вода начала искать себе дорогу к морям, превращаясь в реки. Все то, что не удержала земля Суоми, возможно, пришло-прикатилось к нам, и потому мы так богаты на озера, на реки, на камни-валуны. И не только на валуны. Наша почва в основном каменистая, и камни после зимы вылезают на поверхность, как осенью грибы в лесу, потому в народе даже говорят, что камни растут...

Они вернулись домой раньше, чем вчера, но Марту, мать Юхана, это не удивило, она даже обрадовалась: поможете по хозяйству, хотя бы воды наносите животным. Сейчас она немного разбавляет холодную воду подогретой, чтобы животные меньше мерзли на холоде, который никак не ослабевает.

— Сегодня на ужин будет рыба, — сказала она Колотаю, а потом, видимо, перевела Юхану.

— Ой, рыбу я люблю, хотя и не рыбак, — оживился Колотай.

У него сложилось такое впечатление, что Марта ничем особенным не отличается от белорусских женщин: такая же работящая, иногда любит поговорить, хотя умеет и помолчать, на младших ребят, бывает, покрикивает и дает им задания по хозяйству, приучает к порядку: чтобы были застелены кровати, чтобы не валялись лишь бы где одежда, обувь. «Ну точь-в-точь, как наша белорусская тетка», — решил Колотай.

В дом вошел хозяин, уже раздевшийся, без своей обычной шапки, в короткой жилетке из овчины, уставший, словно постаревший.

— Чего так рано? — сразу спросил у Колотая. В его голосе слышалась тревога.

— Херра Хапайнен, — как-то официально обратился к нему Колотай, — сегодня мы были не совсем в форме. Чувствовали себя слабаками. Потому и не выполнили норму. Видимо, вчера перестарались.

Хапайнен подумал и сказал на это:

— Может, сегодня стоило дать себе передышку... Или завтра не ходите. Кто сегодня был слабее? — спросил в конце.

— Сложно сказать, — решил схитрить Колотай, — оба слабо тянули...

— Слабо тянули ноги, или что? Слабо поели? — выпытывал хозяин.

— Нет, на еду жалоб нет, здесь мы норму выполняем, — ответил Колотай. — А вот на лыжах не справились. Разве что завтра?

— Посмотрим, какие вы будете завтра. Тут каждый день дорог...

После этих слов Колотай ожидал услышать от Хапайнена что-нибудь про войну, но тот больше не произнес ни слова и вышел. Как будто войны не было совсем. Но слова «тут каждый день дорог...» говорили о том, что он о ней думает.

V

Назавтра парни — Колотай и Юхан — встали поздно: хорошо спалось после прогулки-тренировки. Юхан выглядел нормально, на ногу не жаловался, как заметил Колотай, даже не боялся наступать на нее, как это бывает с человеком после травмы. Значит, они идут, или едут — все равно.

Хапайнена уже не было, пошел по своим служебным делам, их кормила хозяйка, которая была словно чем-то озабочена, но ничего не говорила. Подала им в тарелках «охотничий бифштекс» — мясной фарш с грибным соусом, по-фински *метсяэтяянпихви* — язык можно сломать, и сразу никак не запом-

нить. Это не то, что *сямпюля* — булочка, или *вой* — масло, или *пууро* — каша. Такое запоминается с первого раза. Даже посложнее: *аамиайнен* — завтрак. Ели они с аппетитом, позавтракали хорошо. Колотай в конце сказал по-фински «*киитас, роува*», что значило «спасибо, госпожа», чем она была просто умилена. Третий день, или даже четвертый, а Колотай уже нахватался немного финских слов, но связать их в фразу еще не мог, не знал, как склоняются существительные, как пользоваться местоимениями — они казались ему одинаковыми. Но что тут удивительного? Разве думал, что ему придется говорить с финнами, у которых он будет считаться батраком, а не гостем?

А когда спросил у Юхана, как нога, тот ответил по-русски «харашо» с заметным белорусским аканьем, потому что Колотай разговаривал с его родителями по-белорусски: пусть хоть услышат, как звучит наш язык, чем он отличается от русского. И чтобы не считали белорусов русскими, как было до этого. Потом горько улыбнулся про себя: если бы каждой финской семье да по белорусу, то через год они здесь заговорили бы по-белорусски. Он слышал, кстати, что из освобожденной Западной Беларуси в Карелию уже наехало белорусов на заработки — валить лес, а белорусы — известные в мире дровосеки, потому что они жили и живут в лесу, возле леса, живут многие за счет леса, потому что лес — это богатство, у которого можно погреться в прямом и переносном смысле. Все больше и больше он убеждался, что белорусы по своему менталитету, по характеру очень похожи на финнов, потому что живут почти в одинаковых условиях: лес научил их быть работящими, выносливыми, немногословными, скрытными, замкнутыми и даже прижимистыми. Не все, конечно, подходят под такую мерку, но что многие и многие — точно, и никуда от этого не денешься, потому что жизнь формирует человека, его психику, его национальный характер.

Третий раз они собирались в дорогу, и уже почти машинально проверили лыжи, палки, Юхан закинул за спину свое ружье стволом вниз, Колотай — рюкзак, который передала ему хозяйка, довольно тяжелый. Он поблагодарил ее опять по-фински и даже поцеловал руку, что ее сильно удивило. Может, она и не подозревала, что этот пленный белорус способен на такую деликатность, но лицо ее стало добрым, глаза посветлели, вокруг них сбежались мелкие морщинки, а губы растянула дружелюбная улыбка. И только сейчас Колотай понял или увидел, что эта женщина, хотя уже и немолодая, еще красивая, еще, не глядя на свою нелегкую жизнь, может нравиться мужчинам.

А может, Колотай так подумал потому, что уже давно не видел женщин, девушек, и ласкал их только в своих мечтах, в воспоминаниях? Может, и так, у него осталась дома девушка Марина, совсем молодая, единственная дочь у родителей... Только бы за это время, пока он воюет-кукует в снежной Суоми, не вышла замуж... Но пусть! Еще неизвестно, когда он вернется домой, и вернется ли вообще. Все было очень неопределенно, очень туманно. Даже очень ненадежно — пятьдесят на пятьдесят...

Девушки ему только снятся. Но сегодня он видел сон совсем не о девушках, а об их с Юханом дороге. Как будто дорога, по которой они идут, очень узкая, с двух сторон зажата деревьями, ветки их нависают даже сверху, поэтому ему кажется — они идут по тоннелю, по какой-то норе, а куда та ведет — не знают. Юхан идет первым, Колотай — за ним. Но они не просто идут, они бегут, как могут, выбиваются из последних сил, потому что сзади слышится погоня. Они не знают, кто за ними гонится, но чувствуют, что если их настигнут, будет беда, и потому налегают на лыжи, на палки, выкладываются в полную силу, чтобы оторваться от погони. И вдруг столбенеют: их дорога преграждена огромной валежиной — елкой, перекрывшей их узкий

тоннель и просто замуровавшей его, даже щели нигде никакой не видно. И в сторону — влево или вправо — тоже не свернешь, потому что лес с двух сторон такой густой и непроходимый, что в него нельзя даже воткнуть лыжную палку, не то, что втиснуться самому. Они остановились и не знают, что делать, как пробиться через это заграждение, так неожиданно оказавшееся на их пути. Ветки так плотно прижались к земле при падении дерева, что создали густую прочную живую изгородь, через которую нельзя продраться. Но вот Юхану удается найти лаз между ветками, упирающимися в землю и образующими поперечный едва заметный коридор, который изгибается штопором. Они ввинчиваются в этот еле заметный изгиб, с трудом протискиваются слева направо под поваленным деревом и выходят почти прямо на ту дорогу, по которой они мчались, удирая от погони. Еще минута-другая возни в дебрях ветвей и подлеска — и они снова бросаются изо всех сил вперед, подальше от погони, которая, конечно же, будет долго искать проход, но неизвестно, найдет ли, а они за это время смогут от нее оторваться.

Парни пробежали по узкой тропинке не так и много, как лес постепенно начал расступаться, редеть, дорога стала шире, они увидели над собой чистое небо, а на горизонте — свободную от леса равнину, и где-то там, далеко впереди, заметили что-то наподобие шпилей каких-то зданий, может, храмов или кирх. Погони не было видно, они вздохнули с облегчением и направились туда, где вдали уже вырисовывались силуэты большого города.

Он хотел рассказать этот сон хозяйке, собиравшей их в дорогу, но побоялся показаться смешным — и промолчал. Возможно, в другой раз, а сейчас надо шевелиться. «Счастливой дороги», — сказала им Марта, и еще что-то добавила по-фински, уже одному Юхану. Как каждая мать, она готова дать своему ребенку десяток полезных советов перед любой отлучкой из дома: а ты же смотри, а ты же не упади, а ты же не будь вороной... И еще много чего нужного — так ей кажется...

Почему-то сегодня Колотай был совершенно спокоен: либо так, либо этак. Будет все идти гладко, нога не откажет — можно будет рвануть дальше, чем они добрались в прошлый раз. Откажет — ну и что, плакать или печалиться? Нужно просто смириться: тут ничего не поделаешь, живой организм не любит экспериментов над собой и иногда протестует, как вчера это произошло с Юханом. Превысил норму — и вот результат, в другой раз будет умнее, не гоните коня в хвост и в гриву, давайте ему передышки.

Сегодня Юхан тоже шел первым, и темп его был довольно резвый, Колотаю даже хотелось его предупредить, чтобы не спешил, не натрудил ногу. Но ведь каждый человек сам себе хозяин, должен чувствовать, на что он способен, а чего не может, тем более, в смысле физическом. Погода стояла по-прежнему хорошая: ни ветерка, ни снежинки, ни соринки. Все в белой фате, даже в темных очках глаза слепит. Какие они белые, эти финны — снова возвращается Колотай к этой теме. Они зимой белые, а осенью будут зелеными, а их хотят выкрасить в красный цвет: вон сколько пустили крови уже в самом начале войны — бомбили Хельсинки, Выборг, другие города. Артиллерия и танки сметали все на своем пути, пока не уперлись в доты. И тогда пошло тяжелее и дошло до того, что советские бойцы оказались в финском плену, как вот он, Василь Колотай, парень из мирной Беларуси. Почему он здесь оказался, что ему нужно на этой земле? Мало своей — захотел чужой, стал оккупантом, хоть и не по своей воле, а потом, совсем неожиданно и не по своей воле, стал пленным. Так тебе и нужно, да! На чужой земле будь лучше пленным, чем оккупантом — так честнее, хоть и ненамного.

И сегодня тот же финн, вчерашний твой враг, уже смотрит на тебя не как на врага, а как на человека, заблудившегося на их земле. Даже не по своей воле. И даже хочет, чтобы ты как-то выбрался отсюда, хочет помочь, показать дорогу, тренирует его и заодно — своего сына, который должен будет показать эту дорогу, вместе с ним ее пройти. Для него, Колотая, это еще тайна, он до сих пор не знает, как все будет происходить, но общая картина ясна: они готовятся к побегу — он один, или вместе с ним и Юхан...

Вот показался и тот валун-голова, как назвал его мысленно Колотай. Он, конечно, не изменился со вчерашнего дня: все такой же величественный, крепкий, уверенный в себе, в своих скрытых силах, дремлющих в нем не одно столетие, нахмуренный, в белой шапке до самых глаз, возможно, спит, а может, только дремлет, перебирая в своей каменной памяти все то, что отшумело-отгудело над ним, при нем, возле него, как он здесь оказался, принесенный ледником давным-давно, когда не было никакого леса, ни зеленой травинки, а было однообразно, серо и пусто, как в пустыне, может даже, как на второй день сотворения мира.

Они постояли у валуна, как бы заряжаясь его мощной энергетикой, каждый со своими мыслями, конечно же, на своем языке, и Колотаю подумалось, что Юхану огромный валун говорит больше, чем ему, чужому здесь человеку, валун воспринимает финна как своего — родного, близкого, он помнит день его рождения, и дни рождения его отца и матери, и их родителей. Он был свидетелем всей истории этой земли и этого народа. Скорее, это уже не только свидетель, а сама история, записанная в камне-граните — навсегда, навечно. И Юхану он намного ближе и дороже, чем ему, который оказался здесь случайно и надолго не задержится. А его след возле этого валуна растает вместе со снегом, который пролежит всего лишь до весны.

Словно нехотя, они двинулись дальше, неся в сердце какой-то неясный импульс: вам даны ноги и руки, вы должны их использовать так, чтобы не уподобиться этому символу оседлости — валуну. Ноги и руки — это ваши крылья, которые должны носить вас по миру, пока у вас есть силы и возможности, пока бьется ваше сердце и гоняет по венам кровь. Вы — живые создания и ваша сущность — это движение.

Так они шли-скользили на лыжах-скороходах, думая каждый о своем, и Колотай жалел, что они оба как немые, могут общаться только мимикой, жестами, которые не всегда совпадали, потому что означали у нас одно, а у них — другое. Видимо, о чем-то подобном думал и Юхан, потому что его молодая неугомонная натура жаждала как можно больше знать о мире, о соседе-завоевателе, который стал их пленником, который много всего интересного знает, а рассказать не может. Точнее, мог бы, если бы Юхан умел его понять...

Дорога уже давно превратилась в тропинку, по которой сложно было пройти, чтобы не зацепиться за ветку и не обсыпать себя мягким пушистым снегом, который, как комки ваты, покрывал каждое дерево, каждый куст. Только под густыми елками возле стволов оставались голые круги, не присыпанные снегом, где, наверняка, грелись лесные звери, которым этот холодный снег не давал жить, и они зарывались в сухую листву и иглицу. А может, они сидели в своих норах, в ямах под валежинами, когда дерево падает вместе с корнями, оставляя широкую и глубокую яму. Там лисы и волки устраивали свои логова, углубляя или расширяя данное природой жилище.

Интересное явление эти валежины. Бывает, что по лесу идет вихрь, он может положить целую полосу деревьев, это Колотаю приходилось видеть не раз, как в своих лесах, так и в чужих, в тех же карельских. Страшная сила ломала деревья, проходя по лесу, как спички, укладывала их друг возле

друга, создавая ровный помост, и этот завал или бурелом может тянуться на несколько километров. А иногда бывают выборочные буреломы — вихрь или какая-то стихийная сила валит одно дерево из многих, стоящих рядом с ним, и мчится дальше, не задев больше никого из окружения, чтобы через определенное время или расстояние повалить, вырвать с корнем еще одно дерево. Что это, если не судьба, предначертание или проклятие? Почему все деревья стоят, как стояли, а вот это одно повалено, вырвано с корнями? Для Колотая это была большая загадка природы, и он собирался заняться этим вопросом, чтобы постигнуть его секреты. Возможно, Якоб Хапайнен что-то знает о таком феномене, потому что живет среди леса, каждый день сталкивается с ним и может за долгие годы своей работы постигнуть на первый взгляд простые вещи, а если подумать, то очень даже сложные. Такое явление напоминало ему саму человеческую жизнь, когда рядом погибают люди, а кто-то остается в живых, как он сам: погибли сотни, а вот он почему-то уцелел. Что это, если не судьба, не предначертание? Что это, если не Божественная сила, если не рука Всевышнего? Когда-то к словам «написано на роду» он относился скептически, с недоверием, но сейчас эти слова приобрели для него совсем иной смысл: человек рождается со своей собственной судьбой, он будет с ней всю жизнь, и никто не в силах ее изменить, ведь говорят: кому суждено утонуть, тот в огне не сгорит.

Так неужели ему и дальше суждено жить, а как — это уже во многом зависит от него самого, от того, как сообразит голова, куда направит, и куда поведут ноги? Разве он мог подумать, что уцелеет, когда финны осыпали их градом пуль, когда падали рядом его друзья с пробитыми сердцами или головами, с израненным телом? Может, и он был бы убит, если бы не упал сам и не пополз подальше от того места, где все это происходило, где снег окрашивался кровью?..

Сегодня у него было какое-то унылое настроение, а почему — он не знал, хотя иногда волна безразличия накатывала на него и поглощала надолго. Его организм, или только один мозг, отдыхал и не хотел тратить энергию лишь бы на что, а завтра он покажет себя, когда наступит просветление, облегчение, когда безразличие свалится с плеч, как невидимый, но тяжелый груз, прижимавший его к земле, не дающий выпрямиться.

Он знал, что это пройдет само собой, не нужно напрасно трепыхаться, укорять себя и ожидать чего-то такого, что может перевернуть всю жизнь, направить ее в другое русло. Нет, такого он не ожидал, на такое не надеялся — пусть будет так, как есть. А там посмотрим...

Между тем, они уже выходили на свой прежний рубеж — больше десяти километров прошли без передышки, Юхан был впереди и держал хороший темп, пощады не просил, налегал на палки и пытался даже оставить Колотая далеко позади. Колотай иногда специально давал ему такой шанс — пусть потешится парень своей силой-сноровкой, может у него легче на душе станет. Дорога стала неровной — лыжи то шли гладко, как по ровному настилу, то чувствовалось, что под снегом лежат камни разной формы и размера, и когда такой камень, особенно с острыми гранями, доставал до лыжи, легко можно было упасть от внезапного торможения, а при очень неудачной встрече с камнем — сломать лыжу, а то и вывихнуть ногу. Но такую почву под собой они чувствовали редко, дорога была в основном утрамбована полозьями саней и копытами лошадей, хотя такой транспорт встречался им редко.

Узкая лесная дорога становилась шире, как бы собираясь превратиться в свободное от деревьев поле, но ничего подобного не произошло, просто они вышли на широкую дорогу, которая под прямым углом пересекала их

тропу. На этой широкой дороге, шедшей с юга на север, или наоборот — как для кого, — стояли телеграфные столбы, между ними висели четыре нитки провода, густо усеянные пушистым снегом, который местами осыпался с проводов, и создавалось впечатление, что провода там нет. И, как ни странно, провода молчали, не гудели, как обычно гудят свободные от инея или снега провода, да еще на ветру. А здесь они угрожающе провисли посередине между столбами, казалось, даже готовы порваться. Но, прислушавшись, Колотай уловил едва слышную, глухую музыку проводов — они не спали.

Юхан вдруг притормозил, за ним и Колотай, немного отставший от своего молодого хозяина, и они увидели, что по дороге с севера на юг идут на лыжах трое мужчин в одинаковой форме: короткие куртки до колен синего цвета, остроносые, с козырьками, теплые шапки с кокардами, не подпоясанные, только с полевыми сумками через плечо, с карабинами за плечами.

— Полициён, — вполголоса сказал Юхан.

Было заметно, что он немного волнуется — не сказать, чтобы испугался, но это у них была первая встреча с полицией.

В душе немного смутился и Колотай, хотя ему было интересно знать, как здесь к нему отнесутся, что скажет местная власть: возможно, ему просто запрещено далеко отлучаться от того дома, в котором он временно живет, или еще что-нибудь. Власть всегда любит показать свою силу, чтобы ты знал, что она напрасно хлеб не ест. А если уж ты что-то нарушил, тогда почувствуешь эту силу на себе, и еще как! Десятому закажешь!

Пересекать дорогу перед носом полиции они не стали, чтобы не подумали, будто от них удирают. Нужно подождать, тем более, что представители правопорядка приближались.

Первым не шел, а бежал на лыжах молодой кряжистый полицейский, энергично отталкивался палками, резво перебирал ногами, лыжи, казалось, у него находились в воздухе дольше, чем на снегу. За ним бежали еще двое: один немного выше первого, последний — высокий. Кто из них был начальником, Колотай не мог разобрать, потому что нашивки и погоны, возможно, что-то и говорили Юхану, но не ему.

— Тэрвэ! — было первое слово, которое уже хорошо знал Колотай.

Произнес его первый, приземистый и крепкий на вид полицейский, подозрительно осматривая парней, у одного из которых за плечами было ружье.

— Тэрвэ! — в один голос ответили они.

Первый сразу обратился к Юхану, о чем-то спросил, кивнув головой в его сторону. Тон был сухой и довольно резкий, что сразу насторожило Колотая. Он уловил слово «веняляйнен» — русский, сказанное Юханом. Другие полицейские пока в разговор не вмешивались. Но вот подошел и их черед: коренастый обратился к высокому, как бы что-то приказал. Тот приблизился к Колотаю и заговорил по-русски:

— Так ты руски пленны, да? Гавари, я панимаю па-руски.

Колотай немного ожил: можно будет хоть что-то ответить или объяснить, если дойдет до чего-то серьезного.

— Я палонны, але я не рускі, а беларус, — умышленно ответил по-белорусски.

— Беларус? Баларусия? Я слыхал про Беларусь. Почему же ты пришел воевать с нами?

— Меня мобилизовали, дали винтовку... Как и каждому солдату...

Высокий, намного старше других, поэтому и знал русский язык, переводил своим товарищам. Вдруг рванул с места средний, подъехал к Колотаю, что-то резко заговорил, схватил его за куртку, пытаясь повалить на землю.

Колотай бросил палки, стал отрывать руки полицейского от своей куртки, сердце у него заколотилось. Промелькнула мысль: «Ну вот, конец...»

Коренастый полицейский что-то крикнул грубияну, как будто приказал, тот отпустил Колотая, запыхавшись, что-то говорил сорванным голосом.

Высокий перевел:

— Наш таварыш гаварит, что ты акупант, пришел нас заневолить, что тебя надо убить, как ты убивал наших солдат... Это ты убил его родного брата, понял? Родного брата, неделю назад...

— Почему я? Нас здесь тысячи, — пытался оправдаться Колотай. — Меня тоже могли убить ваши солдаты... Они убили больше тысячи наших... Целую бригаду... Я случайно уцелел... Меня взяли в плен ваши солдаты... Я не убивал его брата, не убивал, — оправдывался Колотай, хотя не был уверен, что говорит правду.

Высокий перевел его ответ товарищам, кажется, его поняли правильно, немного успокоились. Коренастый начальник что-то сказал Юхану, и тот полез в свою куртку, достал бумаги, показал полицейским. Все трое по очереди прочитали справку, которую выдали Хапайнену, потом проверили документы и паспорт Юхана, разрешение на ружье, еще что-то спрашивали, словно забыв о нем, Колотае. Но ненадолго: снова средний стал что-то громко говорить, поглядывая злобно на Колотая, готовый, кажется, опять начать расправу.

В этот раз высокий ничего не переводил Колотаю, — может, это были какие-то угрозы, считающиеся незаконными, какими-то завышенными, которые можно приравнять к нарушению каких-то там международных соглашений по правам пленных или что-то подобное. Но может ли он, Колотай, спрятаться за те невидимые статьи, которые где-то там записаны, и неизвестно еще где? А здесь вот среди леса, на глухой дороге их остановили люди с оружием, а если оружие у них в руках, то и закон на их стороне, и могут они его даже убить, и никто не осудит — убить как советского солдата, оказавшегося на их территории и собиравшегося ее поработить. Вот так!

От этого всего было неспокойно на душе, однако большого страха Колотай не испытывал, не думал, что финны могут пойти на нарушение кем-то установленных правил, хоть и не ими самими писаных. Это не советские, для которых законы — что дышло, куда повернул, туда и вышло. Возможно, это его и спасает...

Они еще поговорили с Юханом, тот что-то объяснял, показывал лыжной палкой на запад, на восток. Кажется, его объяснения успокоили полицейских, только средний все еще что-то сердито бурчал, поглядывая на Колотая. Судя по всему, они не имели никаких претензий к лыжникам, их документы признаны правильными.

Только высокий обратился к Колотаю на прощание:

— Твое, счастье, белорус, что мы втроем. А если бы был он один, — показал глазами на среднего, сердитого, — тебе было бы очень плохо. Так что берегись, теперь многие имеют зуб на русских, потому что они убивают нас и хотят захватить нашу землю. И ты им помогал. Да, да, твое счастье, что ты пленный. Тэрвэ! — и он козырнул.

Колотай, не веря, что все закончено и они могут ехать, тоже ответил «тэрвэ».

Первыми тронулись с места полицейские, они поехали по дороге на юг, куда и направлялись сразу, а Юхан и Колотай, посмотрев им вслед, пошли своей дорогой — на запад, как шли до этого. Юхан оглянулся на Колотая и с улыбкой сказал:

— Хювя он — харашо!

— Хювя он, — повторил Колотай, — хорошо! — и захохотал, словно сбрасывая с себя холодное оцепенение и груз уже прошедшего страха.

Все обошлось — ну и хорошо. Хювя он, — как говорят финны. И во второй раз обошлось для него хорошо...

VI

В тот день они просто не узнавали себя: прошли еще километров десять на запад, заглянули к знакомому Хапайнена, живущему в небольшом городке, передали «тэрвэ», попили кофе, добавив еще свой, из рюкзака Колотая, Юхан еще немного поговорил со знакомым отца, и они двинулись обратно. Настроение было приподнятое у обоих. Юхан радовался, что все закончилось мирно, что его документы сыграли свою роль, не были, так сказать, проигнорированы слугами правопорядка, что эти слуги — и это очень важно — не нарушили его сами, как нередко бывает, если власть не контролировать сверху. А сверху в то время был только Всевышний, может, он и поставил все на свои места.

Колотай тоже чувствовал себя чуть ли не именинником: что ни говори, а он остался под защитой закона, его не взяли в наручники, позвякивающие у полицейских на поясах под куртками. В военное время законы меняются и из гуманных и мягких становятся суровыми и жестокими, а, скорее всего, их делают такими люди, которые тоже становятся жестокими и безжалостными. Что такое война, если не насилие и жестокость? Говорят, что без этого нельзя выиграть войну. Нельзя жалеть врага, потому что, жалея, не победишь. Но нельзя жалеть и своих, ведь если их жалеть, они не захотят идти на смерть из-за каких-то там сомнительных выгод, за чужие земли и чужие богатства, которые они, властители, хотят сделать своими. Покажи только слабость, ослабь поводья — и они разбегутся в разные стороны, и ты останешься один, как луна на небе, и горе тебе будет: погибнешь вместе с тем режимом, который тебя содержал до сих пор, поил и кормил, наделял властью. Нет, ослаблять поводья нельзя, власть всегда держится на силе и насилии, на притеснении, на крови и слезах, — как чужих, так и своих людей.

А сегодня закон не был нарушен, потому что рядом с одним сердитым и обиженным были еще двое, которым злоба не застлала глаза и не затуманила мозги, и они смогли увидеть в нем, Колотае, человека, которого нельзя убивать, потому что он уже не открытый враг, а пленный, взятый, как ни странно, под защиту законов этой страны. Пленный — это уже не солдат, он, фактически, мирный человек, которого можно заставить работать, чтобы не был дармоедом для государства. В такой вот роли его молодой хозяин Юхан и выставил Колотая — и этим самым спас от беды, которая могла с ним случиться.

Колотаю ни с того ни с сего вдруг стрельнуло в голову: а если бы на место этих финских полицейских да поставить советских милиционеров? Какая бы получилась картина? Они перевернули бы все с ног на голову и сразу сказали бы, что Колотай — замаскировавшийся под пленного шпион! Есть справка, что ты, Колотай, пленный, что твой хозяин Хапайнен? — Хорошо. Но как ты докажешь, что ты Колотай, а не Иванов, Петров? Где фото твое? Нет! Значит, на твоем месте может быть кто угодно. Ты — это не ты! Понял? Руки! — и сразу щелкнули бы наручники.

Кажется, мелочь, а на ней держится все — это доверие. Здесь человеку верят, у нас — нет. У нас человек не может доказать, что он — не шпион...

Домой они будто на крыльях летели. Теперь Колотай шел первым и, пока были силы, старался, как мог. Юхан отставал от него, а может, просто не

хотел выкладываться, тратить последний пот, который еще очень даже понадобится. Сам Колотай не был скор на пот, но где-то на середине дороги почувствовал, что плечи постепенно становятся мокрыми, и тогда уже нельзя притормаживать, потому что мокрые плечи сразу начинали чувствовать холод. А что такое холод за плечами? Это простуда, на которую он не имеет никакого права: он подневольный, должен быть в форме и делать то, что ему скажут. А сказано ему одно — тренироваться!

Сегодня они хорошо-о-о потренировались, Колотай такого сюрприза не ожидал. Он надеялся, что все, как и раньше, пройдет спокойно, что они отмеряют свои километры туда и обратно — и ничто не нарушит их обычный темп и ритм. Ан нет, сегодня случилось неожиданное, что, между прочим, и должно было когда-нибудь случиться, и хорошо, что все закончилось для них, особенно для него, Колотая, так мирно.

Интересно, что говорили полицаи Юхану? Но это он узнает тогда, когда Юхан расскажет родителям, а Хапайнен перескажет ему по-русски.

Наконец они выехали на знакомую уже дорогу, ведущую с севера на юг, посмотрели налево-направо, — и обрадовались, как дети: будто полицейские еще раз могли здесь встретиться! Они с облегчением вздохнули и через несколько минут скрылись в лесу, двигаясь по своей неширокой дороге.

Неизвестно, как Юхан, а Колотай чувствовал какую-то опору: он тут не чужой, вернее, чужой, но уже попал под защиту их, финских, законов, уже с ним нельзя ничего плохого сделать, он имеет какие-то, хоть и небольшие, права. Но он здесь еще в положении ребенка, который без мамы может заблудиться в чужом лесу и стать добычей зверей, а в его случае — людей, которые, пользуясь правами сильнейшего, могут растоптать его слабенькое право, как какой-нибудь гриб-дождевик в лесу давит сапогом равнодушный грибник. Что ему до какого-то русского пленного, который шел сюда с намерениями чем-нибудь поживиться и сам попал в положение того, кем может поживиться кто-то другой: шел за шерстью, а оказался постриженным.

Неужели эта война никого ничему не научит? Неужели судьба отдельного человека, который тут погиб или еще погибнет или будет взят в плен, никого не заинтересует, не тронет за живое? Неужели слезы родителей и детей, жертв войны, не упадут на чужое сердце и не пробьют его, не пробудят в нем сочувствие к обиженным судьбой, надеявшимся иметь от своих сыновей опору, поддержку, помощь в тяжелые времена, а дети чтобы их растили, воспитывали, вывели на ровную дорогу жизни, которая будет для них единственной и счастливой? Или им, тем, кто наверху, все равно, кто там, и сколько погибает и пропадает, а главное для них — амбиции, желание перекроить карту Европы и подогнать под тот образ, который давно и неизменно жил в головах правителей, руководствующихся только одним: расширять свои границы как можно и сколько можно, а точнее — бесконечно? А что для этого нужны жертвы, и даже большие, их не волнует? Ведь как что-то получить без жертв? Разве люди не привыкли еще к тому, что они должны растить своих детей, особенно сыновей, и отдавать их на службу государству, чтобы оно в нужное ему время послало их, одетых в солдатскую форму, воевать...

Правда, воевать — не то слово, оно режет слух, раздражает, наводит на плохие мысли, ассоциации. Лучше сказать — расширять границы своих владений, именно своих, и потом, если тебе посчастливится остаться в живых, ты сможешь быть здесь уже не чужаком, а хозяином, с которым будут считаться. Так зачем думать о каких-то жертвах, горе и слезах? Все это окупится, слезы высохнут, а горе забудется, и те, кто останется, станут жить — не тужить. Они будут вспоминать о жертвах и слезах только в круглые даты, когда про-

исходили большие события — большие победы. Чужое горе не трогает тех, кто наверху, иначе ничего подобного никогда не было бы: ни войн, ни захвата чужих земель. И люди не боялись бы, что завтра кто-то придет и заберет нажитое ими добро, а их самих может поставить к стенке...

Наконец они увидели, что показалась «голова» — огромный валун, их дорожный знак, мимо которого они не могли пройти, чтобы не полюбоваться молчаливым свидетелем истории этой земли и людей. Он не знает, что за несколько сот километров отсюда грохочет война, погибают люди от пуль и снарядов, от мин и бомб с одной и с другой стороны... Но не может быть, чтобы он не знал об этом. Шестая часть его поверхности соединена с землей, а земля передает ему, как по телеграфу, все свои беды и тревоги, все звуки взрывов и даже стоны раненых. Так что он знает, что происходит на земле, на которой он лежит-живет тысячи столетий.

Колотай снял рукавицу, прикоснулся пальцами и всей ладонью к шершавой поверхности гранита, и, как ни странно, холод не обжег руку, напротив, ему показалось, что поверхность валуна не холодная, словно таинственное тепло из середины достигает поверхности, она не обжигает руку холодом, как железо, а медленно, осторожно забирает тепло руки, чтобы добавить к своему, которого сейчас так мало на земле, потому что вокруг зима, а до солнца еще далеко. Только ночами здесь дрожит-переливается северное сияние, но его далекое тепло может, вероятно, принять и почувствовать только один этот камень-валун.

И вот они снова на своем маршруте, который им мерить еще примерно час. Опять впереди Колотай, Юхан время от времени наступает ему на пятки, а иногда отстает, будто отдыхает от высокого темпа. Но чувствуется, что сил у него еще много, во всяком случае, достаточно, чтобы преодолеть всю дистанцию и не упасть на финише. Юхан — выносливый парень, такое расстояние для него уже не предел, а для Колотая — тем более. Еще в институте, да и в армии, он делал стокилометровые переходы, и чувствовал себя хоть и уставшим, но не выбившимся из сил, когда кажется, что ты готов уже отдать концы. Такое чувство было и раньше, когда он только начинал заниматься спортом. Тренировка — основа всякого спорта. Тяни до седьмого пота — тогда будет результат, — Колотай это знает по себе. Юхану до такой отметки еще нужно дорасти, хотя основа у него есть, по́та он не боится.

Добрались они домой уставшие, но довольные: дорогу, и немаленькую, преодолели, можно сказать, легко. Только поставили лыжи, сняли свою амуницию и разделись, как появился Хапайнен, стал расспрашивать, как прошли маршрут. Колотай ответил, что хорошо, *хювя он,* а Юхан, видимо, начал рассказывать, что с ними случилось в дороге. Хапайнен сразу сел на табуретку, упершись руками в колени, и внимательно слушал, иногда что-то спрашивал, но кратко, иногда мотал головой, как бы высказывая свое несогласие с тем, что говорил ему сын. Когда Юхан закончил, Хапайнен долго молчал, словно никого не замечая, — вероятно, был сильно поражен услышанным, или, проще говоря, переваривал то, что проглотил. Наконец поднял голову, уставился на Колотая и спросил:

— Как, Васил, сегодня твои портки остались сухими?

Колотай улыбнулся такому народному юмору и ответил в том же тоне:

— Я как будто знал утром, что меня ждет, и много чая не пил, потому и остался сухим, а если серьезно, то я уже думал, что больше вас не увижу.

Хапайнен покивал головой, дотронулся указательным пальцем до кончика своего слегка курносого носа и сказал с тенью тревоги в голосе:

— Видишь, Васил, тебя одного отпускать нельзя. Но с Юханом — безопасно. Так что все в порядке... Как завтра? Пойдете?

— Я готов, только как Юхан, — ответил Колотай. — Он шел хорошо.

Хапайнен глянул на сына — тот прислушивался к их разговору, видимо, старался понять смысл слов, и что-то коротко сказал отцу.

— Юхан отчасти понимает, о чем мы говорим, он согласен завтра идти, — сказал Хапайнен Колотаю. — Ваша задача — хорошо выспаться.

— Это мы можем, — с улыбкой ответил Колотай. — Как следует.

Ужин немножко задержался, потому что долго возились, помогали хозяйке управиться с коровами: напоить, накормить, подоить, выбросить навоз, подстелить. Колотаю все эти работы были очень знакомы и близки, он словно возвращался домой, помогал матери, отцу, и у него становилось немного легче на душе, улетучивались мрачные мысли о тяжелой неопределенной судьбе — о плене, который неизвестно когда и неизвестно чем закончится, потому что все будет зависеть от того, как завершится война, кто выйдет победителем, а кто побежденным. Трудно поверить, что маленькая Финляндия устоит против великой и могучей России, но еще неизвестно, не заступится ли кто за маленькую Финляндию, может, даже Германия, которая теперь стала самой могущественной в Европе, и когда Россия поймет, что Германия готова к решительному шагу, она может пойти на примирение, и это будет самый лучший вариант, даже для обеих сторон. Пройдет какое-то время, и пленных станут обменивать, ведь, как и в каждой войне, в плен попадают как с одной, так и с другой стороны... А может быть даже так, что из-за маленькой Финляндии начнется большая война в Европе, потому что могущественные державы только и ищут повода, чтобы помериться силами, хотя от такого соревнования никому пользы может и не быть, а вот вреда — так по самые уши. Достаточно вспомнить, что было двадцать лет назад.

За ужином Хапайнен рассказал жене, что сегодня на дороге парней остановили полицейские, что один из них готов был броситься на Колотая с кулаками, но старший полицейский не дал этого сделать, заступился за парня. И хозяйка, роува Марта, была сильно поражена этим происшествием, сразу запаниковала, сказав, что больше пускать их в дорогу нельзя: недолго до беды.

Хапайнен успокаивал ее, мол, ничего особенного не произошло, закон они не нарушили, наоборот, те двое успокоили третьего, у которого была кровная обида на русских: на этой войне погиб его брат, значит, его брата мог убить вот этот русский, хоть сейчас уже и пленный. На его месте так мог подумать каждый, а мог сделать еще и что похуже, не только схватить за грудки.

К Хапайнену присоединился и Колотай, главный герой всех сегодняшних событий, и они вдвоем, даже втроем, потому что Юхан тоже добавлял что-то свое по-фински, — они втроем убедили женщину, что в их походах нет ничего страшного, никакой угрозы их жизни нет, да и не будут же им встречаться на каждом шагу сердитые полицаи.

Наконец роува Марта согласилась с их доводами, хотя какой-то осадок недоверия оставался: лицо ее было хмурое, она как бы что-то хотела им возразить, но под конец махнула рукой, будто говоря: разве я одна могу переспорить трех мужчин?

Одним словом, твердо договорились: завтра в дорогу. Только бы погода не испортилась, не поднялась метель, хотя за последнее время, которое Колотай «гостил» в Финляндии, он еще не видел, не слышал настоящей метели, будто здесь был край сонного царства природы.

В природе было тихо и спокойно, зато на восточной границе бушевала война, с обеих сторон ложились тысячи голов, одни наступали, другие оборонялись. Оборона была надежная, хорошо подготовленная, финские солдаты были прикрыты бетоном и железом, а советские были живыми мишенями

и погибали, окрашивая белый снег в красный цвет. Того, что там сейчас происходило, Колотай не видел, но чувствовал это сердцем, душой, он легко представлял и переживал картины, свидетелем и участником которых был сам. К счастью — или к несчастью? — но его там сейчас нет. Воюют без него, погибают все новые жертвы этой ненужной никому войны. Почему люди на войне все делают механически, слепо исполняют то, что говорят им сверху, хотя разумом и сердцем они чувствуют, что здесь что-то не так. С этим сомнением многие умирают, безвременно погибают, и только те, кто уцелел, через определенное время понимают, что жертвы были напрасными. Но того, что было, уже не вернешь, а те, кто погиб, не оживут, не воскреснут. Их место под солнцем останется пустым. А чем они хуже тех, кто послал их умирать? До плена у Колотая не могли уместиться в голове такие крамольные мысли, а сейчас они поселились прочно, как дома, возможно потому, что были его собственными, а не заброшенными в его голову кем-то извне.

На следующий день после завтрака они, Юхан и Колотай, стали на лыжи и двинулись в дорогу. Гулял небольшой ветерок, но снег на деревьях лежал неподвижно, только серебристая пыль кружилась в воздухе, затягивая даль легкой прозрачной дымкой. Колотая удивляло, что северное сияние куда-то исчезало днем, словно растворялось, а ночью, напоминающей наши сумерки, оно снова проступало высоко в небе, слегка шевелилось, но как-то осторожно, деликатно, можно было и не заметить его переливов, если смотреть бегло, торопливо. Северное сияние было как живое — так показалось первый раз Колотаю, так он видел его и позже. И все больше и больше оно зачаровывало его, притягивало своей таинственностью.

С каждым разом на одной и той же дороге открывалось что-то новое, чего не замечал раньше. Проходил мимо и не присматривался к березкам, которые не были здесь редкими гостьями, но сливались со снежной белизной и пропадали в ней, терялись для невнимательного взгляда. А сегодня он словно впервые увидел, что березок здесь не так и мало, но выглядели они хилыми, словно обиженными, зажатыми густым и разлапистым ельником, в котором так же терялся и пропадал сосонник, больше любящий места повыше, не заболоченные. Березняк рос невысоким, несколько деревцев шли как бы из одного корня или одного гнезда: их стволы из одного центра расходились во все стороны, склонившись чуть ли не на сорок пять градусов к поверхности земли, и было их иногда много, от пяти и больше, но имели вид не очень привлекательный: кривые, скособоченные, с большими и маленькими шишками-наростами. Колотай знал, что это карельская береза, как у нас ее называют — «чачотка», крепкое, как железное, дерево, использующееся для изготовления дорогих вещей, таких как шкатулки, портсигары, канцелярские товары, всякие игрушки, которые могут украсить стол какого-нибудь высокого чиновника или ученого, поэта или художника. И вот это дорогое дерево встречается здесь очень даже часто, в то время как в наших лесах, знал Колотай, «чачотку» почти всю вырубили, именно из-за ее большой ценности.

То же самое можно было сказать о пейзажах, открывающихся каждый раз как новые. Очень разные и непохожие, удивительно разнообразные, с которых можно было бы рисовать да рисовать-писать, как говорят сами художники, отличные пейзажи, только бы хватило белой краски, потому что все здесь было только белое, и так его было много, что аж слепило глаза. Колотай словно впервые увидел, что окрестности, когда лес расступался, не были ровные, как у нас, в Беларуси, а перемежались холмами, каменными наростами, гладкими ровными и белыми окнами разной формы — то были замерзшие озера — это уже хорошо знал Колотай, ах, как знал! Попадались замерзшие из-

вилистые ленты рек и речушек, будто обсаженных ольшаником, которые, наверняка, жили под толстым льдом и только ждали весны, чтобы вырваться из неволи. Их сейчас легко можно было переехать по льду, чтобы сократить дорогу.

А дорога, дорога! На ней легко можно было поломать не только лыжи, но и ноги. Присыпанные снегом камни готовы были просто расщепать лыжи, порезать их на лучину — такие острые у них были края, наточенные, как ножи, колючие, как шипы, спрятанные под снегом. И если, не дай боже, налететь на них на большой скорости, спускаясь с горки, можно легко разбиться, потому что лыжи так тормознут, что тебя выбросит из них, как камень из пращи, или ты полетишь с тем, что у тебя останется от лыж, — это Колотай знал от тех, кто проверил такой спуск на себе. Тут, кстати будет похвалить молодых лыжников: за все это время они не сломали ни одной лыжи!

Так что дорога их была ровной только для глаз, а не для ног и лыж. Каждый новый день учил Колотая чему-то новому, в то время как Юхан все такие премудрости, видимо, прошел еще с детства.

Сегодня им нужно отмерить минимум пятьдесят километров, чтобы знать, на что они способны. Колотай уже начинал надеяться на свои ноги, а вот как Юхан, выдержит ли он такую нагрузку — еще неизвестно, хотя парень он крепкий, выносливый и уже натренированный. Главное, чтобы не сорвался, не перегрузил себя самого, чтобы не проморгал ту грань, которая существует между можно и невозможно. И эту грань может почувствовать только он сам, ему, Колотаю, со стороны заметить ее или найти почти невозможно, он может судить только о себе: вот это могу, а это еще не возьму, нужно тренироваться... Колотай тогда сильно испугался за Юхана: а что, если нога выйдет из строя надолго, и они будут вынуждены прекратить свои походы-переходы? Хотя ему, фактически, некуда спешить, его часы остановились, видимо, надолго. Так что ему неделя или больше? Однако же хотелось какого-то успеха, движения, будто тем самым он мог влиять на то время, которое шло себе, обходило его, независимо от того, двигался он сам, или нет. Но странно: остановился сам и кажется, что и время тоже остановилось.

Дорога давалась то тяжело, когда в гору, то шла легко, если с горы, хотя здесь таких больших перепадов встречалось мало, только кое-где встречались подъемы или спуски, когда действительно ритм движения нарушался: то ускорялся, то немного замедлялся. И так — километр за километром, час за часом...

Вдруг они оба, не сговариваясь, остановились и оглянулись — до них долетел гул мотора самолета, который становился громче и приближался к ним. А вот и сам самолет, Колотай узнал его издалека, отчетливо видны были красные звезды на крыльях, фюзеляже и хвосте. Может, это был истребитель, а может разведчик, Колотай слабо разбирался в самолетах, но он просто остолбенел, увидев посланца с той стороны, где он недавно считался своим. И тут самолет, заметив их на дороге, лег на крыло и стал резко снижаться, сильно ревя мотором, и тут же полоснул из пулемета длинной очередью. Онемевшие парни увидели, как снег совсем близко закипел-забурлил от пуль, которые рядком ложились одна за одной на одинаковом расстоянии, но, к счастью, не зацепили их.

Они не успели ни упасть, ни спрятаться под деревья у дороги, а просто онемели и стояли как живые мишени, не успев даже испугаться, потому что все произошло почти мгновенно. Самолет быстро выровнялся и полетел дальше, как раз в том направлении, куда шли и они. Гул мотора затихал и почти пропадал, как до них долетели звуки взрывов — трех один за другим, а потом,

через какую-то минуту, еще трех. Сила взрывов не была большой, бомбы не отличались мощностью, возможно, это были мины, которые сбрасывают с самолетов, но воздух слегка колыхнулся, взрывная волна ударила в уши — и все стихло.

Они постояли еще немного, не зная, что делать: а вдруг самолет будет возвращаться тем же путем? Колотай приблизился к Юхану, чтобы решить вместе: куда двигаться? Юхан не сказать, чтобы был очень возбужден, но вид имел немного не такой, как до этого — страх оставил на его лице печать, жаль, что глаза прикрывали темные очки, и Колотай не смог прочитать в них то чувство, которое обычно отражается в такие напряженные минуты. Во всяком случае, это для Юхана было первое боевое крещение, в то время как Колотай был уже обстрелянным солдатом. Теперь они оба становились людьми одной категории — той, которая побывала под огнем... Колотай спросил себя: под огнем противника? Выходило, что так: Юхан законно, Колотай — случайно. Пули не различили бы, кто из них кто, но, к счастью, стрелок промахнулся, а может, он это сделал нарочно, чтобы их напугать, кто его знает, но тот короткий момент обстрела был для них обоих значительным, важным, и не таинственным ли поворотом судьбы?

— Поздравляю с боевым крещением, — сказал Юхану Колотай, хотя знал, что тот его не понимает.

— Спасиба, — ответил Юхан по-русски, — киитас, кюлля, кюлля, — стал он путать свои слова с русскими, добавляя еще непонятные.

— Пойдем туда — или сюда? — спросил у него Колотай, указывая сначала на восток, а потом на запад. Ожидал, что Юхан, напуганный обстрелом, покажет на дом, но ошибся: Юхан указал палкой на запад.

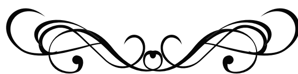
— Тогда поехали, — сказал Колотай весело, и они двинулись в том же направлении, в котором шли несколько минут назад: все произошло так быстро, как и с тем волком, может, еще даже быстрее, и что странно, тоже без крови. Это был как бы хороший знак сверху.

Снова Юхан шел первым, Колотай — за ним. Интересно, что они никогда не ходили рядом, на параллельных курсах, — почему-то подумалось Колотаю. Но тому, кто идет сзади, немного легче, потому что он идет уже по следу. Вот почему нужно чаще меняться. И Колотай тут же сошел со следа Юхана, обошел парня, указав ему место за собой. Тот улыбнулся и кивнул головой.

«Нужно посмотреть, что наделали те бомбы, куда они попали», — думал Колотай, сильнее налегая на лыжи и палки.

Перевод с белорусского Алексея ТИМОФЕЕВА.

Продолжение следует.





ГАНАД ЧАРКАЗЯН

У зеркала

Свое время

Все по-старому. И завтра будет тоже
Совсем неотличимо от вчера.
А ты все хочешь, жизнь свою итожа,
чтоб превратились в утра вечера.

Чтоб снова солнца радостные брызги,
друзей улыбки и подруг смешки.
Но временем своим уже ты призван
таскать забот тяжелые мешки.

Утешение

Рядом со звездами
Нагло мигают спутники.

Океанские лайнеры
Баламутят чистые воды.

Киты и дельфины
Выбрасываются на сушу.

Вырываюсь из города.
Прячусь
в своем маленьком домике.

Он из дерева.
                    Сам и построил.
Гудит огонь в печурке
Меня утешает.

Шрамы

Живу, кажется, незаметно,
Но вовсе не просто.
Каждый день —
Сражение.
И новые порезы на руках —
из-за любви к работе,
шишки на лбу —
из-за строптивости,
и невидимые
шрамы на сердце —
знаки потерянной любви,
непонятого одиночества.
Оно навсегда со мной —
мое неразменное богатство,
мой надежный балласт.
Поэтому никакие житейские бури
и даже гражданские штормы
мне уже не страшны.

* * *

И прожит день.
Но в памяти твоей
Ему уже никак не сохраниться.
В нем не было величья
славных дел
и к небесам
мысль не взлетала птицей.

То был обычный,
безвозвратный день,
что в бездну падают
с закрытыми глазами.
И ты спокойно на него глядел,
не отозвавшись даже
малыми слезами.

В черно-белом свете...

Снял сегодня розовые очки
и удивился —
в черно-белом
мир куда интересней.
Он больше не скользит
по гламурной поверхности чувств.
Он задевает душу,
и даже
обнаруживает сердце.

Слышу как громко и уверенно
оно бухает в ребра.
И вот уже толкает в горло слова,
зовет к действию.

Все это конечно, неплохо,
но только не в наши годы.

Протер мягкой тряпочкой стекла,
водрузил очки на нос.
С удовольствием
огляделся вокруг
и понемногу
начал успокаиваться.

У зеркала

Когда-то любил зеркала.
Бывало, куда ни иду,
как ни тороплюсь,
а все-таки задерживаюсь на минутку —
поправить галстук
и улыбнуться
своему двойнику за стеклом.
И еще раз удивиться —
неужели это я?
Такой молодой,
красивый,
завитой и кудрявый.

Теперь пробегаю смущенно,
не поднимая глаз.
Да и что там увидишь?
Только вспоминаю,
что когда-то любил зеркала.
И они
все до одного
отвечали взаимностью.

Старость

Старость — это когда
наши лица грубеют
и застывают в определенности,
а мысли
становятся жесткими и неповоротливыми.
Тогда, наконец,
мы видим то же, что и все,
и ничего не подвергаем сомнению.

Сквозь холодные увеличительные стекла
очевидны пороки и недостатки.
Но уже слов не хватает
их обличать.
Наши руки
каменеют день ото дня
и все чаще
не доносят до рта
с таким трудом заслуженную
ложку супа.
Отлюбившие сердца равнодушны.
Только в родниках глаз
все еще поблескивают
остатки влаги.
Нас можно поднимать на постаменты —
будем стоять, не шелохнувшись.
Достойными памятниками
самим себе
и той жизни,
что выбросила нас как волна
на берег забвения.

Мысли

Мне говорят: шрамы на сердце,
надо спокойнее жить.
На лавочку в парке усесться?
Воспоминаний листву ворошить?

Лучше не трогать памяти нашей,
не раздувать угольки.
Буду будущее вынашивать,
растить золотые деньки.

Чтоб на пороге старости близкой
они, как дети, толпились вокруг.
Чтоб обнимали меня и тискали,
Не разжимая горячих рук.

* * *

Весна все ближе. И сердца ледник
уже понемногу тает.
Все чаще я отвлекаюсь от книг
и чаще во сне летаю.

...Мы не встречались. И ты никогда
меня не узнаешь в толпе.
В весеннем небе стоит звезда.
мы с ней беседуем о тебе.

Спитак

Как слезы застывшие, камни
С краями, как лезвия бритв.
Тот ужас забытый и давний
Небу навечно открыт.

От города только пустыня
И мертвых камней забытье.
Горе любое остынет
и в прошлое тихо уйдет.

Но вишня, красавица вишня,
Откуда ты здесь и зачем?
Вся в белом, из сумрака вышла,
из долгих, холодных ночей.

Лодка времени

Ту девушку, которую любил,
В кого волшебник старый превратил?
Хотя душой по-прежнему юна,
Идет навстречу бабушкой она.

Ту девушку из сказки молодой
Уносит лодка вешнею водой.
А бабушка, держа за ручку,
Ко мне подводит маленькую внучку.

Пока беспечно дни ее бегут,
И можно ей играть на берегу,
И наблюдать, как бурная вода
И все и всех уносит навсегда.

Перевод с курдского Валерия ЛИПНЕВИЧА.





ЗИНАИДА КРАСНЕВСКАЯ

«Правда жизни» и другие литературные истории

Муза

А все же жаль, что красивое женское имя Муза в наши дни практически выпало из обихода. Помнится, в моем далеком детстве я знавала одну манерную даму, числившуюся среди маминых приятельниц и знакомых, которую звали Музой. Вот только отчество запамятовала за давностью лет: то ли Муза Львовна, то ли Муза Эдуардовна. Зато хорошо помню ее вечно недовольное выражение лица и легкую гримасу брезгливости, с коей она взирала на окружающую жизнь, никак, по ее глубокому убеждению, не подобающую в качестве среды обитания для одной из небожительниц Парнаса. Но то когда было! Как говорят дети, сто лет в обед! Зато сегодня Муз в моем окружении нет и в помине. Что, повторюсь, достойно сожаления. Ведь это редкое имя и в буквальном, и в переносном смысле, как нельзя лучше подходит слабому полу. Особенно тем представительницам женского сообщества, кто шагает по жизни рядом с мужчинами, подвизающимися на ниве искусства. А вот и история по теме. Впрочем, моя муза звалась по паспорту отнюдь не Музой.

Итак, начнем вспоминать. Где-то на излете лета 1971 года мне пришло очередное письмо от студенческой подруги Татьяны Николаевны Левкевич. После окончания иняза Таня вернулась в родные места, на Новогрудчину, и стала работать преподавателем английского языка в тамошнем торгово-кооперативном техникуме. Переписка наша в те годы носила очень оживленный характер. Оторвавшись от столичной жизни, подруга жаждала по-прежнему быть в курсе всех культурных новостей, засыпая меня бесчисленными вопросами, что и где есть интересного. Но надо отдать ей должное: Таня и сама охотно делилась в письмах собственными впечатлениями о том, что где увидела или успела прочитать.

Вот и в том письме, изобиловавшим массой восклицательных знаков и восторженных эпитетов, она поспешила сообщить, что недавно прочитала просто «потрясную» книгу, которую настоятельно рекомендует и мне. Причем на белорусском языке, что в те далекие годы отдавало экзотикой (разумеется, для среды научно-технической интеллигенции, к коей я тогда принадлежала). Роман назывался «Каласы пад сярпом тваім». Далее шло имя автора, мало что сообщившее моему воображению: Владимир Короткевич. Но поскольку к советам студенческой подруги я всегда относилась с должным вниманием, то не посмела ослушаться и на сей раз, и почти сразу же отправилась в Ленинку, где у меня на тот момент имелся полноценный домашний абонемент. Симпатичная библиотекарша охотно достала с полки нарядный, явно никем еще не читаный томик (точнее, том изрядной толщины), глянув на меня при этом с нескрываемым уважением. Еще бы! Не так-то часто в те далекие

годы читатели заказывали для домашнего чтения книги на языке оригинала. Ну, положим, к моим английским заказам в Ленинке уже привыкли, но чтобы на белорусском...

Вернувшись домой, я открыла книгу и... И забыла обо всем на свете, включая время, спохватившись где-то уже под самое утро. Наспех проглотив чашку кофе, я помчалась на работу и с трудом дождалась окончания рабочего дня, чтобы скорее добраться до дома и снова погрузиться в захватывающие перипетии сюжета. Роман произвел на меня просто оглушительное впечатление. Все в нем было внове, все необычно, все непривычно и очень-очень интересно.

И, следовательно, меня распирала жажда немедленно начать изливать на коллег и друзей уже собственные восторги по поводу прочитанного. Что я и не преминула сделать буквально на следующий день, заглянув по делам в научно-техническую библиотеку, где меня поджидала внушительная стопка англоязычной документации, полученной из Москвы по МБА (сокращенный вариант «межбиблиотечного абонемента»). Со всеми девчонками, работавшими на тот момент в библиотеке, у меня сложились отменно дружеские отношения. Неудивительно, что меня тут же понесло, и я стала с придыханиями в голосе живописать свои впечатления от романа Короткевича. Все слушали мой восторженный монолог с явным интересом. Еще бы! Без ложной скромности заявляю: мой авторитет страстного любителя книг и весьма эрудированного знатока литературы в среде коллег и знакомых был в те годы непререкаем. Более того, заслышав мой взволнованный голосок, послушать речи «знатока» подтянулось и руководство в лице самой заведующей библиотекой, красивой молодой женщины лет тридцати с хвостиком.

С Тамарой Семеновной З. (так звали мою героиню на самом деле, а вот фамилию я, по этическим соображениям, сокращаю до первой литеры) меня тоже связывали глубоко приязненные отношения. Да и как могло быть иначе? Разве можно было не «запасть» на эту высокую, статную красавицу с темно-карими глазами, похожими на две спелые вишенки? Разве можно было устоять перед бездной обаяния и неизменно благожелательного настроения, которые потоками изливались на всех посетителей читального зала? Глаза у Тамары всегда сверкали, по умело подкрашенным устам всегда порхала приветливая улыбка, а красивая прическа на голове держала форму безо всяких там лаков и прочих фиксаторов, оставаясь безукоризненной даже в самый проливной дождь. Словом, наша Тамара всегда была в форме, что вызывало у окружающих законное уважение, но — ей же богу! — без капли зависти. Тамару Семеновну ничуть не портила даже легкая оспинка на щеке. Напротив! Она делала ее особенно милой, добавляла всему облику женщины некое изысканное кокетство, придавая ей сходство (во всяком случае, в моих глазах) с одной из тех очаровательных французских маркиз с неизменными мушками на лице, как их, в свое время, запечатлела кисть Ватто или Буше.

Помнится, Тамара слушала меня с каким-то болезненно напряженным интересом. Я это сразу же почувствовала, уловила и заметила. То есть для нее мой читательский отчет был не просто поводом для последующей непритязательной беседы о книжных новинках, а неким очень важным, почти личностным сообщением. Так обычно слушают люди, имеющие самое прямое отношение к предмету разговора. Что показалось мне довольно странным. Ибо готова присягнуть, где угодно, что в те далекие годы Владимир Короткевич еще не успел превратиться в живую легенду, и имя его произносилось в читательской среде спокойно, без восторженных придыханий и восклицаний.

Закончив рассказ, я с видом триумфатора оглядела своих слушателей. Девчонки благодарственно повздыхали, потом согласно покивали голова-

ми, что, дескать, да, надо обязательно прислушаться к рекомендациям Зины и почитать при случае исторический роман писателя, после чего с явной неохотой разошлись по рабочим местам. Я тоже, собрав в охапку заказы, приготовилась уходить, как тут ко мне обратилась Тамара Семеновна.

— Пойдем, я тебя провожу! Мне тут пару накладных надо сверить в бухгалтерии.

Мы вышли за дверь и молча зашагали по длиннющему коридору в сторону управленческих служб.

— А знаешь, я ведь была знакома с Короткевичем! — вдруг неожиданно прервала затянувшуюся паузу моя спутница. — Он меня даже замуж звал. Вот!

— Да ты что? — вытаращилась я на Тамару и остановилась, как вкопанная, прямо посреди коридора, пораженная столь необычным жизненным поворотом в судьбе приятельницы. Кажется, она осталась довольна моей реакцией. Да и то правда! Удивить особу, которую некоторые друзья называли за глаза «столичной штучкой» (видно, из-за моего особого пристрастия к Москве и Ленинграду), было делом очень непростым. Но ведь удивила же! Да еще как. Потому что несмотря на обширные знакомства в самых разных кругах, знакомых в литературном мире у меня на тот момент не было, а потому я никогда и не сталкивалась в неформальной, так сказать, обстановке ни с белорусскими писателями, ни с их спутницами-музами, если таковые у них имелись. А уж видеть живьем счастливицу, которую «звали замуж» за писателя, да еще такого, а она в этот самый замуж по своей же воле не пошла, то и вообще было диво дивное.

Насладившись произведенным на меня эффектом, Тамара довольно будничным тоном изложила романтическую историю своих взаимоотношений с будущим гением, никак не предназначенную, по ее мнению, для широкого круга слушателей. Недаром же она вызвалась меня провожать, чтобы некоторое время провести тет-а-тет. Видно, что-то зацепило ее в моих неуемных восторгах, что-то царапнуло так и задело настолько, что ей захотелось мгновенно исповедоваться, причем именно передо мной. Итак, вот суть сей любовной коллизии, разумеется, уже в моем банальном пересказе.

В начале 60-х юную выпускницу библиотечного факультета, который тогда входил в состав Минского педагогического института, направили по распределению в один из небольших районных городков нашей республики. Работать Тамара умела (это видно было и по ее нынешней деятельности), плюс еще неистраченный задор и желание сеять доброе и вечное, словом, нести культуру в массы, а потому очень скоро молодого специалиста заметили, оценили, продвинули и назначили заведующей районной библиотекой. И понеслось! Выставки, встречи, поэтические вечера, читательские конференции и дискуссии, многочисленные писательские десанты в провинцию и прочее.

Видно, в составе одного из таких десантов и высадился на территории библиотеки Владимир Короткевич. Впрочем, подробности того, как именно случилась первая встреча между будущим классиком и начальницей районной библиотеки начисто выветрились из моей памяти за давностью лет. Хорошо помню лишь одно: встреча состоялась именно в библиотеке, то есть в самой что ни на есть официальной обстановке. Следовательно, было и само официальное мероприятие, а что именно, индивидуальная ли встреча писателя с читателями или выступление перед читательской аудиторией уже целой группы столичных литераторов, — это не столь уж и важно.

А потом между этими двумя случилась любовь. Настоящая любовь, безо всяких экивоков. Быть может, даже страсть, бешеная, темпераментная (огонь, полыхавший в темных вишенках Томиных глаз, однозначно свидетельство-

вал, что с темпераментом у моей героини было все окей). Словом, страсть, сметающая все препоны на своем пути. Ну и все такое прочее, что полагается в подобных случаях. Не будем ханжами. В конце концов, любовь на то и дается, чтобы в ней было все, не правда ли? Вот только развязка у любовной истории оказалась не совсем ожидаемой, во всяком случае, без привычных звуков марша Мендельсона, хотя, как уже говорилось выше, предложение руки и сердца было сделано.

Увы-увы! Столичный романист не учел одного очень важного обстоятельства, не разглядев его последствий в характере своей возлюбленной. Дело в том, что Тамара, дочь кадрового офицера-фронтовика, еще с молоком матери впитала в себя простую, как говорят у нас, немудрогелистую, истину, выучив ее назубок, как Отче наш: благополучнее участи жены полковника только участь жены генерала. Так стоит ли рисковать собственным будущим ради каких-то там сомнительных литературных лавров в далекой перспективе, когда на горизонте маячил брак с молодым офицером, который как раз в это же самое время приступил к несению воинской службы в Германии? Если мне не изменяет память, родители будущей офицерской пары даже жили в одном военном городке, так что все было предрешено уже изначально. Вот и думай после этого, что браки свершаются на небесах.

Прошли годы. Моя Тамара, уже в статусе верной супруги и добродетельной матери, цитируя все того же А. С. Пушкина, слышит знакомую фамилию давнего поклонника, и вдруг что-то обрывается в ее душе. С ней начинает твориться нечто невообразимое, ей хочется немедленно, сию же минуту, излить душу передо мной, вообщем-то не самым близким и родным ей человеком. Какие такие невидимые струны в ее душе затронул мой рассказ, бог весть. Но что-то же проснулось и затрепетало. Что? Запоздалое раскаяние? Или вполне прагматичный расчет? Генерала из мужа не вышло, и пришлось констатировать, что участь жены талантливого писателя, имя которого день ото дня делается все более и более популярным, пожалуй, была бы и не хуже, а, может, и во сто крат лучше. Не стану далее гадать, о чем думала и о чем сожалела моя добрая приятельница. Чужая душа, как известно, потемки. А уж женская, тем более. Скажу лишь, что оставила я Тамару в тот день в страшном смятении и смущении и ума, и сердца. Не знаю, сколько времени длились ее сердечные муки по новой, ибо более мы в наших разговорах никогда не возвращались к теме ее романтических взаимоотношений с классиком. Никогда!

Что ж, начав с Александра Сергеевича, им, пожалуй, и закончу. Кажется, я уже где-то цитировала его известные строки о том, что одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. А потому возьму на себя смелость слегка перефразировать великого поэта и скажу так: у каждой любви есть своя мелодия. Впрочем, еще точнее сказала (вернее, пропела) об этом несравненная Клавдия Шульженко в незамысловатом шлягере 30-х годов: «О любви не говори, а молчать не в силах — пой!»

Вот и у меня с любовной историей Тамары Семеновны, с которой я не виделась уже более двух десятков лет (жива ли она еще?), ассоциируется именно песня, старая-престарая песня, которую в конце 50-х так проникновенно исполнял замечательный певец Дмитро Гнатюк. Не знаю, что тут тому виной: украинский ли период в жизни Владимира Семеновича Короткевича, или задушевный, проникающий до самых глубин сердца голос певца. Но стоит мне заслышать первые строчки почти забытой ныне песни, которую сегодня можно услышать лишь по радио, да и то разве что один раз в несколько лет, как память немедленно возвращает меня в тот далекий день, когда я делилась с библиотечными подружками переполнявшими меня впечатлениями от романа Короткевича:

Я вірю — повернеться щасця,
З тобою зустрінемось знов.
Ти скажи, чи не згасла,
Ти скажи, чи не згасла,
Ти скажи, чи не згасла любов...

Вот только новая встреча былых возлюбленных, судя по всему, случится уже на небесах. Что вполне закономерно. Ведь все влюбленные, всех времен и народов, всегда встречаются именно там.

Адамовичи

Странным и даже, до некоторой степени, мистическим образом судьба моей покойной матери, Красневской Ольги Якимовны, переплелась с судьбами родителей известного нашего белорусского прозаика Алеся Адамовича. Что, впрочем, не так уж и удивительно. Ведь мама родилась в далеком 1918 году в деревне Рымовцы Бобруйского района, что всего лишь в нескольких километрах от заводского поселка Глуша, где прожили большую часть своей жизни родители писателя. И где оба они в положенный срок упокоились на местном кладбище, превратив его в своеобразный пункт паломничества для благодарных своих пациентов.

Впрочем, думаю я, таких жизненных переплетений очень много не только в судьбе мамы, но и в судьбах многих других земляков замечательной супружеской пары. Недаром, когда хоронили отца Алеся Адамовича, а потом и его мать, то их похороны, по словам моей тети Зоси, всю жизнь проработавшей учительницей в Рымовецкой сельской школе, что, повторюсь, всего лишь в пяти километрах от Глуши, превратились в грандиозные демонстрации людской признательности и скорби. Столько желающих проводить этих достойных людей в последний путь собралось из окружающих деревень и весей.

Но вернемся в прошлое. Первым в маминой биографии «отметился» Михаил Иосифович Адамович, отец будущего писателя. И не просто отметился, а, можно сказать, безо всяких экивоков, спас ей жизнь, и вот при каких обстоятельствах. После окончания медицинского факультета БГУ молодого врача направили на постоянную работу в поселок Глуша. Случилось это в далеком 1928 году. А зимой того же года мама подхватила скарлатину и переболела ею в такой тяжелейшей форме, что никто из близких и не чаял уже, что десятилетняя девочка останется жить. Она металась в бреду, температура не спадала, и все однозначно указывало на то, что надо готовиться к худшему. К счастью, Адамович-старший уже приступил к исполнению своих прямых обязанностей. Он-то и стал маминым ангелом-хранителем почти в прямом смысле этого слова.

Можно только смутно догадываться, пытаясь представить себе, что такое был поселок Глуша в те далекие годы. Пожалуй, даже в самом названии заложена исчерпывающая характеристика места: глушь, сплошная глушь в окружении бескрайних лесов и множества крохотных деревень, разбросанных по всему периметру, пробираться к которым нужно было, опять же, через леса. Стационарной больницы на тот момент в поселке не было. Это уже потом, в 30-е годы, стараниями Михаила Иосифовича такая больница была построена и открыта. И вот, что ни день, молодой врач отмерял четыре или пять километров в одну сторону и столько же в другую, чтобы наведать болящую (единственную ли в его ежедневном списке пациентов?).

От первых контактов с доктором у мамы на всю жизнь осталось чувство невероятной, по ее словам, легкости. Осмотрев ребенка, он первым делом велел перенести девочку в отдельную каморку и занавесить в ней окно, чтобы поберечь зрение. И вот то физическое облегчение, которое испытала мама, очутившись в полумраке после яркого света, нестерпимо резавшего воспалившиеся глаза, в ее сознании навсегда слилось с первыми, еще очень робкими признаками будущего выздоровления. Хотя до него еще было ой как далеко. Мама проболела всю зиму, так, что даже в школе пришлось пропустить один год. А доктор Адамович отмечался в доме деда регулярно, пока дела окончательно не пошли на поправку.

Конечно, можно было бы приплести к этой незамысловатой истории и еще одну. Уже о самом дедушке, которого Адамович настойчиво уговаривал решиться на операцию и удалить свою застарелую грыжу, и даже вызывался сделать это лично. Но Яким Герасимович, косая сажень в плечах, красавец мужчина почти двухметрового роста и немереной физической силы, просто панически боялся всяких врачей, особенно тех, кто с ножичками. А потому, несмотря на все свое уважение к доктору и огромную благодарность ему за то, что он вытащил с того света его дочь, на все уговоры ответил категорическим «нет» и от операции отказался. Потом мама не раз говорила, что если бы дедушка послушался Адамовича, то наверняка дожил бы до ста лет. Но и так, слава богу, умер далеко за восемьдесят.

А потому не стану более вплетать в свой рассказ семейные предания о том, как Красневские лечились у Адамовича. В конце концов, по всей Глушанщине можно было, в свое время, насобирать несколько томов таких воспоминаний. Ибо Михаил Иосифович был настоящим земским врачом, в самом лучшем, самом высоком понимании этого слова. Он и умер, что говорится, на боевом посту. Поехал осенью 1948 года на открытом грузовике с очередным вызовом, на сей раз к роженице. Машина по дороге испортилась, пришлось добираться пешком, через лес, через ночь и ненастье. Простудился и домой уже вернулся с высокой температурой. А потом случился инсульт и смерть. Всего лишь в сорок шесть лет. Обидная, нелепая, досадная смерть и одновременно по-чеховски значительная и даже по-своему символичная.

Когда сегодня иные заводят речь о том, что вот, дескать, чеховские интеллигенты — это все один сплошной анахронизм, ибо все они вымерли, как динозавры, ушли в мир иной вместе с Антоном Павловичем, то я всегда в этот момент вспоминаю ворох историй, связанных с доктором Адамовичем, и мысленно возражаю.

— Нет, дорогие мои! Неправда все это! Порядочные и честные люди были и будут всегда. Они есть во все времена. Ибо, как известно, не стоит земля без праведников, живущих на ней. Вот и мамина родная деревня вместе со множеством других окрестных деревень держалась на одном из таких праведников по имени Михаил Адамович. Еще раз повторюсь: десятки, если не сотни людей пришли проводить его в последний путь. А те, кто, как моя мама, не смог сделать это по объективным причинам, те скорбели в душе.

А теперь плавно перетекаю к следующей истории, которая приключилась у мамы, на тот момент уже взрослой молодой женщины, с Анной Митрофановной Адамович, женой и верной помощницей Михаила Иосифовича. Довольно забавный, я бы даже сказала, комичный житейский эпизод. Анну Митрофановну, долгие годы проработавшую заведующей единственной аптекой в поселке Глуша, все земляки уважали безмерно. И за ее безотказность прийти на помощь любому страждущему, и за ее славное военное прошлое. Да что там говорить! Подпольщица, партизанка. Даже я, что ни год отмечав-

шаяся в родной маминой деревне во время летних каникул, помню, с каким почтением, я бы даже сказала, с пиететом, произносилось имя Анны Митрофановны в разговорах маминых односельчан.

Но история маминого вторичного спасения случилась много-много раньше, в мае 1945 года, и на сей раз, в роли ангела-хранителя выступила именно жена Адамовича. Итак, весна сорок пятого года. В воздухе уже разлито ощущение скорой и неминуемой победы и, несмотря на все тяготы тогдашнего бытия, несмотря на все утраты и потери, люди снова начинают жить будущим и надеждами на лучшее. Но все же несколько слов в качестве необходимого зачина.

После освобождения Белоруссии в июле 1944 года власти незамедлительно принялись повсеместно налаживать нормальную мирную жизнь. В числе многих задач, и все под номером один, была и задача усадить за парты 1 сентября 1944 года как можно больше ребятни. А потому все дипломированные педагоги были моментально поставлены «под ружье» и снова отправлены на фронт, на сей раз, образовательный. В маминой семье на тот момент учительствовали четверо: мама, ее старший брат Михаил (его даже досрочно демобилизовали из армии) и его жена, а также их младшая сестра Софья.

Дядю Мишу и маму, имевших уже некоторый опыт педагогической деятельности в довоенное время, сразу же назначили директорами сельских школ. Мама получила направление в школу сравнительно недалеко от родного дома, в деревню Богушевка, что в десяти или пятнадцати километрах от Бобруйска. Опускаю все подробности того, как сугубо женский педагогический коллектив, ведомый молодой директрисой, возрождал полуразрушенную школу; как выбивалась у всех, у кого можно, дранка, чтобы залатать дырявую крышу, стекла, чтобы застеклить окна, как собирались учебники и все мало-мальски стоящие клочки бумаги (включая старые газеты), на которых можно было что-то писать, и прочее, и прочее, и перехожу к сути повествования.

Сегодня уже остались считанные люди, кто помнит о том, что православная Пасха в сорок пятом году практически соединилась с днем Победы. Она пришлась на 6 мая 1945 года, совпав, кстати, с еще одним православным праздником, днем Георгия Победоносца. Вот такое символичное и даже, во многом, мистическое совпадение нескольких славных дат. Надо ли говорить о том, как радовались люди, встречая Пасху, да еще накануне победы. Вот и моя мама захотела обязательно встретить сей главный праздник церковного календаря обязательно в кругу своей семьи, вместе с родителями и младшей сестрой. Подумаешь, пятнадцать километров пути туда, пятнадцать назад! Эка невидаль. В годы войны и не такие расстояния приходилось отмерять пешком.

Квартировала она в доме председателя сельсовета, замечательного человека, с семьей которого мы все послевоенные годы поддерживали дружеские отношения вплоть до самой смерти стариков. И вот, прихватив с собой в качестве компаньонки старшую дочь хозяев Раису, уже почти девушку, ученицу старших классов, мама с самого утра двинулась в путь, держа курс на Глушу. И была остановлена почти на самой околице деревни каким-то особо почтительным односельчанином, который, заметив молодую директрису, выскочил на дорогу и стал буквально за полу тянуть ее в дом. Дескать, есть повод отметить. Во-первых, вот-вот объявят о капитуляции этих проклятых фашистов, а, во-вторых, Христос воскресе. И ведь воистину, воскресе!

Как ни упиралась мама, большая трезвенница, всю жизнь умевшая обходиться тремя глотками спиртного на самых шумных и длительных застольях, как ни отказывалась, ссылаясь на то, что ей надо еще шагать, бог знает сколько километров, отвертеться не удалось. Их с Раей затащили в дом и буквально силой заставили выпить чего-то там, в честь всех настоящих и грядущих

праздников. Наскоро закусив спиртное, путешественницы двинулись дальше. И очень скоро мама почувствовала себя крайне плохо. Ноги ее стали ватными, тело обмякло, во рту горело. Какой такой отравой, какой бурдой, сам того не желая, угостил учительницу гостеприимный односельчанин, пригласив на семейное разговение, бог его знает, но все результаты сильнейшего отравления были налицо. С большим трудом Раиса дотащила маму до Глуши, а там она уже на грани потери сознания велела девочке вести ее прямиком в амбулаторию, где на тот момент всем хозяйством заправляла Анна Митрофановна. Увидев белую как мел маму, женщина страшно перепугалась.

— Олечка! Дорогая ты моя! — запричитала она над ней. — Что с тобой? Да ты уже на ногах не стоишь!

Не знаю, как там мама исповедовалась перед своей спасительницей, но коль скоро причина недомогания была названа, то нашлись и способы его лечения. Первым делом Анна Митрофановна заставила маму выпить сильнейший рвотный порошок, который тут же сама и приготовила. А уж после многочисленных рвот и прочего напоила горячим чаем и уложила в кровать, укутав множеством одеял. Мама проспала до позднего вечера. Но в обратный путь Анна Митрофановна отпустить ее не рискнула.

Олечка, как всегда называла мою маму жена Адамовича, все еще была очень слаба. Переночевали они с Раисой в доме Адамовичей, а утром, ни свет ни заря, поспешили назад в Богушевку. Надо было, кровь из носу, успеть к началу занятий в школе. Вот такая выдалась у мамы предельно постная Пасха сорок пятого года, о чем они не раз потом вспоминали с веселым смехом, встречаясь с милейшей Анной Митрофановной «на Заводе», как все жители окружающих деревень издавна называли Глушу. Хотя, наверное, тогда, 6 мая 1945 года, обеим было не до смеха.

Умерла Анна Митрофановна 22 мая в 1979 году. «На Миколу летнего», как говорили те, кто чтит православный календарь. Тетя Зося рассказывала нам после, что снова собралось немереное количество народа, чтобы проводить эту яркую и неординарную женщину в последний путь. А еще, добавляла она, было очень красиво. Солнечный день, цвели сады, и вся Глуша буквально утопала в мареве яблоневого цвета.

Что ж, по логике повествования пора переходить к самому писателю, сыну таких замечательных родителей. Но так уж получилось, что никаких личных контактов с известным земляком, уже в качестве писателя, ни у кого из моей родни не случилось. Хотя само имя Алеся Адамовича крутилось в моей памяти, начиная с 1956 года, с того самого момента, когда вышел в свет первый его роман «Война под крышами».

Впрочем, если честно, то в маминых местах Адамовича никто и никогда не звал Алесем. Все звали его просто Сашкой. Итак, Сашка написал книжку, а я, между прочим, даже обложку того давнего издания хорошо помню. Потому что книга сразу же появилась в доме тети Зоси, преподававшей в те годы русскую и белорусскую словесность. И вообще помню, как много было тогда разговоров среди маминых односельчан вокруг самого романа. Что и понятно. Ведь «Война под крышами» была почти документальным произведением, в основе которого лежал собственный опыт юного партизана Александра Адамовича, сражавшегося вместе со своей матерью Анной Митрофановной в рядах партизанского отряда имени Кирова, действовавшего на территории Глуши и прилегающих к ней мест.

Недаром, много лет спустя, Алесь Адамович скажет о своем детище так: *«Если мне что и удалось в романе «Война под крышами», то это потому, что прежде эту книгу мать написала собственной жизнью»*. И вот, долгими

летними вечерами былые участники партизанских сражений (а их тогда было еще немало в живых) сходились вместе. Сидя на завалинке и пыхтя самокрутками и цигарками, они сосредоточенно обсуждали книгу земляка. Спорили о том, где Сашка немного приврал ради красного, так сказать, словца, а где изложил все в абсолютной точности с тем, что было на самом деле. Мы, дети, вертевшиеся во время этих нескончаемых разговоров вокруг старших, с интересом вслушивались в их горячие споры. Чувствовалось, что всем приятно, что их юный однополчанин так в одночасье прославился, а заодно прославил и свои родные места. Но одновременно в голосах *сталых мужыкоў*, коими в своем большинстве являлись лихие в прошлом партизаны, слышалась легкая, едва уловимая снисходительность, как это обычно бывает, когда взрослые говорят о тех, кто много-много младше их. Из чего сам собой напрашивался вполне очевидный вывод: *«радиус авторитета»* начинающего писателя, по выражению опять же самого Адамовича, еще никак не дотягивал до радиуса авторитета его родителей. Что отнюдь не мешало всем глушанским любить его и гордиться своим именитым земляком, при каждом удобном случае подчеркивая, что вот какой известный писатель родом из их мест.

И все же свое повествование мне придется закончить не на столь благостной ноте. И вот в какой связи. Летом 1989 года, когда вся страна погрузилась, словно под гипнозом, в созерцание многосерийного сериала под названием «Съезд народных депутатов СССР», мама отправилась к себе на родину по какому-то радостному поводу. То ли кто-то уходил на заслуженный отдых, то ли юбилей был у кого из родни, уже и не помню. Зато хорошо помню, что в Глуше состоялось большое и шумное застолье, после которого домой мама вернулась крайне озадаченной.

— А знаешь, — поделилась она со мной первыми впечатлениями о поездке, — все глушанские ругают Адамовича, на чем свет стоит. Говорят, путается не с теми. Зачем, дескать, полез в эту Межрегиональную группу? На трибунах много мельтешит, и все такое...

Мама действительно была сильно обескуражена. Мы ведь, столичные жители, сидя у телевизоров дома в Минске, испытывали совсем другие чувства и придерживались диаметрально противоположных взглядов. Нам импонировала и эта пресловутая Межрегиональная группа, и ее харизматичный лидер, тогда еще весьма энергичный Борис Ельцин, который многим (чего уж там скрывать!) на тот момент казался гораздо более предпочтительным вариантом в сравнении с безвольным и болтливым Горбачевым. И вот надо же, такой афронт! Деревенские земляки единогласно осудили всех наших тогдашних кумиров.

Особенно, по словам мамы, неистовствовала ее золовка Соня, жена старшего брата Григория. Та с возмущением говорила о том, что нельзя нападать на армию, дескать, это же наша родная армия (речь идет о пресловутой травле военных в связи с действиями армии в Вильнюсе и Тбилиси), что родители Адамовича никогда бы не простили сыну такого недостойного поведения, что он забыл, как сам воевал еще подростком, и прочее, и прочее. Политическая подкованность золовки, судя по всему, сразила маму наповал. На что я резонно напомнила ей, что тетя Соня несколько послевоенных десятилетий проработала сельским почтальоном, этаким Печкиным в юбке, что ни день колесившим на велосипеде по всем окрестным деревням, причем имея в своем распоряжении собственный велосипед, в отличие от героя знаменитого мультфильма. Так что, уж кто-кто, а тетя Соня всегда держала руку на пульсе всех важнейших событий в мире и имела собственное мнение о каждом из них.

Итак, по маминым словам, земляки Адамовича почти мгновенно достигли пресловутого консенсуса, и их вердикт был на редкость единодушным. Сашка явно зарывается. И ошибается тоже.

Что ж, по прошествии времени приходится констатировать, что пресловутый прагматизм белорусов, который кто-то именует толерантностью, а кто-то и вовсе — непросвещенным консерватизмом и отсталостью, не подвел земляков писателя и в тот раз. Очень скоро наши тогдашние кумиры сбросили маски, и все мы сами смогли убедиться, что под масками скрывались совсем даже не очаровательные лики восточных прелестниц. Получается, что поторопился Алесь Адамович (быть может, в пылу полемики) заклеймить свой родной край, обозвав его «Вандеей».

Но это уже другая тема, не имеющая никакого отношения к финальному аккорду моих воспоминаний. Тем более, что все герои этой истории уже перекочевали в мир иной.

А все же, если случится тебе, дорогой мой читатель, побывать в городском поселке Глуша, том самом, что всего лишь в двадцати пяти километрах от Бобруйска (места там поразительной красоты), то выкрой часок, чтобы сходить на местное кладбище. И хорошо бы, в сопровождении кого-нибудь из старожилов. Уверена, ваш добровольный чичероне с гордостью расскажет о семейном захоронении Адамовичей. Покажет, где упокоилась бабушка писателя, где лег в землю его старший брат Евгений (кстати, пошедший по стопам отца и тоже ставший врачом), где обрел свой покой и сам Александр Михайлович. Но все же, в первую очередь, местные подведут вас к надгробьям Михаила Иосифовича и Анны Митрофановны Адамовичей и почтительно замрут возле их могил.

«Только море вокруг»

За свою уже достаточно долгую жизнь мне пришлось поучаствовать во множестве встреч со всякими маститыми и не очень, писателями и поэтами. Началось это приобщение к литературе в ее, так сказать, живом виде еще в школьные годы. Помню до сих пор, как ученицей, то ли восьмого, то ли девятого класса, я дрожащим от волнения голоском озвучивала собственные впечатления от поэзии Рыгора Бородулина и Геннадия Буравкина на встрече тогда еще совсем молодых и кудрявых поэтов с читательским активом Минской библиотеки номер один имени Л. Н. Толстого. Я, несмотря на свои юные года, была большой активисткой этого славного учреждения культуры, став постоянной читательницей библиотеки лет с двенадцати или тринадцати, по маминому паспорту, разумеется. Впрочем, назвать мои тогдашние впечатления «собственными» можно лишь с очень большой натяжкой, ибо текст выступления на том давнем поэтическом вечере был скрупулезнейшим образом выверен и отредактирован самими работниками библиотеки. Может быть, потому и не запомнилось ничего из того, о чем я тогда верещала. Да и стихи сами тоже перезабылись. Зато хорошо запомнилась другая встреча, но уже не с поэтами, а с прозаиком, по стечению обстоятельств прошедшая в те же самые годы.

Тут, пожалуй, надо сделать короткое отступление и сказать, что столичным школьникам 60-х вообще повезло на контакты с литераторами. Писатели и поэты тех лет регулярно наведывались к нам в школы, они пространно делились с подрастающим поколением творческими планами и жизненным опытом, рассказывали о прототипах героев своих будущих и настоящих книг, учили патриотизму, словом, изо всех сил приобщали школяров к высокому и вечному.

Подозреваю, что все учителя словесности, как русской, так и белорусской, столичных школ города Минска, буквально соревновались друг с другом, кто больше организует подобных встреч для учащихся. В свою очередь, горком комсомола тоже не стоял в сторонке и активно приобщал комсомольскую юность к изящной словесности. Недаром и журнал с одноименным названием «Юность» бил в те годы все рекорды по популярности у читателя и по значимости имен тех, кто публиковался на его страницах. Впрочем, речь не о журнале. Зато о юности, в прямом смысле этого слова, и вот в какой связи.

В апреле 1963 года мне, на тот момент секретарю комсомольской организации столичной школы № 14, позвонили из райкома комсомола и довели до сведения следующую ценную информацию. Минский горком комсомола при поддержке ЦК ЛКСМБ планирует в ближайшее время провести встречу минских старшеклассников с Александром Евгеньевичем Мироновым, автором наипопулярнейшего в молодежной среде романа «Только море вокруг».

Сам роман, точнее, дилогия, состоящая из двух романов «Корабли выходят в океан» и «Только море вокруг», вышел в свет годом ранее, в 1962 году, и сразу же стал, выражаясь современным языком, бестселлером тех лет. Словом, дилогия на собственном примере подтвердила мудрую правоту Карела Чапека, заметившего однажды, что книга сама должна создавать себе читателя. Вот она и создала!

Особенно, повторюсь, роман был популярен в молодежной среде. Отлично помню, как из рук в руки передавалась книга в нашем классе, пока ее не перечитали практически все, включая и «руссичку», внешне очень строгую, но добрейшей души человека, Раису Михайловну Штейнгард, которая нашла роман интересным и весьма полезным для молодых людей, еще только готовящихся вступить во взрослую жизнь. Словом, поставила на нем свой знак качества, который (имея в виду мнение Раисы Михайловны) ценился ее учениками чрезвычайно высоко. Ведь это благодаря нашей любимой «руссичке» все мы, выпускники тех лет, обязаны своим умением правильно и даже красиво изъясняться и писать без ошибок (ну, скажем так, почти без ошибок), чего я от всей души желаю и нынешним молодым. А то порой от их упражнений по части словесности в любом из ее языковых вариантов, будь то русский, белорусский, английский или какой еще, просто уши вянут и руки опускаются.

Так вот, бодрым голосом боевая инструкторша из Октябрьского райкома комсомола продиктовала мне следующее. Встреча состоится тогда-то и тогда, в здании ЦК ЛКСМБ, что напротив Дома офицеров. От каждой школы делегируются по два человека: секретарь комитета комсомола (то есть в данном случае — я) и еще один человек. Само собой, комсомолец, активист и все такое прочее. Желательно, чтобы оба участника встречи уже успели прочитать сам роман Миронова. Выступающих от нашей школы не будет. Все ораторы уже определены и утверждены наверху. А вот если мы подготовим интересные вопросы автору, то, пожалуйста, можно задавать. Разумеется, мероприятие на контроле у городских начальников от комсомола, а потому явка строго обязательна.

Проблем с выбором второго участника встречи у меня не возникло. Поскольку роман, повествующий о судьбе Алексея Маркевича, простого паренька из белорусской глубинки, который с детства бредил морем и уехал в Архангельск, чтобы осуществить свою заветную мечту и стать матросом, прочитали почти все мои одноклассники, да и ученики всех других старших классов тоже, то теоретически участвовать во встрече мог любой из них. Выбор мой, однако, пал не на мальчика. Кстати, на той встрече подавляющее большинство участников были именно мальчишки. Интересно, скольких из

них море потом позвало за собой уже во взрослую мужскую жизнь? Но на пару со мной отправилась девочка, моя ближайшая школьная подружка Рая Быстримович. Раиса не только прочитала роман, она была от него просто без ума, а, следовательно, заинтересованное участие во встрече с автором с ее стороны было гарантированно.

И вот погожим апрельским днем мы с Раисой шагаем в сторону Красноармейской, наслаждаясь и свободой (с последних двух уроков нас отпустили на вполне законных основаниях), и весной, и красотой окружающих мест, и вообще всем тем, что укладывается в знаменитую строку Владимира Маяковского: *«И жизнь хороша, и жить хорошо».*

Иногда я ловлю себя на мысли, что потому и запомнила ту встречу с писателем на всю оставшуюся жизнь, что она случилась именно в апреле, моем самом любимом месяце года. Недаром апрель называют месяцем пробуждения природы, временем надежд и дерзновенных планов. Но нет! Встреча эта запомнилась не только своим весенним антуражем, конечно же, изначально настраивающим на лирическо-эпический лад. Она запомнилась, потому что запомнилась. Точнее, потому что не могла не запомниться.

Хоть и любили мы поругивать в свое время всяких комсомольских чиновников, посмеивались над их карьерными амбициями и прочее, но надо отдать должное организационным талантам тогдашних комсомольских вожаков. Что правда, то правда. Уж если готовилось какое серьезное мероприятие, то, будьте уверены, все в нем было продумано до мелочей. Вот и на той приснопамятной встрече сразу же приятно поразила неформальная атмосфера предстоящего разговора. В фойе, где уже толпился народ, преимущественно ребята, бодро наигрывала музыка, на нескольких столиках у стены стояли чашки с чаем и печенье, и некоторые смельчаки уже даже угощались нехитрыми лакомствами.

А потом всех нас, участников встречи, пригласили пройти в зал. Местом встречи организаторы сделали не актовый зал: очень удачный ход, потому что огромная сцена, президиум, помпезная трибуна сразу же придали бы всему действу строго официальный тон, отпугнув ребят от доверительного и искреннего разговора с писателем. А потому для встречи был избран просторный конференц-зал, угловая комната, расположенная на первом этаже и выходящая окнами на сквер и на здание тогдашнего ЦК КПБ.

Как теперь помню всю обстановку той комнаты: никаких столов и президиумов, расставленные в живописном беспорядке стулья и кресла, что, по мнению устроителей, уже изначально должно было настраивать на задушевный и откровенный разговор с автором, небольшой журнальный столик по центру зала с микрофоном и вазой с несколькими живыми гвоздиками. Тут же кресло, явно предназначенное для самого Миронова. Сбоку возле окна примостилось еще пару журнальных столиков для кураторов и организаторов встречи (их не было видно и слышно на протяжении всего разговора).

Шумно рассаживаемся по местам, и почти сразу же в конференц-зал входит сам писатель в сопровождении секретаря горкома комсомола по идеологии. Короткое официальное представление, напутственное слово нам, участникам встречи, и микрофон передается в руки Миронова.

Каким он мне запомнился, Александр Миронов? Красивым, высоким, статным, неожиданно очень моложавым. Это теперь, с высоты прожитых лет, я понимаю, что пятьдесят три года (а именно столько было Миронову на момент встречи с нами) — и не возраст вовсе, особенно для мужчины. Держится просто, непринужденно, приятная, располагающая к себе улыбка. Видно, привык выступать в самых разных аудиториях, перед самыми разными людьми. Более того, любит выступать и охотно идет на контакт со слушателями.

О чем говорил? О жизни, разумеется. В том числе, и о своей жизни. Да с такой биографией можно было на эту тему рассуждать днями и ночами напролет. Судите сами! Родился в маленьком белорусском городке Орша в семье железнодорожника. С самого раннего детства мечтал о море, которого и в глаза-то никогда не видел. Будущему писателю не было еще и девятнадцати, когда он подался в Архангельск и устроился матросом на маленькую шхуну. А уже с осени 1930 года Александр Евгеньевич трудился на пароходах дальнего плавания и, подобно герою известной песенки, *«объездил много стран, и не раз он бороздил океан»*. Дальше — больше. Матросом I класса участвует в Челюскинской эпопее по спасению с льдины отважных полярников. Кстати, за поход «Челюскина» Александр Миронов был награжден орденом Красной звезды за номером 269. Потом война в Испании и даже несколько месяцев, проведенных в тамошних застенках. В 1939 году, в возрасте всего лишь 29 лет, был принят в члены Союза писателей СССР. Далее — Великая Отечественная война. Писатель вместе с героями своих книг, преимущественно моряками советского торгового флота, сражается на северном морском театре военных действий. Все они, моряки торгового флота, выступили тогда единым фронтом с военными моряками против фашистских захватчиков, героически защищая подступы к Архангельску и Мурманску с моря.

Помнится, собравшиеся слушали Миронова с раскрытыми ртами. Было что послушать, ой, было! Много-много лет спустя, в книге под названием «Интонация вздоха» Романа Алексеевича Ерохина, любезно подаренной мне с дружеской надписью автором, я с большим интересом прочитала очерк «Мой друг Александр Миронов...» И многое открылось мне в характере человека, так ярко поразившего воображение всех участников той давней встречи.

«Да, он был превосходным рассказчиком, — пишет Ерохин в своих воспоминаниях. — *Он был поистине артистом в своих рассказах! Не раз и я, друг его, спотыкался на сомнениях: где в рассказе правда, а где вымысел, настолько восхитительным он был, так все лихо, захватывающе...»*

Впрочем, едва ли это качество можно подверстать под известные байки о том, как бывалые моряки любят травить всяческие истории, поражая воображение слушателей своими невероятными похождениями и приключениями. Нет и еще раз нет! В монологе Миронова чувствовалась та правда жизни и достоверность факта, которую не спутаешь ни с какими, даже с самыми талантливыми фантазиями. К тому же, юношеская аудитория всегда очень чутко реагирует на малейшую фальшь, даже в интонациях.

Сама помню, как однажды разочаровала нас, школьников, встреча с неким старым «партейцем», который якобы лично встречался с Лениным. Дотошные пионеры и комсомольцы буквально засыпали оратора вопросами и очень быстро выяснили, что все общение с вождем мирового пролетариата у того свелось лишь к участию в митинге, организованном рабочими петроградских заводов на площади перед Финляндским вокзалом по случаю возвращения Ильича на родину. Позже на этом месте памятник соорудили знаменитый — Ленин на броневике. Так что, вроде как бы и общался, стоя в толпе, вполне возможно, на самых дальних подступах к площади.

Нет, с Мироновым все было иначе! Никаких сомнений в исповедальной честности автора полюбившейся всем книги. Потом посыпались вопросы. Град вопросов. Мальчишки интересовались в основном практической стороной морского дела, видимо, уже с прикидкой на собственное будущее. Помнится, и мы с Раиской что-то там прощебетали вопросительное насчет судеб литературных героев. Отвечал на все вопросы доброжелательно, исчер-

пывающе, уважительно, обращаясь с нами, как с равными, что льстило юным слушателям и поднимало их в собственных же глазах.

Расходились после встречи воодушевленными. Шумной гурьбой вышли из здания ЦК и еще некоторое время толпились у входа, обмениваясь сиюминутными впечатлениями о только что закончившейся встрече. А потом мы с Раей свернули на улицу Кирова и пошли пешком к вокзалу, откуда в те годы ходил один-единственный автобус на Грушевку. Маршрут номер 11. Уже вечерело, люди спешили с работы домой, а мы медленно брели по тротуару, обтекаемые со всех сторон потоком прохожих, и все никак не могли наговориться о том, что только что услышали, увидели и прочувствовали.

Талантливый белорусский прозаик, замечательный гражданин нашей когда-то единой великой родины. Сколько символических пересечений в судьбах тогдашних членов Союза писателей СССР. Помнится, когда узнала, что после смерти Александра Евгеньевича в 1992 году, прах его, согласно завещанию, был развеян над Черным морем, то невольно вспомнилось о том, что такую же посмертную судьбу захотел обрести для себя и Константин Симонов. Только он попросил развеять его прах уже на белорусской земле, на знаменитом Буйничском поле, что под Могилевом. А чего делиться-то? А главное, чем? Недаром же все мы весело напевали в молодости: *«Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз»*.

Вот такая была встреча. И такая осталась о ней светлая память. Молодые! Читайте книги Миронова! Ей же богу, вы не пожалеете о потраченном времени.

И вот еще, на какие размышления навели меня воспоминания о встрече с Александром Мироновым. Порой, общаясь с литераторами, чувствуешь у некоторых из них откровенно упаднические настроения. Дескать, зачем писать? А главное — для кого писать? Нынче бал, как известно, правит ширпотреб. И за производительностью иных литературных артелей, клепающих, что ни месяц, очередные нетленки с фамилиями раскрученных авторов на обложках, никак не угнаться истинным мастерам пера. Это правда. Но правда и то, дорогие мои писатели, что если спустя полвека после того, как вы написали книгу, якобы не нужную никому, найдется хоть одна старуха, которая станет с умилением вспоминать о том, как когда-то давным-давно она, на одном дыхании, прочитала ваш роман или повесть и помнит о них до сих пор, то получается, что совсем не зря вы прожили свою жизнь в искусстве. Совсем не зря! И все ваши творческие муки и терзания, поверьте мне, стоят одного-единственного этого воспоминания. Что ж, как говорится:

Сим победиши!

«Правда жизни»

Вот скажите вы мне, искушенные критики и дотошные литературоведы, что такое есть правда жизни в литературном произведении. Вроде бы нутром все чувствуешь и все понимаешь правильно, и почти безошибочно определяешь, есть ли в понравившейся тебе книге эта самая правда жизни или ею там даже и не пахнет. То есть понимать-то понимаешь, но вот сказать ясно и четко не получается. Все какие-то общие слова приходят на ум, из коих, в итоге, лепятся весьма расплывчатые формулировки и очень путаные определения. Впрочем, хватит пустых разглагольствований по теме, ибо не нами сказано, что всякая теория проверяется практикой. В данном же конкретном случае под практикой следует понимать личный опыт. А потому спешу поделиться

очередной житейской историей, основанной исключительно на этом самом личном опыте.

В июне 1974 года я, получив очередной отпуск, двинулась по своему обыкновению в сторону Рижского взморья. Не помню вот только, почему я двинулась туда не на своей любимой «Чайке». Скорее всего, потому что билетов не было: время же летних отпусков. Как бы то ни было, а добираться до Риги мне пришлось поездом «Москва-Калининград». Поезд хоть и считался скорым, но куда ему было угнаться за быстрокрылой «Чайкой». Так что три или четыре лишних часа в дороге были мне обеспечены. Особенно угнетало то, что большая часть пути приходилась на дневные часы, то есть драгоценное отпускное время бездарно тратилось на созерцание знакомых пейзажей за окном вагона и на необременительные разговоры с попутчиками ни о чем. Но делать было нечего: поехала на том, на чем повезли и, как оказалось, поездка та запомнилась на всю жизнь.

Моей попутчицей по купе оказалась немолодая, но еще на загляденье моложавая женщина в строгом кримпленовом костюме (писк тогдашней моды) с внушительной орденской колонкой на груди. Но мое внимание привлекли не столько наградные планки (я-то, можно сказать, с пеленок привыкла к этим наградам и планкам), сколько почти полное отсутствие багажа, не считая небольшой хозяйственной сумки, с какими мы обычно ходим на базар. Женщина ехала куда-то налегке, удобно устроившись на сидении напротив меня так, словно это был не скорый поезд, а вагон трамвая. Перехватив мой удивленный взгляд, она понимающе улыбнулась и сказала:

— Вот домой возвращаюсь, в Вильнюс. А на «Чайку» билетов не было. Пришлось брать то, что дали. Конечно, можно было позвонить в ЦК, чтобы помогли. В конце концов, это же они меня вызывали. Но домой хочу! Скорее домой! Что-то растревожили они мне память. Хочу стряхнуть с себя весь этот ворох невеселых воспоминаний и вернуться к привычной жизни.

Женщина подавила тяжелый вздох и слепо уставилась в окно.

— Наверное, приглашают принять участие в юбилейных торжествах, — осторожно заметила я, еще раз бросив уважительный взгляд на несколько плотных рядов орденских планок. Наша республика в тот год готовилась с размахом отметить 30-летие своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков, так что мотивировка была вполне понятной.

— Да, и это тоже! — устало откликнулась моя собеседница, не отрывая взгляд от окна. В купе повисла долгая пауза. Но вот женщина повернулась ко мне, виновато улыбнулась и сказала. — Простите! Все никак не могу прийти в себя после всех этих разговоров.

И тут ее прорвало, и понеслось.

Оказывается, женщину пригласили в тогдашний ЦК КПБ не только ради грядущего юбилея. В Центральный комитет партии обратился некий житель республики с просьбой признать его былые партизанские заслуги. Он подробнейшим образом живописал все свои ратные подвиги, требуя, чтобы ему выдали документы, подтверждающие его участие в партизанском движении. Но когда мужчину попросили назвать хотя бы двух-трех человек из ныне живущих, могущих подтвердить достоверность изложенных им фактов, то он, сославшись на то, что большинство из тех, с кем он воевал когда-то в одном отряде, либо погибли еще в годы войны, либо поумирали от ран после нее, назвал лишь одно-единственное имя. Имя минской подпольщицы, которая была связной с его отрядом. А после того, как подпольщиков кто-то предал и их всех похватало гестапо, он якобы лично участвовал в операции по спасению этой связной с последующей ее переправкой в отряд. По его сведениям, женщина еще жива и живет в настоящее время где-то в Прибалтике.

И завертелись колесики. Дело отправили в военный архив, потом еще куда-то, отыскали и былую подпольщицу, которая, выйдя после войны замуж, жила все эти годы в Вильнюсе. Ей направили письмо с приглашением приехать в Минск и лично встретиться с человеком, который настаивает на том, что когда-то спасал ее в годы войны. Все расходы, естественно, брала на себя принимающая сторона. Женщину встретили, как положено, поселили в лучшей на тот момент гостинице города, прикрепили машину и все такое прочее. А потом пригласили в ЦК, так сказать, на процедуру опознания.

По словам моей спутницы, встреча с незнакомцем оставила у нее крайне тягостное впечатление. Начнем с того, что она его не узнала. Он и отдаленно не напомнил ей никого из тех, с кем ей после побега из гестапо пришлось партизанить уже в лесах. Она стала осторожно задавать наводящие вопросы: адреса, явки, подробности того, как готовился ее побег, кто его организовал и кто осуществил. Мужчина путался, его ответы были уклончивыми и, по большей части, неточными. Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Непросто это сказать «нет», но пришлось.

— Нет, я не знаю этого человека, — сказала былая подпольщица, подводя черту под встречей.

Ее вежливо поблагодарили, вручили пригласительный билет на участие в торжественном заседании по случаю юбилея и в последующих чествованиях ветеранов и отправили восвояси. И вот она ехала домой, но незапланированное посещение Минска, судя по всему, больно разбередило ей душу, снова вернув в то страшное и жестокое время. Она была взволнована, можно даже сказать, пребывала в страшном возбуждении. К тому же, она чувствовала себя виноватой, ей было неловко, что она подвела человека, который возлагал на нее такие надежды.

— Знаете, — проговорила она, словно оправдываясь передо мной, — война многому научила меня именно в плане взаимоотношений с людьми. Иногда посмотришь на человека, душка, да и только. Хоть ты его к ране прикладывай. А внутри все черно! Такой тебя сдаст за понюшку табака. Уж я-то насмотрелась, сидя в гестапо, на всяких. Ведь кто меня сдал? Свои же! Точнее, якобы свои!

— Да, уж вам хватило, — сочувственно пробормотала я, не решаясь перейти к главному вопросу, занимавшему мое воображение. Впервые я видела перед собой, впервые разговаривала с живым человеком, прошедшим фашистские застенки и оставшимся несломленным. Каково это было хрупкой молоденькой девушке! Ведь читать про подвиги несгибаемых борцов-подпольщиков — это совсем не то, что столкнуться с ними в реальной жизни, да еще в такой неформальной обстановке, какая обычно всегда складывается в дороге. Как же это можно было все выдержать, вот какой вопрос вертелся у меня на кончике языка. Но, понимая всю бестактность подобного любопытства, я на время язык прикусила.

— Хватить-то хватило, но вот что интересно! Немцы тоже предателей особо не жаловали! Помню, одна моя сокамерница на каждом допросе обязательно кого-нибудь сдавала. По всему чувствовалось, что она сдает уже всех подряд, даже людей, очень далеких от того, чем она занималась: соседей всяких, родственников. Так немцы ее лупили особо остервенело, я бы сказала, с наслаждением. Дескать, получай свое, падаль!

— А вас? — сам собой сорвался мой вопрос.

— И меня били! — согласно кивнула головой женщина. — Больнее всего, когда бьют по пяткам. Страшная мука. Но я держалась и молчала. Кажется, даже у них это вызывало уважение. И сочувствие тоже. Во всяком случае,

у некоторых. Помню, как меня допрашивал один офицер с хлыстом в руке. Но всякий раз, когда он начинал хлестать меня, его хлыст каким-то странным образом замирал всего лишь в нескольких миллиметрах от моего тела. Среди них тоже всякие были.

Женщина устало закрыла глаза и замолчала.

— Как же вы смогли все это вынести! — воскликнула я почти патетически. — Ведь это же поистине — нечеловеческие муки.

— Все просто, — откликнулась моя собеседница, не открывая глаз. — Главное перетерпеть боль до определенного момента. А потом уже совсем не больно. И вы не поверите, даже хорошо!

Будничность интонаций, с какой была произнесена эта фраза, лучше всяких аргументов и слов убеждала в том, что женщина не лукавит и говорит правду. Конечно, как медсестра запаса, как переводчик, подвизающийся на ниве именно научно-технической литературы, я имела некоторое представление о том, что такое болевой порог и болевой шок. Но одно дело читать об этом на бумаге, и совсем другое — увидеть человека, преодолевшего этот самый страшный порог и оказавшегося совсем в ином измерении, когда уже не больно и даже хорошо. Оказывается, возможно и такое.

Разговор угас сам собою, и почти до самого Вильнюса мы ехали молча. В Вильнюсе моя спутница распрощалась со мной, пожелала счастливого пути и хорошего отдыха и ушла. Я видела, как на перроне ее встречал немолодой человек, скорее всего, муж. Он подхватил женщину под руку, и они неспешно направились в сторону привокзальной площади.

Случайная встреча и разговор с подпольщицей долго не отпускал меня от себя. Но шли годы, годы складывались в десятилетия, и со временем все, конечно, забылось. Давняя встреча всплыла в моей памяти лишь в средине девяностых, и вот в какой связи.

Я, на тот момент свободный, так сказать, художник, переводчик-фрилансер, зарабатывала себе на жизнь переводом любовных романов и прочей беллетристической макулатуры. Впрочем, попадались и хорошие книги. Так, одно частное издательство заказало мне перевод романа английской писательницы Норы Лофтс «Заблудшая королева». Роман исторический. Главные его герои — тоже реальные исторические персонажи: принцесса Каролина-Матильда, любимая сестра английского короля Георга III, будущая датская королева, ее муж, слабоумный король Кристиан VII и прочие реально действующие лица той далекой эпохи. Как-никак, вторая половина XVIII века.

История, разыгравшаяся тогда в Датском королевстве, банальна, как сама жизнь, и одновременно по накалу страстей ничуть не уступает лучшим трагедиям Шекспира. Во-первых, место действия — Дания. А, как известно со слов Гамлета, *весь мир — тюрьма, а Дания наихудшая из них*. Во-вторых, даже по своим возрастным характеристикам герои романа словно сошли со страниц одной из самых знаменитых шекспировских пьес. Принцессе на момент бракосочетания — пятнадцать лет, ее венценосному супругу — семнадцать.

Итак, юная английская принцесса, умная, красивая, образованная девушка, становится женой откровенно безумного человека, приносится, так сказать, в жертву во имя высших политических интересов британской короны и попадает после всей роскоши и свободы Виндзорского замка совсем в иной мир. Угрюмый, мрачный, затхлый, где все ненавидят всех, а больше всего ненавидят тех, кто не похож на обитателей королевской резиденции, кто умеет смеяться, шутить над собственными промахами, кто полон жизни и хочет просто жить, жить и наслаждаться жизнью. Жить Каролине, разумеется, не позволили: ни как человеку, ни как женщине. С большим трудом (понятно, по каким причи-

нам!) она исполнила свой главный долг: родила наследника. После чего ее, по законам жанра, можно было бы и утопить. Или, на худой конец, придушить.

Но в реальной жизни все было не совсем так. У молодой королевы случился любовный роман с тогдашним фаворитом короля, членом Государственного совета Струэнзе. Плодом этой запретной любви стало рождение незаконной дочери, а уже далее последовали, как и положено, суды, казни, отречения, изгнания и прочее. Ребенка у королевы забрали и вскоре отравили, ее муж, король, на тот момент уже совершенно обезумевший человек, был потихоньку оттеснен от трона, и власть в государстве перешла к регенту, его опекуну и ближайшему родственнику. Возлюбленного королевы казнили, ее саму изгнали из столицы и заточили в какой-то дальний замок на отшибе. Все попытки Георга помочь сестре и добиться ее возвращения на родину успеха не возымели. Женщина так и умерла в своей королевской тюрьме, а ее имя было навсегда вычеркнуто из анналов датской истории.

Роман Норы Лофтс написан очень хорошо: свидетельствую это как переводчик. Отменный язык, яркие, но не обременительные для сюжета описания, живые диалоги, полнокровные характеры. Помнится, я дошла до эпизода, когда схватили верную камеристку королевы, одну из тех немногих соотечественниц, кого Каролине разрешили оставить подле себя после приезда в Данию. Молоденькая девушка была предана своей хозяйке всем сердцем и душой. Ведь когда-то они вместе росли на приволье виндзорских лугов и садов. А здесь, на чужбине, служанка и вовсе стала для королевы ближайшей наперсницей и подружкой. И вот служанку арестовали и предали пыткам. Помню подробности того, как ее начали привязывать к дыбе, и как замедлился стрекот моей пишущей машинки. Переводить все это было страшно тяжело. Но вот дыбу привели в действие, и начались муки адовы еще на земле. Из глаз моих сами собой непроизвольно закапали слезы, но вдруг... Но вдруг я вспомнила ту давнюю встречу в поезде и полузабытый разговор с бывшей подпольщицей. Потому что в какой-то момент несчастная служанка почувствовала ту самую *невыразимую легкость бытия*, которая наступает, когда уже совсем не больно. Душа ее сама собой оторвалась от тела и воспарила над землей. И она полетела вслед за своей душой, полетела, а под ней проносились усыпанные цветом яблоневые сады, те самые, что окружали со всех сторон Виндзор и где детьми они так любили играть с будущей датской королевой. А потом мне стало плохо, и я целую неделю провалялась в постели, не решаясь приблизиться к письменному столу.

С тех пор я не люблю ту пору, *когда яблони цветут*. А раньше тоже обожала любоваться цветением яблоневых садов. Мы с соседкой даже специально ходили в колхозный сад рядом с тогдашней деревней Михайлово, чтобы прогуляться под сенью цветущих деревьев. Вот такая вот история, случившаяся в моей переводческой судьбе. Кто-то, быть может, дочитав до этого места, воскликнет:

— А, придуривается! Или, что еще хуже, неуклюже пытается работать под Флобера. Дескать, мадам Бовари — это я.

Ну, куда мне до великого француза, пережившего, как известно, все симптомы отравления цианистым калием и едва не отправившегося на тот свет вслед за своей героиней. Нет, до гения мне никак не дотянуться. Но впервые я не отвлеченно, не умом, а всей плотью и кровью прочувствовала, можно сказать, на себе, что это такое — преодолеть болевой порог, о чем в свое время так буднично и просто поведала мне случайная попутчица, волей обстоятельств оказавшись соседкой по купе. Вот такая она, эта правда жизни, в настоящей литературе. А как все сказанное сформулировать уже в качестве четкой дефиниции, так это уже по части тех, кто строчит диссертации и прочие научные трактаты.

Intentions

Свою последнюю историю на тему о литературе я решила назвать по аналогии с известным циклом философских трактатов Оскара Уайльда под общим названием «Замыслы» (*Intentions*, если по-английски). Впрочем, у этого английского слова есть и масса других значений, гораздо менее выспренних. Например, *намерения, планы, идеи, умысел* и прочее. Скажем, когда дипломаты рассуждают о *вопросе намерений*, то по-английски это будет выглядеть так: *the matter of intentions*, а когда бизнесмены ставят свои подписи под *протоколом о намерениях*, одним из документов, прилагаемых к контракту, то они подписывают *the protocol on intentions*.

Однако в своем повествовании я сознательно решила оставить самое высокое значение этого англоязычного слова, и вовсе не в аспекте собственной переводческой работы. Да и какие, право, у переводчика могут быть замыслы? Разве что планы, и то весьма скромные, по большей части совершенно не зависящие от него самого. Воистину, лучше великого остроумца Монтескье о вторичности нашей переводческой профессии не сказал никто: *«Сколько бы ты ни переводил, тебя переводить не станут»*. Вот так!

А потому поговорим о замыслах тех, кто творит самостоятельно. Более того, предельно сузим тему и порассуждаем не просто о замыслах, а о *нереализованных* замыслах творцов. В своей жизни мне трижды случалось сталкиваться с подобным, и все три случая достаточно наглядны и показательны, чтобы на их примере сделать некие общие выводы. Итак, начнем вспоминать.

Первый случай относится к далеким годам моего студенчества и тогдашних контактов с многочисленной родней. Помню, в году 1965 или 1966, ко мне в гости неожиданно нагрянул двоюродный брат по линии отца Геннадий. Говорю «неожиданно», потому что, несмотря на то, что мы с Геной были сверстниками, особой близости между нами не было, и общались мы мало. Быть может, поэтому и врезался в память тот давний разговор. Гена, на тот момент уже тоже студент, учился на вечернем отделении БГУ, на филологическом факультете, а днем, естественно, работал. Что и понятно. В Минск он приехал из деревенской глубинки, оставив в своей родной деревне Молотово, что в Березинском районе, родителей в весьма преклонных летах. Был он поскребышем, седьмым и последним ребенком в большой и дружной семье. Жила семья трудно, особенно в первые послевоенные годы. Правда, на момент моего повествования старшие дети уже успели стать на ноги и даже обзавестись собственными семьями. Но все равно, учить младшенького на стационаре свободных средств в доме не нашлось, а потому был избран распространенный вариант тех дней: днем работаю, вечером учусь.

Впрочем, сдается мне, что не только нехваткой материальных ресурсов объяснялся сей выбор. Смекалистая деревенская публика уже успела уразуметь, что ничего, кроме пользы, от такого совмещения нет, и не может быть. Ведь пять или шесть лет учебы одновременно с зарабатыванием производственного стажа — это отличный способ продвинуться вверх по службе, а многие мои родственники по линии отца были, надо признаться, весьма амбициозны именно в плане своих карьерных устремлений. Вот и Гена уже тоже робко, но весьма деятельно, начал демонстрировать первые успехи на комсомольском поприще.

Однако тот разговор никоим образом не касался наших будущих производственных планов. Конечно, как водится, мы поговорили немного о том, чем каждый из нас хотел бы заняться после окончания института, и на этом все. Тем более, что в какой-то момент беседа приняла совершенно неожиданное направление. Потому что Гена вдруг сказал:

— Знаешь, а я задумал написать роман. У меня уже даже сюжет созрел в голове, можно сказать, сложился целиком и полностью.

Помнится, я даже онемела от неожиданности. Надо же! Генка хочет стать писателем. Прямо скажем, не каждый день слышишь подобное признание из уст близкого человека.

А Гена, между тем, стал с жаром пересказывать мне сюжет своего пока что не написанного романа. Насколько я запомнила, сюжет тяготел к жанру, на тот период совершенно не разработанному в отечественной словесности, — к роману в стиле фэнтези. Это в англоязычной литературе с ее пристрастием к средневековой готике романы-фэнтези уже давно превратились в любимое чтение, как взрослых, так и детей. Но у нас в те годы лишь очень узкий круг специалистов-литературоведов знал, скажем, о существовании трилогии Толкиена «Властелин колец» или о «Хрониках Нарнии» К. С. Льюиса. Книги эти даже еще не были переведены на русский язык. Да и их экранизация была делом далекого будущего. Не переводились и другие англоязычные произведения, написанные в этом жанре. А потому сама идея Генкиной будущей книги мне показалась очень перспективной. Воистину ведь, нужно было обладать недюжинным воображением, чтобы так ловко закрутить сюжет, в котором неразрывно переплелись и слились в единое целое сказочное и реальное.

— Так ты уже начал писать? — поинтересовалась я у брата, переходя к практической стороне дела.

— Да так, кое-какие наброски сделал. Чертовски не хватает времени. Днем кручусь как белка в колесе с этой работой. Вечером учеба. А еще, не забывай, и личная жизнь имеется. Если же выдаются свободные выходные, так в деревню надо, старикам помочь. Но я напишу этот роман во что бы то ни стало. Обязательно напишу! Он меня уже которое время от себя не отпускает.

Что ж, самое время блеснуть эрудицией и процитировать известные строки из монолога Гамлета:

Так всех нас в трусов превращает мысль...
И замыслы с размахом и почином
Меняют путь и терпят неуспех
У самой цели.

Ибо, конечно же, ничего мой Гена не написал. Он прожил довольно удачную жизнь госчиновника со всеми ее взлетами и падениями, хитросплетением мелких и крупных интриг, с персональной машиной и личным водителем, с доппайком и прочими льготами и вышел на пенсию, кажется, весьма удовлетворенный тем, как прожил. По крайней мере, внешне. Но сдается мне, что в глубине души мой Гена не раз и не два пожалел о том времени, когда он дерзновенно мечтал покорить литературный Олимп. И кто знает, мог бы и покорить и даже стать нашим первым белорусским писателем, написавшим роман в стиле фэнтези. Да, мог бы, но только если бы поставил во главу угла несколько иные жизненные приоритеты.

Другая история из рубрики «Не сбылось» случилась со мной много позже, лет через сорок после описываемых событий, где-то в начале 2000-х. Переводческий факультет в одном из минских вузов, где я тогда работала, возглавила очередная деканша, приплывшая к нам из Института культуры. Возможно, именно былой близостью к богемной среде объяснялся довольно экстравагантный внешний вид нового декана, по возрасту еще совсем молодой женщины, никак не вязавшийся с традиционными представлениями о том, что такое есть декан в высшем учебном заведении. Целая лавина прекрасных белокурых волос, рассыпавшихся до самого пояса по плечам златокудрой

красавицы, немедленно вызывала в памяти серию популярных некогда французских фильмов про Маркизу ангелов. Но лично мне деканша напомнила сказочный персонаж, и я тут же мысленно окрестила ее Золушкой.

Впрочем, по жизни наша Золушка оказалась вполне милым и обходительным человеком, и работать с ней было легко и необременительно. В один прекрасный день она, тряхнув своей белокурой гривой, подошла ко мне и вкрадчиво проговорила.

— Зинаида Яковлевна, говорят, вы переводите книги, сотрудничаете со всякими издательствами. Не могли бы вы помочь мне в одном деле?

— Слушаю вас, Оксана Владимировна, — я вежливо уставилась на начальницу.

— У меня есть одна знакомая, моя бывшая сотрудница по Институту культуры. Кстати, ваша коллега, преподаватель немецкого языка. Так вот, она уже давно пишет стихи. Не могли бы вы с ней встретиться и порекомендовать человеку, что ей делать дальше со своими стихами.

Мысленно я скривилась, словно от зубной боли. Не люблю рифмоплетов, особенно женского пола. Почти никогда не читаю их романтические медитации о любви и дружбе, и о прочих переживаниях, коими сопровождается несчастная, как правило, любовь. Ибо давно уже замечено, что те, кто счастливы в любви, стихов не пишут. Им, как говорится, не до стихов. Но делать нечего. Ведь просьба начальства — это уже почти приказ.

— Хорошо, Оксана Владимировна! Пусть она позвонит мне, и мы договоримся о встрече.

Поэтесса позвонила мне вечером того же дня и буквально на следующий день явилась в институт. Мы нашли свободную аудиторию, и, удобно устроившись друг против друга, сразу же перешли к делу, то есть к основной цели ее визита.

Помнится, уже с первого момента своего появления женщина вызвала у меня откровенный скепсис, прежде всего явной нетрадиционностью внешнего облика. Какие-то они все не от мира сего в этом своем культурном учреждении, раздраженно подумала я, разглядывая исподтишка собеседницу. Нет, на сей раз, никаких золотых кудрей! Но общее впечатление такое, будто потенциальная Сафо только что вынырнула из астрала или даже все еще продолжает пребывать в нем.

Женщина осторожно извлекла из маленькой сумочки бледно-голубой блокнот с картинкой на обложке, изображающей подпрыгивающих вверх дельфинов (поскольку эта тетрадь и по сей день лежит в одном из ящиков моего письменного стола, то описание точное, как в милицейском протоколе), и протянула его мне.

— Вот мои стихи, — проговорила она с какой-то обезоруживающей детскостью, и что-то дрогнуло в моей душе, откликаясь на эту неподдельную бесхитростность. — Почитайте, и если вы найдете в них что-то интересное, тогда, может быть, я рискну на их публикацию.

— Хорошо, — проговорила я, беря в руки блокнот, — но давайте договоримся так. Сама я не большой мастак по части стихов. Я стихи не пишу и не перевожу. Я их просто люблю, если они, конечно, хорошие. К счастью, у меня есть друг, замечательный поэт и прекрасный человек. Вот его я и попрошу, чтобы он глянул на ваши опусы уже, так сказать, профессиональным оком. И что он вам скажет, то и будет окончательным вердиктом. Позвоните мне через пару деньков, я расскажу вам, куда и к кому обратиться. Договорились?

— Договорились! — согласно кивнула головой моя собеседница. — Но вы, пожалуйста, тоже почитайте для начала.

— Обязательно! — пообещала я, и на сей оптимистичной ноте мы распрощались.

Вечером того же дня я уселась за чтение стихов. Впервые я держала рукопись чужих поэтических излияний. Собственно, то был не просто блокнот со стихами, а своеобразный поэтический дневник, который незнакомка доверчиво вручила мне для ознакомления.

На первых страницах, как водится в дневниках (вернее, как водилось во времена моей далекой школьной юности), шли всякие умные изречения и афоризмы, написанные ужасно корявым и до крайности неразборчивым почерком. Ларошфуко, Мопассан, Аристотель, Моэм и прочее.

«Мечта женщины — быть женщиной мечты», с большим трудом разобрала я самую коротенькую сентенцию, принадлежащую некому Севрусу, и тяжело вздохнула. Можно предположить, какие вирши ждут меня впереди, если хозяйка сего поэтического дневника тяготеет к афоризмам подобного рода. А дальше пошли стихи. Страница за страницей, испещренные каракулями, вперемешку с расписаниями занятий и — о, женщины! — рецептами всяческих солений и блюд, включая мои любимые пирожные «картошка». Разумеется, как я и предполагала, море, нет! — целый океан банальностей.

Я хотела тебе быть другом,
Я хотела сестрою быть.
Но тебе это, видно, не нужно,
И ты хочешь меня забыть.

И все прочее в том же духе.

Но чем глубже я погружалась в это, с моей точки зрения, откровенное рифмоплетство, тем сильнее овладевала мною странная тревога, ощущение некой трагичности того, что я читала, осознание полнейшего человеческого одиночества и даже заброшенности этой чужой души, такой неприкаянной и такой по-детски наивной. Нет, определенно, что-то в корявых строках рукописных стихов царапало и цепляло за живое.

Утром следующего дня я позвонила в редакцию тогдашнего журнала «Всемирная литература» и попросила к телефону Юрия Михайловича Сапожкова (царствие ему небесное!), к помощи которого всегда прибегала в своих незапланированных литературных контактах. Когда он взял трубку, я сбивчиво поведала ему о странной поэтессе. Юрий Михайлович выслушал меня, не перебивая, а когда я закончила, то услышала еще один тяжелый вздох, но уже на другом конце провода. Что ж, Сапожкова можно было понять. Подобные просьбы почитать чужие стихи, помочь, поспособствовать, оценить, разобраться в достоинствах начинающих поэтов и прочее, и прочее, обрушивались что ни день на его голову в изрядном количестве. Но, будучи человеком воспитанным, я бы даже сказала, в высшей степени куртуазным, он лишь подавил еще один вздох и сказал:

— Уговорили, Зинаида Яковлевна! Дайте ей мой рабочий телефон, пусть звонит и приходит.

А дальше произошло нечто совсем удивительное и непонятное. Женщина так и не позвонила мне и даже не явилась за своей рукописью. Пару раз я осторожно пыталась намекнуть Золушке о некоторых экстравагантностях поведения ее протеже, но та лишь неопределенно пожимала плечами.

— Не волнуйтесь, Зинаида Яковлевна! Она обязательно объявится.

Не объявилась. Видно, снова ушла в свой астрал и растворилась там без остатка, оставив на память мне тетрадь со стихами, которую я честно храню

все эти годы, сама не знаю, зачем и для кого. Вот такая вот житейская коллизия, связанная с крушением чужих замыслов.

Третья история совсем коротенькая. Но зато и самая обнадеживающая. Весной 2007 года круто изменился уклад всей моей жизни. Дом, в котором наша семья прожила без малого пятьдесят лет, снесли в связи со строительством метро, а нам взамен предоставили квартиру в одном из микрорайонов Минска. Туда мы и перебрались вместе со всем своим нехитрым скарбом и домашними питомцами. Началось непростое привыкание к новой обстановке. Особенно бедствовал наш песик по кличке Рамик, который поначалу никак не мог уразуметь, почему отныне надо прогуливаться обязательно на поводке. И это после столь упоительной свободы, которую он имел, живя в частном доме.

Впрочем, если надо, то привыкнешь, никуда не денешься. Как справедливо заметил Ф. М. Достоевский, *человек есть существо, ко всему привыкающее*. Вот и мы с Рамиком начали постепенно осваивать новую для нас среду обитания. Очень скоро в своих прогулках по окрестностям мы даже обзавелись постоянным компаньоном. Милый светловолосый мальчуган лет восьми или девяти, как выяснилось, живущий со мной в одном подъезде, стал нашим неизменным спутником в пеших экскурсиях по микрорайону.

Знакомство началось на почве любви к собакам. Алеша (так звали нашего нового друга) подошел ко мне и попросил разрешения погладить песика, затем спросил, как его зовут, дает ли он лапу, и сколько ему лет, и что он ест, и где спит. Потом разговор, как водится, перешел уже на более широкий круг проблем, в том числе и связанных с хозяйкой пса. Мальчуган стал интересоваться, кто я, откуда и чем занимаюсь. Детская непосредственность подкупала, и на все вопросы я отвечала честно, как под присягой. Рассказала юному соседу, что по профессии я переводчик и всю жизнь занимаюсь тем, что перевожу всякие разные книги для всяких разных людей.

— А какие книги вы переводите? — упорствовал в своем любопытстве сосед.

— Я же тебе сказала, самые разные. И не только книги, но и журналы, статьи, документы. Словом, перевожу все, что подлежит переводу.

— А что вы переводите сейчас? — не отставал от меня Алеша.

— А сейчас я перевожу сказки для детей. Вот ты, к примеру, любишь сказки?

— Очень! — воскликнул мальчик. — Я их и сам люблю сочинять.

Нельзя сказать, чтобы столь неожиданное заявление сильно удивило меня. Я с самого начала знакомства уже успела заметить печать созерцательности и некой сосредоточенной, выражаясь высоким штилем, задумчивости, лежавшей на челе ребенка. К тому же, он однажды, в ответ на мой вопрос, не скучно ли ему в нашем с Рамиком обществе, признался, что не очень тяготеет к общению со сверстниками и больше предпочитает одиночество. Словом, все признаки потенциального литературного гения были налицо.

— Ты пишешь сказки? — переспросила я. — И о чем же?

— Не пишу, — тут же поправил меня мальчик. — Я их просто сочиняю, а потом держу в голове. Они все о животных, птицах или всяких насекомых. Вот вчера, например, сочинил историю про бабочек.

— Как красиво! — совершенно искренне восхитилась я. — Сказка про бабочек. Расскажи мне ее!

Алеша стал охотно пересказывать сюжет своей истории, я с интересом слушала, Рамик бежал рядом и тоже внимал речам будущего литератора.

— Хорошая сказка! — одобрила я. — И все же, рекомендую записывать свои истории в какую-нибудь общую тетрадь, а не держать их просто

в голове. Кто знает, быть может, из тебя со временем получится второй Шарль Перро или даже Ганс Христиан Андерсен, и тогда будет жаль, если твои первые литературные опусы окажутся безвозвратно утраченными. Кстати, ты сам любишь сказки Андерсена?

— Не очень! — честно признался мне маленький сказочник. — Они все какие-то скучные. Не современные, что ли...

Вот они, нынешние дети, подумала я с легкой иронией. Им даже в сказках подавай все атрибуты современного бытия: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и прочее.

— Как бы то ни было, а записывать надо, — упорно гнула я воспитательную линию. — Со временем многое, знаешь ли, забывается, всякие детали там, мелкие подробности разные.

— Знаю, — моментально поскучнел мальчик. — Только я не очень люблю заниматься писаниной. Нам столько упражнений задают, пока их все переделаешь... Но попробую, раз вы так настаиваете.

И вот минуло почти семь лет. За эти годы Алеша повзрослел и успел превратиться в угловатого симпатичного подростка, не сегодня-завтра готового проснуться юношей. Разумеется, он уже давным-давно отбился от нашей компании, и сейчас мы с Рамиком гуляем в полнейшем одиночестве. Но все же, снедаемая старческим любопытством, я как-то раз рискнула остановить своего сильно повзрослевшего соседа в подъезде и задать ему сакраментальный вопрос.

— Алеша, а ты продолжаешь сочинять сказки?

— Сказки? — изумился мальчишка. — Какие сказки! Да нам, знаете, сколько уроков задают! Не до сказок тут! — он обреченно махнул рукой и с важным видом прошествовал мимо нас с Рамиком к лифту.

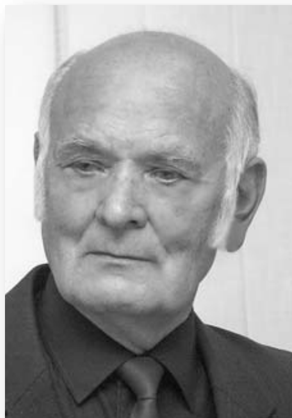
Ну вот, — подумала я про себя, — мир в очередной раз обеднел на парутройку сотен историй, которые (судя по услышанной когда-то сказке про бабочек) вполне могли бы украсить жизнь многих и многих людей.

И почему-то вдруг всплыл в памяти один коротенький рассказ Агаты Кристи. Сразу же захотелось перевести его на русский язык, что я с большим удовольствием и проделала некоторое время спустя. Так вот, герои рассказа, ведя неспешную беседу за чашечкой кофе, приходят к выводу, что самое обидное для Скотланд-Ярда — это вовсе даже не число нераскрытых преступлений, весьма значительное, кстати. Нет, самое обидное — это как раз преступления, о совершении которых вообще никто и нигде не подозревает, включая и всех лучших сыщиков уголовной полиции. А таких идеальных, то есть неизвестных никому преступлений в мире совершается, по справедливому замечанию старушки Марпл, очень и очень много.

Пожалуй, то же самое происходит и с замыслами. Грустно думать, сколько замыслов, сколько талантливых замыслов умирает в чьих-то головах просто в виде размытых образов и смутных фантазий, так никогда и не выплескиваясь наружу, чтобы стать фактом общечеловеческой культуры, национальным достоянием или просто творением, рассчитанным на очень узкий круг почитателей.

Остается лишь надеяться, что у моего юного соседа еще есть шанс не умножать эту печальную статистику и реализовать все свои прежние замыслы и даже замыслить новые сказочные истории о нашей с вами жизни. Дай-то бог!





НИКОЛАЙ БОЛДОВСКИЙ

Себя обрести

Я благодарен...

Я благодарен ручьям и капели,
Каждой проталинке с рыжей травой
И лежебоким сугробам, метелью
Свитым поспешно под шабашный вой.
Я благодарен июльской усладе
Даже за ливни и рокоты гроз;
Бабьему лету в прощальном наряде
За акварельные платья берез.
Я благодарен далеким и близким,
Кто помогал мне, рискуя подчас,
И у околиц немым обелискам,
Что говорят о былом без прикрас...
В дивно увенчанном зорями храме,
Где в единении тело и дух,
Я благодарен, как солнышку, маме,
Чей огонек, догорев, не потух...

Себя обрести

Падают яблоки...
Падают звезды...
Падают годы,
стирая миры...
Падают башни,
и падают гнезда...
Падает камень,
Сизифов, с горы...
Падают росы
с созвездий сирени,
Падают листья
с дремотных ветвей...
Падаю я
пред Тобой на колени
Вместе с последней
надеждой своей...

Падают слезы
из глаз покаянных,
Падает слово
в заклятье: «Прости!..»
...В каждом падении —
смысл постоянный,
Ну а в моем —
чтоб себя обрести...

Таинство

В природе все подчинено
Законам красоты и страсти,
И всем родиться в этой власти
И умереть в ней суждено.

В загадках каждого цветка,
В его красе неповторимой,
В движенье, зримом и незримом,
Таится мудрая рука.

Спешу порой цветок сорвать —
Раскрыть законы совершенства:
Мне не понятны эти действа,
А потому могу соврать.

Как на несорванный цветок,
Смотрю на женщину-подснежник:
Не согрешу я, хоть и грешник, —
Не трону даже лепесток...





ЮРИЙ ПЕЛЮШОНОК

Два рассказа

Лентик и Гесс

Когда Лентик пошел в первый класс, Гесс был первым заместителем Гитлера в нацистской партии. Лентика и Гесса, естественно, ничего не связывало, кроме того, что жили они в Европе, разделенные несколькими сотнями километров. Лентику от Гесса ничего не надо было, а вот партийным соратникам Гесса по каким-то причинам понадобилась страна, где жил Лентик, и свое тринадцатилетие встретил Лентик уже в оккупированном Минске.

В войну снег в городе грязный, дома темные, руины с отвратительными запахами, а вот сосульки чистые. И когда бежишь в валенках с подвязанными к ним коньками с горки, где пробежишь, где проедешь по льду, сосульки, свисая с крыш, сверкают и, отражая солнечный свет, скрашивают унылую картину вокруг. Бежит Лентик по Транспортному переулку, несет десяток яиц, что мама дала ему для продажи или обмена на хлеб. Внизу, на пересечении с улицей Мясникова, бывшей Новомосковской, воробышки войны — такие же, как он, пацаны — торгуют на маленьком пятачке у первой городской поликлиники.

«Кому минская, кому минская...» — слышит Лентик гайморитный голос Гамзатой. Потому прозвали ее так, что гундосит. Рядом с Гамзатой стоит Кукла, лицом красивая, всегда опрятная, в перешитой плисовке и ботиках. По военному времени одета как королева, предлагает меховую шапочку, едва тронутую молью. Вообще-то Кукла — это Ольга, но себя называет Люсей. Рядом Левка-художник. Тот непонятно чем торгует, но если кому нужно разменять оккупационные марки крупные на мелкие, — это к нему. Тут же баба продает «снежки». Снежки — сладкие воздушные шарики. Вроде шарик крупный, а положил его в рот — и нет ничего, растаял, оставив каплю сахара на языке. Чуть поодаль отвешивает махорку какой-то дед. Конечно, со своей махоркой он Гамзатой не конкурент, та предлагает папиросы, хорошие папиросы «Минские». Но и у деда свои покупатели, за махорку берет хлеб, самогон, можно и марки, и тогда покупает хлеб в лавке, что в полсотне метров по Мясникова, к западному мосту. Дед не работает, карточек ему не положено, впрочем, как и всем, кто стоит на пятачке.

Сегодня Лентик обменяет яйца на сахарин — сто маленьких таблеток в пачке, поговорит, потолкается с друзьями и к обеду отнесет сахарин матери. Семья большая, каждый что-то несет на общий стол. Спасает всех большой дом, который отец Лентика построил на участке земли, когда-то выделенной ему за революционные заслуги. Сам отец высоких постов не занимал, ездил на телеге, развозил саженцы, озеленял город, посадил сквер у фабрики-кухни и у вокзала. Бывший командир конной разведки, он на все имел свое мнение, часто отличное от официального и потому в конце тридцатых послан был

рыть очередной канал где-то на севере. И остались шестеро детей с матерью в огромном доме по улице Шорной, 27.

Ах, дом на Шорной, сколько соседей пряталось в твоем подвале в бомбежку. Рядом Дом правительства, цель завидная, и сыпятся бомбы почти на голову. Из глубины подвала — молитвы на русском, татарском, на еврейском. А потом создали гетто, и обвитый колючей проволокой угол его находился через улицу, наискосок от дома. Сколько народу отовсюду, переночевав, пересидев в подвале дома, уходило затем одними им известными дорогами, растворяясь в дыму войны. Многие прошли через этот дом, и многие остались живы, и хозяйка его, и дети ее пережили войну. Маленькая, четырехлетняя дочка Инночка уехала перед войной с садиком на дачу. Накрыла их авиация. Инночка и один восьмилетний мальчик выбрались из горевшего вагона. Решили дети так: «раз поезд ехал вперед, то Минск будет, если пойти по шпалам назад». Взялись за руки и пошли... Через неделю Инночку привели домой родители того мальчика. Дошли дети, одни дошли. Старший Иван перед войной уехал на всесоюзную стройку на юг Украины. Вернулся и он. Но это уже зимой сорок второго. Пришел, стал у крыльца, мать вышла и не узнала, думала пленный беглый. «Сейчас, сынок, хлеба вынесу», — сказала. А он: «Мама, это я». Что тут встречу описывать... Когда вымыли его, рубаху старую на снег выбросили, она как просом, вшами была обсыпана.

Ивану и семнадцати не исполнилось, когда наладил он плавильню во дворе, производство горшков, благо металла со сбитых самолетов было в достатке. А сестра Лиля, самая красивая в семье, горшки те возила по пригородным деревням продавать. Как-то, вернувшись из одной деревни, после увиденного там, решила: «Уйду в партизаны». Но как? «Нужно что-то ценное добыть», — раскинула она своим четырнадцатилетним умом. Непонятно каким образом, но утащили они с братом Лентиком пишущую машинку из какой-то конторы, при том, что машинки эти в военное время охранялись как оружие. И передали машинку в лес через старших сестер Зину и Лиду, те знали нужных людей. Но в партизаны Лилю и Лентика не взяли. «Такие сорванцы нужны в городе», — был им ответ.

Толкался Лентик с друзьями на пятачке почти каждый день. Однажды его сильно избили немцы, прямо там, на глазах у всех. Обманул он их, как им показалось, в торгах. Гамзатая пыталась заступиться, Левка-художник хотел спор деньгами уладить. Но старший из немцев сказал, что «порядок быть должен». Лентику тогда здорово досталось. Скрыть от мамы это не удалось. Мать тихо плакала, он стонал по ночам. Но неделю отлежавшись, снова стоял он на пятачке, в своих подшитых кожей валенках с подвязанными коньками. Нужно было помогать матери.

Война перевалила за половину. Сестры Лентика Зина и Лида сидели по подозрению в связи с партизанами в полиции. Находилась полиция рядом с Домом правительства. Затем их перевели в старую тюрьму на Володарского. Когда выпадала очередь выносить парашу, можно было через тюремное окно видеть родной дом и двор, и даже тех, кто во дворе. Раз вывели их ночью, Зина на секунду задержалась у окна. Когда построили всех в тюремном дворе, то сестры, которые держались всегда вместе, оказались в разных концах шеренги. И это их спасло. Всех рассчитали на первый-второй и каждого второго увезли. Куда увезли? Говорят, расстреляли. В городе произошло покушение на крупного немецкого начальника. На другой день следователь немец сказал на допросе Зине, что он расстрелял бы не каждого второго, а всех, потому что «порядок быть должен!» Он так за все время следствия

и не смог выбить признания ни из Зины, ни из Лиды. Прямых улик против них не было. И выпустил сестер «железный фриц» за простой выкуп, польстившись на золотые сережки и колечко, что их мать принесла в платочке, добившись с ним свидания.

Лентик от природы имел сердце доброе, веселое. Был заводилой местных пацанов. Развлекал весь пятачок, особенно когда, приставив палец к верхней губе, изображая «фюлера», наскакивал на приятелей, крича по-немецки: «Порядок быть должен!»

Расположенная неподалеку центральная улица Советская лежала в руинах, и основное движение на этом участке города было по Мясникова. Народу проходило за день много. Все городские новости и слухи стекались сюда, а по трубам под асфальтом в железном русле текла древняя Немига...

День был обычный, солнце ярко светило и уже пахло весной, когда к пятачку подъехала крытая брезентом грузовая машина. Оттуда выскочили немцы, стали хватать пацанов и запихивать в кузов. Попал туда и Лентик. Сразу же прикинув, что к чему, сел он у борта. Машина тронулась вдоль Мясникова к вокзалу. И за те пару минут, что она ехала до вокзального сквера, Лентик ухитрился отвязать от валенок коньки, незаметно перерезать ими завязки, что крепят брезент к кузову и, кивнув пацанам следовать за ним, улизнул в образовавшуюся щель. Немцы заметили его и дали вдогонку несколько очередей из автоматов. Лентик бежал, как не бегал никогда в своей жизни, он несся к ближайшим домам, обгоняя не то что ветер, а и собственное дыхание. Уже в метре от подворотни какого-то дома его осыпал град разлетевшихся, сбитых с крыши пулями сосулек. Стреляли не в воздух. Стреляли, чтобы попасть. Но он ушел.

Прибежал домой, мать все знала, Гамзатая успела уже сообщить. Мама сказала, чтоб из дома больше ни ногой. Часа не прошло — Левка-художник появляется. Запыхавшийся. Увидел Лентика:

— Думали, тебя убили, такого стрекача дал.

— Вспомнил, что яйца на пятачке забыл, — шмыгнул носом Лентик.

— Я с вокзала утек, — не без гордости сообщил Левка, — как стали нас грузить в вагон, мы доску выломали и ходу...

Мать поставила на стол чугунок с картошкой. Сели обедать. Гамзатая стала было отказываться, хотя и голодная — видно же. Но мать настояла. Вообще-то Гамзатая, несмотря на наружную грубость, была стеснительная. Приятно девочке, скажите, жить с такой кличкой да еще с вечно пьяным отцом. И за всю жизнь ни одного светлого воспоминания, кроме школьных елок, где давали конфеты. Ни одной игрушки никогда у нее не было. А мечтала о кукле с закрывающимися глазами. Раз увидела на пятачке, как одна баба продает такую куклу. Попросила хоть в руках дать ее подержать. Предложила тогда все папиросы, что имела, в обмен за нее.

— А батьке своему, что домой принесешь? — сказал кто-то из пацанов.

— А я из дому уйду, — ответила Гамзатая.

Все, кто был тогда на пятачке, рассмеялись. Гамзатой стало стыдно.

— Кому минская! — нарочито громко закричала она несуществующим покупателям, поставила торчком воротник телогрейки и больше ни на кого не смотрела.

Гамзатая, скованно чувствуя себя за столом, неловко подвинула кружку с козьим молоком, разлила несколько капель на клеенку. Левка, глядя в окно на Красный костел, горелой спичкой стал размазывать капли молока по клеенке, и получился пейзаж. И какой красивый, вытирать жалко.

— Надо засушить, — сказала Гамзатая. В дом забежала Люська-кукла:

— Ой, ребята, а я думала вы уже в Германии. — Тоже села за стол. Оценила пейзаж. Сказала Левке, чтоб после войны шел в художники. — А я всем хвастаться буду, что знаю тебя.

Войне скоро конец, это понятно. И уже немцы вывозят добро, и людей угоняют в Германию. И налеты на город чуть ли не каждую ночь. А и радость. Наши. Наши бомбят. Падают бомбы рядом с домом Лентика, а не страшно. Тревожно лишь наблюдать, если возьмут наш самолет в перекрест прожекторов. И сердце стучит: «Уходи. Уходи». Сидит Лентик с сестрой Лилей у входа в подвал, на небо глядят. Вот смелая девчонка. А из глубины подвала молитвы на всех языках.

В конце июня сорок четвертого расклеили немцы по Минску листовки с приказом всем жителям покинуть город. Семья Лентика решила, что они никуда не пойдут. В саду меж кустов крыжовника вырыли бункер. Лентик с братом Иваном притащили туда несколько винтовок и ящик патронов. Взяли все это на горящих складах, неподалеку, в стенах бывшего ФЗУ. За оружие по законам военного времени грозил семье расстрел. Но немцы слишком были заняты отступлением. В ночь со второго на третье июля вся семья собралась в бункере, в саду. Почти никто не спал. Город горит. Всюду зарево. Наконец через пожары начинает пробиваться рассвет. Слышен шум моторов со стороны Мясникова. Лентик забрался на самую высокую яблоню — ничего не разобрать. Решил сходить на разведку, пробежал садом, перемахнул через забор, обогнул старые кавалеристские казармы и... увидел наши танки.

Кто был в тот момент на углу улицы Мясникова и Транспортного переулка, тот помнит, что место это было буквально усыпано папиросами. Из находящегося возле фабрики-кухни помещения немецкой торговой компании «Тролль» пацаны ящиками выносили папиросы и бросали танкистам. Упаковки лопались, рассыпаясь по броне табачными гильзами, скатывались на дорогу... А еще несли танкистам из «Тролля» бутылки с содовой водой. А еще полевые цветы. И верхом счастья было забраться на танк...

В ноябре сорок пятого, когда Лентик сидел на школьной скамье, Гесс сидел на скамье подсудимых. На Нюрнбергском процессе Рудольф Гесс был вторым в списке обвиняемых после Геринга. Получив пожизненное заключение, он сказал, что ни в чем не раскаивается, и был отправлен отбывать свой срок в берлинскую тюрьму «Шпандау» заключенным под номером семь. К шестьдесят шестому году Гесс остался единственным заключенным «Шпандау», тюрьмы, которую, сменяя друг друга в месячных вахтах, охраняли все страны-участницы войны с Гитлером.

После войны вместе с Лентиком доучиваться в школу пошел его друг Левка-художник и Гамзатая. Но Левка не проучился и полугода, а Гамзатая ушла еще раньше. Одноклассники, все больше молодые, вернувшиеся из эвакуации, и главное, без причины смешливые, что было не понять Гамзатой, очень уж ее раздражали. И связалась Гамзатая с шухарной компанией, вещи на вокзале воровали. Кончилось тем, что застрелил ее, по слухам, какой-то офицер, когда бежала она вдоль привокзального сквера, унося трофейный чемодан.

А вот Люська-кукла, та сразу, без школы, пошла в первое же открывшееся после войны училище, которое играючи окончила. Вообще она всегда считалась самой умной и вышла замуж, говорят, за академика.

Левка-художник уже в пятидесятых был осужден за подделку денег. Лентик, получив от него письмо, приехал повидаться с ним в какой-то российский город. Но свидания не дали, и увиделись они лишь в зале суда. Лентик к тому времени был уже офицером с эмблемами в петлицах «теща кушает

мороженое». Военным врачом стал Лентик. Со своей скамьи покачал ему Левка головой в знак одобрения.

Закончив школу, поступил Лентик в мединститут, затем перевелся в военно-медицинскую академию, после окончания которой распределили его в Забайкалье хирургом. А хирургом, надо сказать, он был отменным. И юмористом был первым в госпитале. Больные его обожали и лишь просили на обходах: «Ради бога, не шутите, швы от смеха расходятся». Будучи абдоминальным хирургом, однажды провел изумительную нейрохирургическую операцию, и жив остался солдатик, которому снесло лопнувшим тросом полчерепа. Долго потом солдатик и семья его писали ему письма, с каждым праздником поздравляли. Много было писем и от других спасенных. Письма эти находили его во всех местах, где выпадало ему служить, от Забайкалья до Берлина.

Итак, Берлин, конец шестидесятых. В кабинет армейского начальника вошел высокий, осанистый подполковник. Это было время нашей вахты в тюрьме «Шпандау». Начальник попросил подполковника съездить в тюрьму, осмотреть пациента, который ведет себя вызывающе и нашим врачам откровенно дерзит.

Некоторое время спустя машина с подполковником въехала в зеленые ворота тюрьмы «Шпандау». В белом халате, надетом поверх мундира, он вошел в камеру: справа в нише — унитаз, слева — койка, прямо на стуле — Рудольф Гесс. Гесс, не глядя на вошедшего, сказал в сторону: «Мне от вас ничего не нужно и никогда не нужно будет». Этот ответ должен был прозвучать как гордый ответ побежденного, но несломленного, истинного национал-социалиста. И повисшая после такого ответа пауза должна была усилить слова и как бы возвысить сказавшего их. Но паузы не наступило, вошедший офицер спокойно сказал по-немецки: «Но порядок быть должен». Гесс с удивлением поднял на офицера глаза и понял, что в непокоренного сыграть сегодня не получится. Быстро и корректно проведя медосмотр на родном Гессу языке, военврач удалился, оставив его продолжать считать себя арийским львом или орлом или еще кем-то...

Они встретились. Один — врач, другой — пациент. Произошла встреча, которая в этом мире ни по каким законам произойти, казалось бы, не могла.

Подполковник вышел из здания тюрьмы. Нужно было возвращаться в госпиталь, ждали дела. Он на секунду задержался у входа. Рядом, будто срезанная пулей, упала небольшая сосулька. Подполковник посмотрел в весеннее небо и улыбнулся чему-то улыбкой когдатошнего Лентика.

Глеб Кириллович и...

Странный случай произошел ноябрьской ночью в Средиземном море. Вдоль египетского берега шел круизный теплоход. В одноместной каюте спал советский турист Глеб Кириллович. Окно каюты было приоткрыто. Ветер шевелил занавеску, сквозь кружевную вязь которой, проникал лунный свет. Глеб Кириллович почувствовал сквозь сон чей-то взгляд. Проснулся и увидел перед собой два злых черных глаза, обрамленных рыже-коричневой шерстью. Существо напоминало неандертальца, как представлял себе неандертальцев Глеб Кириллович. «Неандерталец», медленно наклоняясь над кроватью, одновременно просовывал лапу под спину Глеба Кирилловича. С ужасом Глеб Кириллович почувствовал, что когтистая лапа пытается вытащить его из кровати. Он согнул ноги в коленях и с силой толкнул страшное существо обеими

ступнями в грудь. В каюте раздался грохот. Глеб Кириллович закричал. Это был не крик ужаса, а, скорее, рев битвы за жизнь. Он поймал рукой и дернул шнур лампы-бра. Вспыхнул свет. Тень метнулась к окну. Занавеска дернулась в сторону и снова повисла. Глеб Кириллович вскочил, подбежал к окну. Метрах в десяти шумела и пенилась вода. Чтобы попасть в его каюту, нужно было подняться по отвесной стене. Но как? Может быть, спустился сверху по веревке? До верхней открытой палубы над каютой Глеба Кирилловича было два этажа бортовых окон, и никакой веревки он не заметил. Ох, как дорого заплатил бы он, если бы веревка была. А так, глядя на себя в зеркало на стене, он громко сказал: «Поздравляю, ты шизофреник». Неужели так вот и случаются галлюцинации? Ведь не пил же ничего. Дышал морским воздухом, занимался спортом, даже чемпионом круиза по поднятию гири стал. «М-да, видимо, нужно больше спать», — повторил вслух Глеб Кириллович и, уже повернувшись, чтобы идти в кровать, вдруг увидел на спине красные шрамы от когтей.

Если бы это была история про Индиану Джонса, можно было бы занять читателя описанием запаутиненных ходов в пирамидах, по которым двигался бы наш герой с факелом в руке в поисках загадочного существа. Но Глеб Кириллович был советский человек, то есть работающий человек, и на поиск разных загадочных существ времени у него не было. Нет, времени и энергии у него было в избытке, но тратились они все больше на карьерный рост. И все же, спустя полгода выбрал он момент и на всякий случай тайно покрестился. То есть произошедшее его в глубине души волновало, и сказать, что он о нем не задумывался, нельзя. Гипотезу о снежном человеке Глеб Кириллович отмел сразу. Снежный человек у берегов Египта, это уже смешно. К тому же, вряд ли такой вид существует в природе. А если появляется он ниоткуда и исчезает в никуда, то это призрак, миф, легенда, или... но тут Глеб Кириллович мысли свои прерывал, за неимением дать им, кроме мистического, никакого другого объяснения.

О существовании мирового добра и зла Глеб Кириллович стал догадываться еще подростком, так же как и о том, что человек произошел не от обезьяны. Какой смысл был спускаться с дерева и «идти в люди», если все кто «пошел», вымерли, а обезьяны как жили миллионы лет, так и живут? И если логически следовать теории выживания сильнейших, то что более совершенный вид: мертвый петикантроп или живая обезьяна? С годами все же стал интересовать Глеба Кирилловича вопрос: не как, а почему вопреки выживанию сильнейших появился на Земле человек? Та же крыса в выживаемости намного превосходит человека. Крыса, когда сыта и находится в безопасности, то спокойно спит. А человек в теплой квартире, при полном холодильнике может ночью довести себя до инфаркта лишь мыслью о том, что завтра ему идти на ковер к начальнику. Крыса не может вызвать в себе чувство ревности мыслями. Человеку же достаточно сопоставить кое-какие факты, и он уже годами терзает себя домыслами, не имеющими почвы. Крыса размножается, когда приходит время. Человек же готов делать это каждый день, выбрасывая в атмосферу фейерверки эмоций. Может, как самозаводящийся генератор эмоций и создан был человек. Положительными и отрицательными эмоциями, бурей электрических процессов в мозге, вырабатывает он энергию, которая потребляется... Кем? Добром? Злом? Вот это Глеба Кирилловича и стало интересовать с годами.

А вокруг бушевали океаны эмоций. На рок-концертах эмоции у зданий крыши сносили, на стадионах болельщики орали, будто в атаку шли. Кто выжимает из них эмоциональную энергию? Игроки. Может, потому самые большие деньги в наше время платят за игру. Рок-музыкант играет. Хоккеист

играет. Популярный актер играет. А вот шахтер не играет. Зависть шахтер не вызывает и бесноваться стадионы не заставляет. Может, потому в забоях миллионеров нет?

Было над чем задуматься Глебу Кирилловичу, да еще в стране, в которой вдруг разрешили богатеть, или, лучше сказать: всем, кто хотел, дали подержаться за деньги. И, вот что интересно, кто мечтал: «Как только разбогатею, куплю своей бабушке квартиру», тот не разбогател. А кто мечтал: «Вот разбогатею и закачусь на белом мерседесе с Лелькой в «Медведя» на зависть всем!» У того все сбылось. Были, конечно, и такие, которые с пережора покупали бабушке квартиру, но это опять же не на последнее, деньги тут первичны, бабушки вторичны.

Люди меняются под натиском обстоятельств. Если не меняются, то дело или в обстоятельствах, или в людях. Бывает человек и войну, и тюрьму пройдет и не изменится. Материалисты меняются крайне редко. Но Глеб Кириллович был идеалистом, а склонность к идеализму нечто врожденное, дающее возможность при правильном развитии этого «нечто», видеть сердцем, что ведет к потрясениям и прозрениям.

Со временем Глеб Кириллович развил в себе удивительную способность. Как пчела видит ультрафиолетовые лучи, так и он мог теперь видеть, кто своими эмоциями, по его разумению, тешит... для простоты определения он, ничего не выдумывая, остановился на бесах. Тех, кто их тешит, он знал по себе. Именно в пик расцвета карьеры, когда все было дано Глебу Кирилловичу: и энергия, и удача, и уже собиралась вокруг него первая жатва из тщеславия, зависти, женских слез, злобы, именно тогда произошла у него та встреча на круизном теплоходе. С другой стороны, в это же самое время стал он задумываться, а правильно ли живет. А этого ни один бес не потерпит. Не потерпит такого бес, прочтите хоть Н. В. Гоголя. Но Глебу Кирилловичу удалось все же «соскочить». Правда, энергия его вскоре улетучилась, да и служебное положение тоже. Тут он осознал, что ставок на него больше нет. И утешил себя мыслью: «Отнята энергия на грех, но осталась на поиск истины».

Придумать какое-то философское учение у Глеба Кирилловича не получилось за неимением уверенности в себе и свободного времени. Лишь однажды размышления на тему, почему первый земной грех — грех зависти, культивируется сейчас с особенной силой, усадили его ненадолго за письменный стол. Вспомнив пару лет, проведенных когда-то в стенах мединститута, плюс знания политэкономии, написал он следующее: «Если раскрепостить пищевой и половой инстинкты, то есть вывести их из-под тормозящего влияния коры головного мозга, то можно, якобы празднуя разнообразие индивидуумов, на самом деле расширить количество потребляемых ими тех или иных товаров, и, как следствие, вызвать постоянный поток зависти у тех, кто не может потреблять, к тем, кто потребляет сверх меры». Глеб Кириллович почесал затылок и закончил мысль: «На раскрепощенных инстинктах не только создаются и приумножаются капиталы, но и генерируется энергия отрицательных эмоций». Он тут же прочитал написанное жене, для чего вышел на кухню. С кухни Глеб Кириллович вернулся грустным. Но на всю оставшуюся жизнь усвоил правило: хочешь, чтобы тебя понимали, говори проще.

«Не надо тешить бесов отрицательными эмоциями. Они питаются ими», — добавил он минуту спустя к ранее написанному. Получилось коротко и ясно. Даже слишком коротко и слишком ясно. Это он давно подозревал. Глеб Кириллович отложил карандаш в сторону и никогда более не умничал на бумаге. Вернувшись на кухню, он сменил тему разговора и получил в ответ одобрительный взгляд.

Глеб Кириллович не делился больше своими умозаключениями ни с кем, но это не значит, что он не размышлял. Размышлял он постоянно. Так, о деньгах Глеб Кириллович понял, что: «Если бы деньги создал Творец, они росли бы на деревьях». А прочитав в Новом Завете о третьем искушении Христа, Глеб Кириллович не сразу, а с недельку подумав, со вздохом констатировал: «Значит и мирскую, мимолетную славу дает лукавый. Возьмем, к примеру...», — Глеб Кириллович остановился на звездах эстрады. Рассуждал он следующим образом: «Раньше в стране были физики, лирики и немного артистов, которых знали все. Теперь не стало ни физиков, ни лириков, ни страны, но появилось много артистов, которых мало кто знает. Почему они так нервозны при всей своей славе? Почему, выжимая эмоции из других, сами являют собой негаснущий очаг негативных эмоций? Почему под старость похотливы, если осталось хоть чуток популярности, или алкоголики, если забыты? Было бы еще понятно, если б только они могли петь. Но все люди поют по природе своей. Из десяти человек, уж во всяком случае один может сносно петь. Из ста один поет хорошо. А из ста тысяч найдется человек с голосом лучшим, чем у того или иного популярного певца, и с характером лучшим. Видимо, в характере дело. Не даст лукавый будущей популярности человеку без врожденной червоточины. А это с возрастом замаскировать невозможно. И в гениальных произведениях искусства узнать, какие силы водили кистью художника можно уже по тому, как выглядел и вел себя художник в старости».

Удача в деньгах закончилась у Глеба Кирилловича с началом прозрения. Но он работал, жил на зарплату в относительном достатке, не бедствовал. И даже рад был, что шальные деньги к нему не липнут, понимая, что даются они лишь под врожденный изъян души, тем, кто употребит их не на помощь ближнему, а на глупые свои прихоти. Друзья же вокруг богатели. И заметил он одну закономерность: как только новоиспеченный миллионер решал «вот проверну последнее крупное дело и все, завязываю», то на этом последнем деле и горел, особенно если вкладывал в него все, что имел. И тогда бурей эмоций, граничащих с сумасшествием, разве что небо над собой не прожигал.

Вещи Глеб Кириллович покупал, если была в них острая необходимость. Лишние вещи в доме, по его разумению, крадут человеческое внимание. Когда испортилась настольная лампа, он решил ее починить. На предложение жены купить новую, сказал, что производство нового, это лишняя нагрузка на природу, а в уничтожении природы он не участвует. Как-то, возвращаясь с женой из гостей, он увидел у мусорного контейнера старую разбитую лампу. «Вот, как раз подходящий провод», — кивком указал он жене на лампу. «Шутишь?» — спросила жена со злой надеждой. Дома Глеб Кириллович сообщил ей свой план: «Когда стемнеет, пойду, срежу у той лампы шнур». — «Это ты на помойку собираешься? — переспросила жена и добавила серьезным тоном: — ну тогда и абажурчик прихвати, я из него себе шляпку сделаю». Надо сказать, что Глеб Кириллович понимал юмор и потому на помойку не пошел. Вообще-то юмор в доме не переводился, особенно когда Глеб Кириллович привез найденных им в лесу у дачи пару одичавших щенков, которые перевернули и обгадили в квартире все от пола до потолка, и съели тапки жены. Глеб Кириллович через газеты долго подыскивал им хороших, а не абы каких хозяев. Но до того прошел месяц, «месяц, вырванный из жизни», по воспоминаниям жены.

Нищим Глеб Кириллович подавал с какой-то одержимостью, выискивая их в толпе, или у метро, или в переходах, иногда для этого даже меняя направление движения. Сам когда-то бывший музыкант-любитель, он всегда клал деньги

в футляр уличного музыканта, но игру при этом никогда не слушал. Не забывал Глеб Кириллович и о «пернатых братьях», ходил на ближайший канал кормить уток. Возле дома на старом щербатом столе для домино рассыпал крошки для голубей. Рассыпав корм, он обычно громко и резко свистел, давая сигнал слетаться. Однажды, вздрогнув от его внезапного свиста, стоявшие неподалеку от стола бомжи выронили бутылку водки. Он купил им новую. Вообще слово «бомж» Глеб Кириллович переводил для себя как Богом Отмеченный Мужчина или Женщина и уважал их за эмоциональную безвредность.

Сотовых телефонов Глеб Кириллович не признавал. Он понимал, что это необходимость, но «в общей шизофрении», по его словам, не участвовал и, видя очередной, навороченный аппарат в чьих-либо руках, думал с искренним сожалением: «человек-человек, где тебя так изнасиловали?» Был у него мобильный телефон, отданный за ненадобностью сыном. Аппарат с выдвигающейся антенной, батареи которого хватало на два часа, а в холод и того меньше. Этим Глеб Кириллович очень раздражал своих друзей и коллег по работе, вынужденных связываться с ним через сотовый его жены. Как-то его друг в момент раздражения сказал его жене: «Вот он птичек кормит. Пусть поймает парочку. Приручит. К лапкам записку привяжет. Все ж какая-то связь».

Можно подумать, что Глеб Кириллович был человеком пожилым или уж, во всяком случае, работающим пенсионером. Совсем нет, до пенсии ему было еще далеко, принимая во внимание ожидаемую пенсионную реформу. Свой возраст для себя и близких друзей, из-за своего «оригинального жизненного опыта», он оценивал в триста с чем-то лет. Его своеобразное видение добра и зла через призму распределения генерируемой человеческими эмоциями энергии давало ему возможность вне времени видеть мир, классифицируя те или иные исторические события так, как будто он сам был их участником. И если возникал вопрос о том, как мог прийти к власти тот или иной исторический деятель, он, перефразируя в вопрос «для чего пришел?», давал оригинальный, отличный от общего мнения ответ. При этом Глеб Кириллович не навязывал никому своего видения мира. Так, на предложение жены выступить по телевизору, ответил, что телевизор ворует время, отпущенное человеку на поиск истины, и что он истины не знает, а своими субъективными теориями обкрадывать людей не собирается. Но в жизни, если замечал внутренним зрением своим опасность тех или иных действий, тех или иных ситуаций, то вмешивался и давал совет, даже если его об этом не просили.

Как-то в кафе горнолыжного комплекса, где Глеб Кириллович пил чай после пары удачных спусков с горки для начинающих, разговорился он с каким-то мелким предпринимателем. Предприниматель себя, естественно, мелким не считал. В кафе продавался коньяк, и предприниматель, употребляя его хоть и в малых количествах, становился в рассказах своих все богаче. Делал он надгробные плиты. И видя в Глебе Кирилловиче по приличным лыжам, взятым, кстати, напрокат, человека своего круга, поделился даже некоторыми профессиональными тайнами. Как, к примеру, можно выпускать продукцию не платя рабочим за труд. А просто, «нанимаешь их на месяц без оплаты на испытательный срок, а потом увольняешь и берешь новых». И встала перед глазами Глеба Кирилловича чья-то семья горемычная, и то, как довольная жена рассказывает всем, что муж, наконец, бросил пить и нашел работу и не где-нибудь, а в фирме. И через месяц-другой деньги появятся, а пока можно в долг дочку в школу снарядить. Да и куклу ей папа уже пообещал. Все будет как у людей... Но, спустя месяц, папа приходит домой уволенный и пьяный. И не докажет он ни-ко-му, что выпил, чтобы не тронуться от несправедливости, когда выставили его, лучше всех работающего, за дверь.

Жаль стало Глебу Кирилловичу своего собеседника. «Вот, кормилец бесов людским горем, давильный пресс отрицательных эмоций, — думал он. — И будут потакать ему бесы, пока давит он из людей негатив. А как перестанет, то сам взвоет от горя. Об этом уж позаботятся, никого еще без «оплаты» не отпустили».

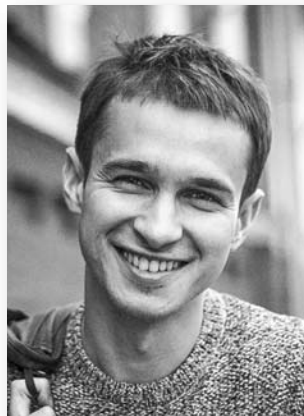
«Как решишь закончить свой бизнес, ну, там передать кому по наследству или продать, — сказал тихо Глеб Кириллович, — ты с крутых горок на лыжах не спускайся и на автомобиле быстро не езди». Затем, немного подумав, добавил: «А если случится тебе при жизни удар, и живым останешься, будь благодарен, что есть еще время что-то исправить».

Глеб Кириллович много читал. Любил Достоевского, особенно — «Братья Карамазовы» и, конечно же, «Бесы». И заметил Глеб Кириллович: те, кто глубоко понимал Достоевского, за мимолетной славой и шальными деньгами не гнались, но, с другой стороны, слава и деньги, будто сами избегали таких людей. Читал Глеб Кириллович и по-английски, худо-бедно, но смысл понимал. Попалась как-то ему иллюстрированная книга на английском языке про чертей. Текста там было немного, зато много картинок и предназначалось той книге лежать где-нибудь в гостиной на прозрачном столике, чтобы гости за чашечкой кофе могли лениво ее полистать. Автор — женщина, прогрессивная, приводила примеры чертей различных народов, как образец народных суеверий, а позже, как орудие запугивания темного люда в эпоху христианства. Пролистав книгу, Глеб Кириллович нашел в ней много похожих на «своего знакомого», но преломленных через призму воображения живописцев, которые, сами не видя, писали явно с чужих слов. А вот так, чтоб как Мону Лизу изобразить, он такого не нашел. Объект явно художнику не позировал. Все было красиво в этой книге, и иллюстрации, и снисходительный тон автора, единственное, чего там не было, это вопроса: откуда у доколумбовских индейцев Америки, у аборигенов Австралии, у народов севера такая осведомленность о чертях?

Шли годы. Глеб Кириллович, по словам жены, юродствовал. Юродствовать то юродствовал, но всегда был гладко выбрит и опрятно одет. Это был тот редкий случай, когда прозрение на человеческом облике не отразилось. Вооруженный своими, лишь ему одному ведомыми познаниями, был он теперь спокоен практически в любой ситуации. Хотя несправедливость волновала его чрезвычайно. Мог за правду биться, как лев. А вот за себя, за свое благополучие не дрался.

Лежал как-то Глеб Кириллович дома на диване, щелкал рассеянно кнопкой дистанционки, менял телеканалы, не останавливаясь более секунды нигде. На крик жены вернуть только что проскочивший канал, где танцуют друг с другом богатые и известные, ответил, что не хочет смотреть, как несчастные пляшут. А вот на канале про снежного человека задержался на минуту. Рассказывал очевидец о том, как непонятное человекообразное существо ночью обходило полянку, где горел его костер, и как собаки, ходившие на медведя, скулили от ужаса и жались к огню. Выключил телевизор Глеб Кириллович. И всплыл в его памяти круизный теплоход, и шрамы на спине, отраженные зеркалом каюты. Долго тогда смотрел он на них, а потом еще долго сидел в кресле, завернувшись в полотенце с перочинным ножом в руке. И все ждал, ждал кого-то. На секунду, казалось, закрыл глаза, открыл... Утро. Подошел к зеркалу, спина чистая, ни царапины.





ЗМИТЕР БОЯРОВИЧ

Летай, как мотылек

Временно недоступная

Ты очень занята.
И всегда опаздываешь.
Поэтому давно утратила чувство времени
и настолько запуталась в нем,
что каждое утро для тебя — утро,
каждый день — день,
каждый вечер — вечер,
каждая ночь — ночь...

Только с завтрашней датой.

*

~~9 апре~~
8 апреля 2012 г.

Записка на дверце холодильника

Купи хлеб, батон, чай, сок.
Может, вина.
Я вчера видела неплохое.
Говорила тебе.

Сегодня у нас стирка.
Оставь одну рубашку на день
и брось все остальное
на пол в ванной.

Возьми зонт. Дождь.

P.S. И вот еще что:
если с небес начнут падать пушечные ядра —
летай, как мотылек

Рационализм

Я найду себе жирную тетку.
Я решил.

Я буду петь стансы и писать стихи на балконе,
а она — целыми днями готовить восхитительные супы,
обтираться фартуком,
смотреть «Дом-2»,
посещать своих детей от третьего брака
(по ее словам, он был так похож на Гранта).

Я — смеяться.
Она — класть три ложки сахара в чай,
стирать мои вещи,
пахнуть молоком и капустой.

Жирной тетке будут нужны от меня сухие обещания. И раз в месяц пятиминутный укол от пожизненного радикулита.

Жирная тетка будет хорошей, как я.
Поэтому мы никогда не будем с ней разговаривать.

Собственно, женщина просто физически будет жирная.
Это не оскорбление.
Я найду себе такую, которой не придет в голову обижаться на это слово.
Я ей даже буду оставлять деньги на оплату ЖКХ,
иногда обнимать.
Зато ее будут любить мои комоды, шкафы и даже моль.

Она будет класть мне зонтик в сумку,
держать язык за зубами,
выносить мусор и меня.
Я — только петь стансы и писать стихи на балконе.

И мы будем жить вместе счастливо: друг без друга.

А любить я буду тебя.

Вселенная

Женщины, попавшие под дождь, похожи на Бога.
Каждый раз, они приносят в квартиру на волосах чудо.
Кто-то — запах августовских арбузов и подсолнухов.
Кто-то — осенней хвои.
Кто-то — серость асфальтовой пыли и лазурь облаков.
Кто-то — ссоры цыганок, пение скворцов, улетающих в теплые края.
Кто-то — аромат извинений и аромат преступлений.

*

Так в моем крохотном коридоре и ты
оставила целую Вселенную.

Перевод с белорусского Георгия БАРТОША.



ЭДУАРД ДУБЕНЕЦКИЙ

Дождь-художник

* * *

Луна,
чтобы уйти
от совести терзаний,
пустилася со звездами
в веселое гулянье...

* * *

О, в летний зной на берегу морском
песку невыносимо жарко!
Смелей бросайтесь, волны,
на песок!
И будет благодарен вам еще он долго
за утоленье жажды, за прохладу...

* * *

Месяц печалится в небе —
друга не смог отыскать.

* * *

Предательство в друзья
того берет,
в ком
малодушия ростки заметит.

* * *

Наши грехи — лавина,
что сходит с высокой горы.
Сможет ли кто-то спастись?
Навряд ли, навряд ли, навряд...

* * *

Ревность — коса,
что безжалостно косит
нежности травы, цветы любви...

* * *

Из кувшина любви
напитался я силой —
на долгие годы
ее мне хватило...

* * *

Сегодня снег идет-идет-идет...
И это не желает прекращаться.
Наверно, он,
повеса молодой,
всласть не успел
с землей
нацеловаться.

* * *

Когда-то гром вспугнул
бедняжку-тишину,
и схоронилась та
в глуши лесной.

* * *

Ненависть — кровавый хищник,
с душою человека расправляется
сперва.

* * *

Трагикомедии вселенской
последний акт
уж начался, как сон.
Осталось
человеку
на Бога уповать —
помилует ли он.

* * *

А дождь-художник.
Свои рисунки-паутинки
как вдохновенно набросал
он на песке.

* * *

— Хотел ты диво дивное увидеть?
Так что ж —
смотри,
с каким задором и как смело
под зонтиком идет к нам... дождь.

Перевод с белорусского Татьяны БОРОДУЛИ.



ТАТЬЯНА БОРИСЮК

Истина в весне

Купалье на Лысой горе

Купалье на Лысой горе.
Как предки, ведем хоровод,
Поем для огня и для солнца.
А искорки пляшут в костре,
Стихи здесь читает народ,
Хоть дождик никак не уймется.

Пищат комары, озверев,
Пьянит их горячая кровь,
Ведь в ней вдохновение с пивом.
Так классно на Лысой горе,
Чей дух окрыляет нас вновь.
Жаль, день пробежал торопливо.

Модница

Хочешь — стань королевою снежной
Иль красоткой гламурно-прекрасной,
Хочешь — кошкой пушистою, нежной
Или, может, цыганкою страстной.

Хочешь — стань деловой бизнес-леди
Или джинсовой юной принцессой.
Пусть обсудят друзья и соседи
И народ поглядит с интересом.

Эти странности все допустимы,
Пусть желание жить не остынет,
Ты фантазий огонь не туши.

Знайте: женщина — словно картина —
Продиктована собственным стилем,
Как порывами светлой души.

Закон сохранения поэзии

Когда лучи из мыслей светлых
Рождаются наперебой,
Когда ты все же стал поэтом,
Живет поэзия тобой.

Порой в заботах и тревогах
Душа на время замолчит,
Но сердце береги для Бога,
Как прежде, думай и ищи.

Разгонит солнце тучек стаю,
Замечен будет робкий стих,
Поверьте, строки оживают
В том, кто когда-то создал их.

Зимний этюд

Ледяною иглой зашивает зима свой наряд ультрамодный.
После летней жары наша «тундра» не кажется слишком холодной.

Ангелок из бумаги в окне, и снежинка к щеке прикоснется.
Снег вокруг, но как летней порою стараются лучики солнца.

Белоснежные шапки княгинь надевают высокие ели.
И ветвями хрустальными голые ивы опять зазвенели.

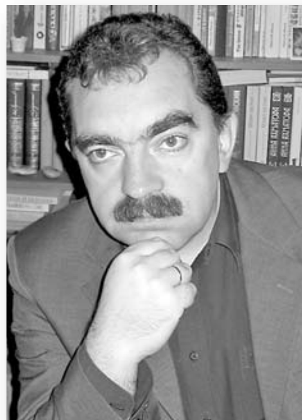
Снег кокосовой стружкой летит. Стих леплю, как снежок,
чтоб согреться!
Новый год — как загрузка энергии в дико уставшее сердце!

Истина в весне

Я верю: истина в весне!
Вновь просыпается природа:
Капель, смех солнца, ледоходы...
Как это все знакомо мне!
Я верю: истина в весне!

Пусть будет истина в весне!
В себе надежду сердце теплит,
В твою любовь несмело верит
И в то, что не услышу «нет».
Пусть будет истина в весне!

Перевод с белорусского Оксаны ЯРОШЕНОК.



АЛЕСЬ БАДАК

Идеальный читатель

Рассказ

Учитель не может мечтать об идеальном ученике, потому что идеальный ученик всегда лучше учителя, из-за чего тот в глубине души ощущает свое несовершенство. Точно так же, как хирург не может мечтать об идеальном больном, поскольку идеальный больной — это, как известно, тот, кто болен неизлечимо, а какой хирург готов признать свою профессиональную беспомощность?

Впрочем, на свете хватает профессий, представители которых могут мечтать об идеальном потребителе их таланта.

Я помню повара из ашгабадского «Grand Turkmen Hotel», где мне, участнику международной книжной ярмарки, довелось жить целую неделю. Мне очень понравился вечерний плов, и я сказал повару, назвавшемуся Атамурадом, что хотел бы, чтобы этот вкус узнала и моя жена, поэтому не скажет ли он мне рецепт его приготовления.

Но Атамурад помотал головой:

— Это агурджалинский аш. Чтобы овладеть всеми секретами его приготовления, надо быть туркменом не ближе, чем в пятом колене. А чтобы ощутить его настоящий вкус, надо родиться и вырасти там, где Сумбара впадает в Атрек.

— Почему именно там? — спросил я.

— Потому что оттуда мне привозят шафран и ажгон, которые добавляются в агурджалинский аш. Потому что там пасутся бараны, мясо которых идет на агурджалинский аш. Потому что я родился там. Каждый раз, когда готовлю агурджалинский аш, я с нежностью и любовью вспоминаю свои родные места, и эти любовь и нежность придают блюду особенный привкус, который ощутит только тот, кто, как и я, родился и вырос там, где Сумбара впадает в Атрек.

Атамурад мечтал об идеальном посетителе ресторана «Grand Turkmen Hotel», который мог бы ощутить в его блюдах привкус любви и нежности, а я мечтаю о своем идеальном читателе.

Написав несколько страниц будущей книги, я люблю выйти из квартиры и в городских парках и скверах, на улицах и проспектах, в магазинах и кофейнях, в автобусах и метро наблюдать за людьми, пытаясь по лицам узнать того, для кого, в первую очередь, эта книга пишется. Того, кто безошибочно может определить, над какими страницами я мучился больше всего, а в каких местах делал паузы во время работы, чтобы прогуляться по городу.

Идеальный читатель признает только оригинал, а не перевод, что значительно сужает пространство моих поисков, а значит, увеличивает шансы найти его. С другой стороны, это пространство сегодня уже слишком мало, чтобы в нем обязательно мог появиться идеальный читатель, и с каждым годом оно сужается все больше.

Да, я пишу на языке, на котором поэзию и прозу читает не слишком много людей.

Я знаю, что сказал бы на это Атамурад: «Чем чаще видишь людей с хотдогом в руках, тем более вкусный аш мне хочется приготовить».

Я спросил Атамурада, когда однажды мы сидели с ним на лавочке возле памятника поэту Караджаоглану, думает ли он о том, что у него в действительности не так-то много шансов встретить в ресторане того, кто родился и вырос там, где Сумбара впадает в Атрек, поскольку подавляющее большинство постояльцев «Grand Turkmen Hotel» — приезжие из других стран. На что Атамурад ответил:

— У того, кто ждет, четыре пары глаз, и он одновременно смотрит в четыре стороны света. У того, кто перестает ждать, нет ни одной пары. Я редко разговариваю с посетителями ресторана, поэтому не могу наверняка знать, был ли среди них тот, кто родился и вырос в долине Атрека. Возможно, он был вчера, но был слишком голоден и в дурном настроении. Голодные, как и те, что садятся обедать без настроения, не могут почувствовать настоящий вкус еды. А может, он сидит в ресторане сейчас или придет завтра. Поэтому каждый раз я готовлю аш для прошлого, для будущего и для сегодняшнего дня. Ожидание помогает держать себя в форме. Я боюсь потерять свою работу не из-за того, что больше ничего не умею, а потому, что тогда перестану ждать.

Атамурад помолчал, будто бы до мельчайших подробностей восстанавливая в памяти один из эпизодов своей жизни, а после вспомнил, как познакомился с выдающимся, по словам рассказчика, белорусским пианистом Валентином, который так и не дождался своей славы на большой сцене. В Ашгабад он приехал вместе с братом Андреем, который тут служил офицером перед самым развалом Советского Союза и у которого тут осталась дочь Марина — она вышла замуж за туркмена. Квартиры Атамурада и Марины разделяла одна стена, пропускавшая звуки так, как листва деревьев пропускает солнечные лучи. Благодаря этому уроки игры на пианино, которые по выходным давала ее дочке семидесятилетняя Вазига (о ней говорили, что она положит в пустой кошелек копейку, а достанет из него рубль), давались его сыну даром.

Сам Атамурад хоть и любил музыку настолько, что не пропускал ни одной премьеры в оперном театре, нотной грамоты чурался, поскольку считал, что у человека может быть только одно призвание. Это та работа, о которой думаешь все время, даже во сне, и как нельзя в одном казане одновременно готовить ыштыкму и аш, так нельзя одновременно думать о разной работе.

Однажды вечером Атамурад услышал, как за стеной кто-то начал играть на пианино. Это была не соседская дочка и не семидесятилетняя Вазига: играли не просто профессионально, а виртуозно. Причем звучал фортепианный концерт Равеля для левой руки. Последнее обстоятельство особенно заинтриговало Атамурада, поскольку тому, у кого две руки и десять пальцев, играть музыку, написанную для одной руки — такая же дурная примета, как здоровому на обе ноги ходить на костылях.

Атамурад подхватился со стула — и через минуту уже стоял перед Валентином. Когда они знакомились, Атамурад, не отрываясь, смотрел ему в глаза, но рукопожатие выдало, что у Валентина на правой руке не хватает безымянного пальца.

Как человек, у которого есть настоящее призвание, о котором он думает даже тогда, когда говорит совсем о другом, Валентин во всем слышал музыку и на все смотрел глазами музыканта. В последний день перед возвращением в Минск он испек большой бисквитный торт и попросил Марину позвать на прощальный ужин Атамурада. Торт имел вид размещенных по спирали

клавиш пианино — 52 клавиши были белого и 36 — красного цвета. Над последней — «до» пятой октавы — возвышался шоколадный скрипичный ключ. Валентин сказал, что каждая из клавиш имеет свой вкус, как каждая клавиша в действительности — свой звук. Чтобы почувствовать настоящий вкус торта, нужно ложечкой зачерпывать от них в той последовательности, в какой нажимаются клавиши при исполнении определенной мелодии одной рукой. Разные мелодии придавали торту свою вкусовую особенность.

Когда Валентин рассказал это присутствующим, за столом повисло молчание. Мало того, что никто, кроме Валентина и Марининой дочки, не знал нотной грамоты, каждый из присутствующих не мог отважиться первым ложечкой взять общий торт.

И тут из-за стола подхватилась Марина. Она полоснула по беззвучным клавишам ножом.

Атамурад увидел, как вздрогнула правая рука Валентина.

— А я предлагаю... — звонко сказала Марина и смолкла, не закончив фразы: ее дочка подхватилась из-за стола и бросилась к дверям.

— Что такое? — крикнула ей вдогонку Марина. — Дядя Валентин пошутил! Какие ноты, какая мелодия?!

Я спросил у Атамурада, знает ли он, где теперь Валентин и чем занимается.

— К сожалению, я не уверен, что он живет счастливо, чтобы спрашивать о нем у Марины, — сказал Атамурад. — Люди сами рассказывают про свою родню, когда у тех все хорошо, и стараются обойти эту тему, когда все плохо. Валентин называл себя музыкантом, у которого прошлого больше, чем настоящего, поэтому я не знаю, где и кем он теперь работает, но если у меня спросить, кто такой Валентин из Беларуси, я, не раздумывая, отвечу: в первую очередь — выдающийся пианист, а все остальное не имеет большого значения.

Я посмотрел на руки Атамурада, напоминавшие руки двадцатилетнего юноши.

— Может, он стал хорошим поваром?

— В его торте слишком много музыки, — с улыбкой помотал головой Атамурад. — А это то же самое, как если в агурджалинский аш добавить слишком много перца.

Подавляющее большинство писателей мечтает о своем массовом читателе, и только немногие грезят о читателе идеальном, прекрасно понимая, что идеальных (это значит, талантливых) не намного больше, чем талантливых писателей. К сожалению, слишком часто отыскать одного человека труднее, чем найти тысячи людей. Был ли такой читатель у Купалы — тот, кто, прочитав в 1925 году его строки:

Мне бацькаўшчынай цэлы свет,
Ад родных ніў я адвярнуўся...
Адно... не збыў яшчэ ўсіх бед,
Мне сняцца сны аб Беларусі*,

предчувствовал (как и сам автор, когда писал их), что поэта ждет ранняя смерть?

Идеальное чтение напоминает настоящую любовь: при нем взгляд бегает по словам, будто по телу, и прежде, чем проникнуть вглубь текста, чтобы

---

* Отчизной мне весь белый свет,
От нив родных я отвернулся...
Но... не избыл еще всех бед,
Мне снятся сны о Беларуси.
(Перевод А. Тявловского)

получить от этого наивысшее наслаждение, он получает наслаждение от созерцания того, как построены фразы и поделен текст на абзацы.

Из этого нетрудно догадаться, что идеальное чтение, как и любовь, может явиться не сразу, не с первого знакомства с текстом, а идеальный читатель со временем может остыть к своему любимому автору и увлечься другим.

Наконец, что тоже очень важно, чтобы иметь своего идеального читателя, необязательно быть гениальным писателем, потому что приверженность к творчеству конкретного автора порой бывает столь же необъяснима и непредсказуема, как и любовь. Правда, надо признать, что многие, когда берут в руки новую книгу, сначала обращают внимание на яркую обложку, а не на имя автора, которое скоро забудут, поскольку чтение для них — возможность избавиться от лишних минут, как от мелких купюр, что отягощают кошелек и из-за чего они покупают совсем не нужные вещи. Так какой-нибудь юнец с несдержанной плотью в первую очередь обращает внимание на девичьи формы, а имя девушки, нужной ему на одну ночь, может забыть очень скоро.

Часто, гуляя по городу, я перебираю в памяти слова, будто гальку для мозаики: я подбираю их друг к другу и складываю в фразы, чтобы после вложить их в уста своих героев. Бывает, слов аж в избытке; бывает, наоборот, их не хватает; но и в первом, и во втором случае далеко не каждый раз удается составить фразы, которые после не рассыпались бы на отдельные слова — так, как это всегда бывает с банальными фразами.

Однажды, через три года после поездки в Ашгабад, во время таких прогулок я почувствовал, что во мне звучат не слова, а музыка, и фразы для моих героев превращаются в ноты. Я вспомнил мелодию: это был концерт ре-мажор Равеля для левой руки, написанный им за несколько лет до того, как он перестал узнавать собственную музыку. У меня есть запись этого концерта в исполнении Пауля Витгенштейна и Королевского оркестра Концертгебау, но в этом случае звучал один рояль. И я догадался, что это играл Валентин, которого я никогда не видел.

Только теперь я понял, что последние три года не просто не забывал о Валентине, но подсознательно хотел встретиться с ним. Почему же только теперь я осознал это? Наверное, потому что все годы после поездки в Ашгабад я думал так, как думал Атамурад: убивая в человеке мечту, невозможно не попасть в сердце. И тогда можно догадаться, чего боялся Валентин.

В истории музыки широко известно имя австрийского пианиста Пауля Витгенштейна. Завистники говорили, его пальцы заряжены такой энергетикой, что во время игры на фортепиано они не касаются клавиш, и в этом секрет его виртуозной игры, но тут не обошлось без помощи дьявола. В качестве аргумента они приводили тот факт, что после того, как Витгенштейн на Первой мировой войне потерял руку, одной левой он играл лучше, чем до того обеими, а левая рука, как известно, считается нечистой, и то, что делается ею, делается с помощью дьявола.

Витгенштейн, несомненно, был лучшим из всех известных в истории одноруких пианистов, но не первым, поскольку первым был венгерский граф Геза Зичи, который в 1863 году подростком потерял на охоте правую руку, но оттого не потерял желания стать известным пианистом, почти пять лет брал уроки у Ференца Листа и после выступал с ним на пару, переложив листовский «Ракоци-марш» для исполнения в три руки. Главное, чего добивался Лист от своего ученика, — нужно слушать не рояль, а собственную душу, ибо не рояль должен рождать звуки, а душа пианиста. И правда, как свидетельствовали современники Листа, когда на сцене стояли только два рояля, за которыми были он и Зичи, казалось, что играет целый оркестр.

Однако Зичи не умел того, что умел Витгенштейн, и это не позволило венгру стать лучшим одноруким пианистом мира. Когда он начинал играть, зрители всегда поражались тому, как виртуозно он играет одной рукой. Когда начинал играть Витгенштейн, зрители превращались в слушателей и забывали, что у него только одна рука.

Возможно, однажды думал я, гуляя по городу и неосознанно бросая взгляд сначала на руки прохожих, а потом на их лица, Валентин знал обо всем этом и боялся, что в наш прагматичный и циничный век разговоры о его покалеченной руке всегда будут идти впереди разговоров о его игре, а сочувствие к нему всегда будет находиться впереди восхищения.

Впрочем, а почему бы за эти годы, которые в нашей жизни многое изменили, он не мог заняться бизнесом? Да и мало ли кем он мог стать сегодня в мире, где больше всего ценится умение зарабатывать деньги, а значит, вероятность встретиться с ним у меня такая же, как вероятность того, что воробей, который сейчас сидит на городском фонаре, на лету поймает клювом дождевую каплю. Это может случиться через мгновение, а может не случиться никогда.

А вообще, думал я дальше, переступив порог своей квартиры и раскрывая зонт, чтобы быстрей высох, — а вообще, какое мне дело до какого-то Валентина, которого я никогда не видел, никогда не слышал, как он играет, и кто знает, понравилась ли бы мне его игра, как, впрочем, и он сам.

Я подошел к книжному шкафу и поглядел на поставленные в ряд четыре книги Милорада Павича. Некогда мне восхищенно рассказала о нем знакомая журналистка, которая в правительственной газете ведет колонку мини-обзоров новых книг и, надо сказать, делает свое дело виртуозно, хоть это не обязывает меня соглашаться с теми оценками, которые она дает очередной новинке. Поэтому, услышав из ее уст хвалебные слова в адрес Павича, я не бросился тут же в ближайший книжный магазин, а только многозначительно улыбнулся. Разумеется, это имя я слышал и до нее, знал, что Павич в новейшей литературе считается одним из главных мифотворцев и что он придумал в ней новое направление: нелинейную прозу. Но к разным постмодернистским штучкам я отношусь настороженно и слишком хорошо знаю силу рекламы, поэтому, многозначительно улыбнувшись, я предложил своей знакомой:

— Повтори какую-нибудь фразу, придуманную им.

Она прикрыла глаза, будто не хотела, чтобы эту фразу я прочитал в них прежде, чем она ее произнесет, и через несколько секунд сказала:

— «Время, как мяту, можно посеять, и оно прорастет».

В тот же день я купил четыре книги Павича, не раскрывая, поставил их в ряд в книжный шкаф и пробормотал самому себе: «Время, как мяту, можно посеять, и оно прорастет». Для чтения хорошей книги нужно подбирать соответствующий момент, созвучный твоему состоянию души, и я понял, что этот момент для меня еще не пришел. Тем не менее, в компаниях знакомых литераторов я начал уверенно говорить: «Павич, несомненно, один из самых ярких прозаиков двадцать первого столетия», и вспоминал его фразу, которую некогда услышал из уст обозревательницы правительственной газеты. Эта фраза часто оживала в моей памяти, и каждый раз она мне казалась не такой, как раньше, поэтому каждый раз с нее можно было начинать новый сюжет. Я подумал, что постепенно становлюсь идеальным читателем Милорада Павича, при том, что пока не прочитал ни единой его книги. Я все отказывал себе в этом удовольствии, чтобы как следует изголодаться по нему, пока однажды не понял, что уже боюсь браться за него, поскольку боюсь в нем разочароваться, потому что тот Павич, который сложился в моем представле-

нии, в действительности может оказаться совершенно иным, не моим, пускай себе и трижды талантливым.

Не так ли я боялся разочароваться и в Валентине?

Однажды после душной июльской ночи, когда кажется, что подушка может обжечь щеку, меня разбудил мобильник.

— Привет! Можешь говорить?

Говорить? Казалось, я лишь минуту назад наконец заснул, поэтому то, что мне хочется сейчас сказать тому, кто ждет от меня ответа, лучше не знать. Но говорить, тем более женщине, в большинстве случаев нужно то, что она хочет услышать от тебя.

— Ты на работе?

Какого дьявола мне делать на работе в первый день своего отпуска?!

— Ой, прости! Я хочу сегодня пригласить тебя на обеденный прямой эфир.

Ясно. На прямой радиоэфир договариваются загодя, хотя бы за несколько дней. Значит, кто-то пообещал, но не смог. Я сам 14 лет работал на радио, знаю, что чувствует автор программы в таких случаях, поэтому сразу прикидываю, во сколько мне надо выехать из дома. Часа за полтора — чтобы не опоздать. Однако в действительности выхожу за два, на станции «Площадь Якуба Коласа» поднимаюсь из метро, чтобы пройтись пешком по проспекту Независимости до Дома радио. Мне надо настроиться на радиобеседу.

Я иду по проспекту против теплого потока солнечных лучей. Я бросаю взгляд на незнакомых мне людей, на минуту задерживаю их в памяти и представляю своими слушателями. Я думаю, что им сказать.

Много лет тому назад, когда я учился на филфаке БГУ, мой друг и однокурсник Мирослав советовал мне, как сдавать экзамены по литературе: если тебе выпал несчастливый билет, старайся переключиться на то, что хорошо знаешь, и втянуть преподавателя в диалог.

На экзамене по классической русской литературе мне попался Достоевский. Не сказать, чтобы я плохо знал его творчество, однако же это был любимый писатель моего экзаменатора. А в отношении к своим любимым часто проявляют ревность, которая, в этом случае, могла повлиять на мою оценку, поскольку ревнивцам угодить очень трудно. Поэтому я не стал рисковать и сначала выразил восхищение романами Федора Михайловича, при этом подчеркнув, что наше отношение к нему — вопрос, прежде всего, духовного, а не эстетического характера. А вообще, продолжал я, когда решил, что самое время начать отдаляться от Достоевского, наибольшее обогащение от чтения литературных произведений мы получаем не посредством знаний, а посредством веры. Духовное начало в художественном слове — самое мощное, поэтому оно наполняет нас прежде всего верой, а не знаниями. А вера, в отличие от науки, того же литературоведения, сближает разные по своему масштабу величины, показывая их отличия в той плоскости, в которой наука показать не в состоянии. Поэтому, с точки зрения духовного восприятия, мы можем сказать, показывая разницу между ними: Пушкин — для всех, а Лермонтов — для каждого.

После этих слов преподаватель, который все время, пока я говорил, смотрел в мой билет, будто сверял то, что я рассказываю, с тем, что там написано, резко поднял голову, наши взгляды встретились, и за несколько мгновений до того, как он сказал, что ставит мне «отлично», это решение я прочитал в его глазах.

Позже я не раз пользовался советом своего друга Мирослава в самых разных ситуациях, как, например, в нынешней: я не знаю, о чем меня будут спрашивать радиослушатели, но я уверен, что обязательно расскажу им историю про Валентина.

Я поднимаюсь на второй этаж Дома радио за 40 минут до начала эфира. На сердце легко, словно вместо него воздушный шарик. Я знаю, почему: есть шанс, что на эту передачу отзовется кто-то, кто знает Валентина. А может (хотя вряд ли, конечно), он сам.

Я останавливаюсь возле двери с табличкой «Руководитель литературно-музыкальных проектов Татьяна Якушевич». В ее кабинете с правой стороны у стены стоит пианино «Беларусь»; стоит еще с тех времен, когда мы не знали ни компьютеров, ни интернета, и композиторы приходили на радио не с CD или флешками, а с нотными листами, и, сев за это пианино, показывали музыкальному редактору свои новые песни. Крышка откинута, и мне кажется, что в воздухе еще можно уловить последние звуки мелодии, которую тут недавно играли.

— Скажи, пожалуйста, — спрашиваю я у Татьяны и при этом внимательно гляжу на клавиши пианино, — возможно ли испечь торт в виде клавиш?

Татьяна удивленно и, как мне кажется, настороженно смотрит на меня. Я думаю, она боится, что я недоволен своим вынужденным появлением на радио во время отпуска, поэтому могу нести в эфире всякую чушь и рассказываю ей про Валентина. Она слушает, но видно, что в то же время думает о чем-то своем. Ее глаза смотрят мимо меня. Мне кажется, она думает, что всю эту историю я выдумал по дороге на радио. Если так, я не буду рассказывать в эфире про Валентина.

Наконец наши взгляды встречаются, и Татьяна говорит:

— Знаешь, Валентин — это мой брат.

Я сидел в небольшой, четыре на шесть, комнате, где в каждой вещи жила музыка. Она не исчезала насовсем, когда смолкал рояль, как не исчезает насовсем ничто и никогда, а переходила в другое состояние, неуловимое для слуха. Присутствие музыки ощущалось скорее физически, стоило дотронуться до стола, до нотных листов на нем. Она не исчезала насовсем, поэтому все более накапливалась тут с годами, и теперь уже любые звуки в комнате казались музыкой.

Я сидел в широком кожаном кресле напротив окна, и лицо Валентина то темнело, когда он поворачивался ко мне, то светлело, когда склонялся над роялем и левой рукой легко, будто гладя, проводил по клавишам. Это был так называемый кабинетный рояль немецкой фирмы August Förster, славившейся чистотой звуков своей продукции. Мне не нужно было рассказывать Валентину всю предысторию нашей встречи. Несколько дней тому назад за меня это сделала Татьяна. Правда, не знаю, насколько ее пересказ соответствовал истине: одни и те же слова, произнесенные разными людьми, порой несут разную информацию.

— Есть люди, перед которыми самоуверенность раскрывает новые высоты, а есть те, кого она заводит в тупик. Мне кажется, я своевременно разглядел этот тупик впереди своей дороги, чтобы еще мог свернуть на иную, — Валентин кивнул в сторону синтезатора Casio на высоких ножках, стоявшего рядом с роялем. — Я стал аранжировщиком, и на хлеб мне хватает. И дело не в этом, — он приподнял с клавиш и тут же опустил на них правую руку, на что они отозвались жалобным ля. — Просто я не выдающийся пианист по своей природе.

— Ты мог бы стать лучшим белорусским пианистом, но стал лучшим аранжировщиком, — Татьяна принесла мне чашечку кофе и поставила на столик из черного стекла, рядом с креслом, а сама снова вышла из комнаты, вероятно, чтобы не мешать нам.

— Атамурад — чудесный слушатель с превосходным прирожденным слухом! Благодаря своей соседке Вазиге он неплохо усвоил теорию музыки

и при этом не разучился слушать сердцем, а не разумом. Однако он не знал одного секрета моей игры.

Валентин сказал эти слова с улыбкой, будто в шутку, но я был убежден, что сейчас услышу нечто важное для себя.

— Я левша. А левше концерт для левой руки играть значительно проще. Вот и все.

Признание Валентина для меня было полной неожиданностью.

— Скажите, вы слышали о том, что для левшей характерно так называемое одновременно-визуальное мышление, в то время как у правшей преобладает мышление линейно-последовательное? Например, правша берет в руки роман, читает первое предложение, анализирует его, потом читает следующее, анализирует. Предложения, как бусины, по очереди нанизываются на нитку сюжета, и правша, пока не отложит или не закончит чтение, на каждом этапе держит в сознании только ту мизерную частичку романа, на которую направлен его взгляд. Тот, кто делает бусы, увлечен работой, держит взглядом только те бусины, которые в этот момент нанизывает на нитку. Левша одновременно и читает, и анализирует роман. Для него роман — это не бусы, а... ну, скажем, новогодняя елка, которую ему, с подсказками автора, разумеется, нужно украсить предложениями-бусинками. На каждом этапе он видит и оценивает ее всю, его мысли идут не строго следом за развитием действия романа. Они то возвращаются назад, на предыдущие страницы, то пытаются спрогнозировать то, что может происходить в романе дальше. Мне кажется, идеальный читатель обязательно должен быть левшой.

Я сделал короткую паузу, чтобы убедиться, что мои слова у хозяина квартиры не вызывают иронии. Мне хотелось, чтобы Валентин спорил или соглашался со мной, но он молча, с чуть заметной улыбкой, смотрел в пол и ритмично кивал головой, будто в такт мелодии, звучавшей в нем.

— Не мне вам рассказывать, что пианист-правша и пианист-левша технически одинаково хорошо справляются с самыми сложными произведениями, например, транскрипциями Листа. При условии, конечно, что они оба одинаково хорошо подготовлены, — на всякий случай уточнил я. — Но во время игры правша своими мыслями только дублирует движения пальцев рук в той последовательности, в какой от них этого требует клавир. Поэтому он слышит то, что в этот момент выдают клавиши рояля — ни больше и ни меньше. А левша слышит произведение целиком, сразу в трех измерениях — в прошлом, в настоящем и в будущем, и это делает его игру более оригинальной, виртуозной, и каждый раз она в его исполнении звучит по-другому. Что касается вас — тут еще более интересный и редкий случай, который вносит неповторимость в вашу игру, в ваш талант, понимаете? Мы не говорим об оперном певце: у него талантливый голос. Мы говорим: талантливый оперный певец. Потому что талант не в голосе. Талант творца — в его душе, о которой мы за миллионы лет своего существования так ничего и не узнали. Можно только сказать, что она заполняет все наше тело, как кровь заполняет жилы, и остро реагирует на все его проблемы. Поэтому Ван Гог до того, как отрезал себе мочку уха, и Ван Гог после того — в определенном смысле разные художники. Как есть два Бетховена — тот, у которого нормальный слух, и тот, который слух утратил. Причем второй Бетховен создал более знаменитые произведения, чем первый. Как, к слову, и Ван Гог. Но я пришел не ради того, чтобы услышать вашу, не сомневаюсь, замечательную игру. Наверное, правильней сказать: ради того, чтобы перестать слышать ее. С того времени, как мне рассказал о вас Атамурад, она часто звучит в моем представлении: Равель, Брамс, Прокофьев — та, что композиторы писали для левой руки. Причем

звучит в самые неподходящие моменты: когда я сажусь за стол и начинаю работать над своей новой книгой. Она стала мешать моим мыслям, и я понял: чтобы музыка перестала звучать, мне нужно познакомиться с вами...

Когда я поднялся с кресла, чтобы попрощаться, было уже поздно.

Не знаю, почему, но в тот момент я был убежден, что наша с Валентином встреча — первая и последняя. А главное, мне почему-то этого хотелось. Он стоял передо мной слегка поникший, но все с той же неизменной, чуть заметной улыбкой на губах, значительно ниже ростом, чем я его представлял, в серых тапочках на босу ногу, а я глядел на его со вчерашнего дня небритое лицо, на котором неровно росла рыжая щетина, и думал о том, что вижу другого Валентина, не того, которого помнил Атамурад. Это был человек, у которого от своего прошлого остались одни зачерствелые крошки, и ему хотелось смахнуть их с памяти, как со стола.

Оставалось последнее, что я хотел узнать от Валентина.

— Скажите, как вам пришла в голову идея испечь торт в виде клавиш рояля?

Валентин, казалось, был рад вопросу.

— Это не совсем моя идея. Есть такой известный на весь мир итальянский шеф-повар Антонио Корлуччи. Он издал книгу «Паста и опера», где описал семнадцать рецептов блюд, к ней прилагается диск с семнадцатью знаменитыми итальянскими операми. Корлуччи рекомендует конкретные блюда готовить и есть под конкретную оперу, только тогда они приобретают необычайный вкус.

Татьяна проводила меня до автобусной остановки.

— Ну как? — спросила она.

— Спасибо за знакомство с братом, — сказал я. — Он правда много аранжирует?

— Да. В последнее время ему даже поступают заказы из Москвы.

— О, это большие деньги!

Я слышал, что «для Москвы» стремятся работать многие наши молодые музыканты, однако в тамошнем шоу-бизнесе все куплено и поделено на сферы влияния, поэтому пробиться туда кому-то со стороны почти невозможно.

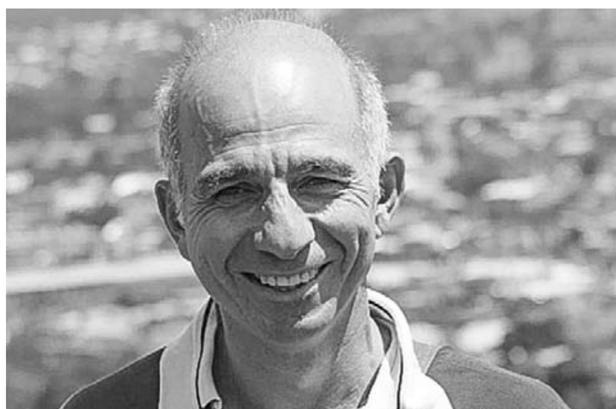
— Кстати, он аранжировал «Вольную птушку».

Я не слишком люблю современную популярную музыку, однако эта песня не выходила из моей головы всю дорогу после прощания с Татьяной. Дело в том, что песня «Вольная птушка», которая в последние месяцы ежедневно звучит на всех белорусских FM-станциях, была написана на мои слова.

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.



Единственный лидер — русский язык...



Многообразие дагестанского культурного мира складывается из разных национальных культур и литератур. Марат Гаджиев, издающий в Махачкале газету «Горцы», создал и Кавказский дом перевода. Среди других проектов литератора и издателя Марата Гаджиева — и книжная выставка-ярмарка, которая уже стала традиционной в Махачкале, и на которую дагестанские книжники приглашают и белорусских издателей. Оснований для этого предостаточно. В Минске в литературно-художественных журналах на русском и белорусском языках выходят стихотворения аварских, лакских, даргинских, лезгинских, кумыкских поэтов. Белорусские переводчики работают над антологией современной поэзии народов Дагестана. Обо всем этом — наш разговор с Маратом Гаджиевым.

— Дагестан — республика, край, можно сказать, страна, собравшая под своими сводами разные народы. Как это обстоятельство отражается на развитии национальных литератур Дагестана?

— Это действительно большое богатство и мы все время ждали и продолжаем верить, что оно двинет нас куда-то на высокую орбиту. Ждем с момента первых дагестанских съездов писателей. Судя по воспоминаниям и документам 20-х, 30-х и даже послевоенных лет писатели и переводчики делали невозможное. Сегодня многие из произведений тех лет кажутся очень наивными и прямолинейными. Но это сегодня мы такие мудреные и любим усматривать идеологические заказы. Очень часто приходится слышать, что дагестанская национальная литература состоялась только благодаря государственному заказу на имена. А что собственно в этом плохого? Вот сейчас мы, по мнению столичных литературных журналов, глухая провинция.

Собственно, мы сами в это поверили. Но, при всей сложности в Махачкале заваривается интересная «каша». Это на фоне общего спада интереса к книге и укоренившейся кавказофобии, а что еще печальнее — вытеснения русского языка. Так вот «каша» получается отчасти протестная и очень круто замешанная. Тяжелые ситуации только закаляют. В нас разбудили желание состоятся несмотря ни на что. В наших

дальних селах живет еще первозданная чистота и сила. Сегодня дагестанские сетевые маньяки соревнуются в материалах и находках из прошлого, пишут, фотографируют, записывают все, что еще стоит, живет, танцуется и поется. За три десятка лет тишины — это прорыв к неизведанному. Трудно обработать весь информационный поток, но, безусловно, внутри него видны будущие ориентиры национальной литературы. Необходимо дать толчок национальным языкам, которые остановились в своем развитии в 50-х годах прошлого века. В языковую речь в советское время вошли десятки слов из русского языка, а теперь из арабского, английского. В былые времена это происходило не так быстро.

— Есть ли среди литератур Дагестана лидер?

— Единственный лидер — русский язык. Трудно и, наверно, не правильно оценивать в количественном соотношении литературные произведения или писателей того или иного народа. Есть, безусловно, процессы внутри национальных литератур и они не тождественны. Единственное, что их объединяет — желание не раствориться и сохранить свой язык. Это желание, как правило, уводит от проблемы поддержки качественной литературы. Речь о силе слова. Нужен мощный толчок, сравнимый с тем, что происходило после Великой Отечественной войны. Речь не о войне, а факторе влияния литературы на массы. Жизнь после войны или документальная проза определила творчество нескольких поколений писателей.

Тот, кто быстрее избавится от периферийности, потянет свой национальный поезд вперед.

— Как часто поэты, прозаики разных народов Дагестана переводят друг друга? Является ли это традицией или скорее — исключением из правил?

— Да, переводы — любимая тема в нашей литературной жизни. Но, опять же, качество их оставляет желать лучшего. Великие переводчики советского периода живут в книгах и воспоминаниях. Создание переводческой школы это рефрен, звучащий на всех литературных собраниях. Иногда, взяв современную книгу в руки, думаешь, лучше бы не переводили.

— Мы в славянских странах, бывших советских республиках, больше всего знаем, пожалуй, Расула Гамзатова... Насколько он почитаем сегодня?

— В прошлом году широкомасштабно отмечался очередной юбилей народного поэта Дагестана. Он почитаем настолько, что иногда чувствуешь перегибы. Очень усердствуют в этом власти, которые, кроме как Расула, в литературе никого не замечают. Его именем уже назвали все что можно.

Но если серьезно говорить о влиянии его поэзии на современного читателя, то складывается очень печальная картина. Поэзию вообще мало знают и читают. Расул Гамзатов был самый известный поэт Кавказа за рубежом до 90-х годов XX века, а дальше наступает провал. Многотысячные тиражи советских писателей делали свое дело, а сегодня спонсорской помощи хватает на несколько сот экземпляров. Все совпало в судьбе Расула и трудно представить, что сегодня кто-то поднимется на подобную высоту.

— Кстати, а сколько языков современного Дагестана обладают письменностью? У всех ли народов, обладающих письменностью, одинаково активно развиваются национальные проза и поэзия?

— На сегодняшний день существует 14 письменных языков Дагестана. Перечислю, если вы не против, по алфавиту: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, русский, табасаранский, татский, ногайский, рутульский, цахурский и чеченский. Если учесть, что письменность агульского, рутульского и цахурского язы-

ков оформилась сравнительно недавно, буквально несколько лет назад, то вы понимаете, какие разные задачи стоят перед учеными и литераторами разных национальных групп. Но это не значит, что у бесписьменных народов отсутствует литературное слово. Существует устное творчество, дореволюционная арабоязычная письменность, которая давала возможность раскрыть творческим людям свои возможности. Но приход русской письменности, особенно в первые годы, дал мощный импульс для развития литературы. Совсем другое дело — последнее десятилетие. Думаю, что пока на поверхности очень редко видны настоящие волны, но чувствуется, что вот-вот поднимется что-то очень существенное. Нельзя определенно сказать — будет ли это типично дагестанская проза или поэзия или некий результат общемировых веяний. От жизнеописания маленького человека литература стремительно уходит в сторону широкомасштабных полотен. Исторические перспективы для национальных литератур дадут импульс для развития искусства и в конечном итоге — для буксующей ныне экономики. Кто мы в этом мире? Мы, в смысле: человек, народ, культура, страна, человечество.

— Есть ли писатели, которые кроме родного языка, используют в своей литературной работе русский язык?

— Большинство писателей. И это характерная черта времени.

— А внимательны ли к современному развитию национальных литератур Дагестана русские переводчики, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России?

— Они не то что не внимательны, совершенно не привлечены к этой работе. И в этом виноваты мы сами. Не даем где разгуляться. Каждый из писателей, как после кораблекрушения, пытается спастись в одиночку. Не то чтобы они погибают без переводчиков, но о серьезной работе со специалистами и не думают. Переводческой деятельностью в Дагестане занимаются три, четыре человека, которые как под копирку выдают «шедевры».

— В условиях всемирной глобализации не поубавилось ли читателей, обращающихся к национальным литературам на родном языке?

— Вы правы, новые поколения выбирают китайский язык. Будете смеяться, но это правда времени. Традиционный читатель, читающий живую книгу, уходит. Молодежь больше передвигается и читает со своих телефонов на каком угодно из языков. Эти всемирные языки адаптировали свои литературы под гаджеты, и нам надо как-то устоять.

— Вы создали общественную организацию, объединяющую переводчиков Дагестана... Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее...

Прошел год как мы открыли общественную некоммерческую организацию Кавказский дом переводов. Работа строится по двум направлениям. Первое, безусловно, — создание переводческой среды на Кавказе. Мы не ставим узкую цель переводить только аварскую или кумыкскую поэзию, все должно быть шире. У нас общие беды и справиться можно только сообща. Переводить не только с национальных языков на русский, но и, скажем, на немецкий или тот же китайский.

Чтобы это было возможно, я планирую заложить Дом где-нибудь в горах, куда сможет приехать китайский или белорусский переводчик и поработать. Для специалистов это возможность попутешествовать и поработать. Подобное в Европе есть давно. Проект долгосрочный и потребует кропотливой работы: под тенью уже известных переводчиков взрастить молодых специалистов. Это поможет добиться открытия переводческого отделения на филологическом факультете Дагестанского Государственного университета.

— Вы еще и учредили книжную выставку в Махачкале. Несколько слов об этом проекте...

— Все очень просто. Когда ты создаешь газету и ставишь ее на ноги, приходит понимание, что она, в силу разных причин, не доходит до твоего читателя, начинаешь думать, как поступить дальше. У меня одна жизнь и я не хочу потратить ее на мелкие шараханья по киоскам и районным администрациям с просьбой о поддержке Кавказской литературной газеты. Если начать объяснять каждому чиновнику о важности литературного чтения, это породит только уныние и желание все бросить. А мне уже никто не позволит бросить «Горцев». Вот и подумалось мне три года назад о таком книжном форуме в Махачкале.

Надо сказать, что первый блин не вышел комом, и мы на энтузиазме провели книжную ярмарку «Тарки-Тау 2012». Тарки-Тау — это гора, у подножия которой находится столица Дагестана.

Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау» ставит перед собой большие задачи и ориентируется на отечественный и зарубежный опыт. Цель проекта — изменить ситуацию в образовании и воспитании подрастающего поколения. Учитывая спад интереса к книжной культуре и издательской деятельности, снижение требований, предъявляемых к авторам и типографиям, повсеместное нарушение авторских прав, наш книжный форум представляет реальный механизм взаимодействия всех этих сегментов. Это экспертные советы и литературные диспуты, перформансы и творческие встречи с известными писателями, художниками, на заключительном этапе — присуждение премии лучшему изданию, а главное — встреча с читателями. Остается добавить, что проводим ее традиционно во второй неделе октября. В этом году ярмарка пройдет с 9 по 12 октября. Приглашаем издательства Беларуси к сотрудничеству. Надо сказать, главное для нашей книжной ярмарки «Тарки-Тау» это не коммерческая выгода, а гуманитарная миссия. В этом году надеемся на участие в нашей книжной ярмарке редакций белорусских журналов «Нёман», «Полымя», Издательского дома «Звязда». Знаю, что белорусские коллеги презентуют в Махачкале многотомную серию книг «Созвучие сердец», в одном из томов которой нашлось место для литератур народов Кавказа.

— Знают ли в Дагестане белорусскую литературу?

— К сожалению, знают лишь те, кто приобщился к чтению в советский период. Мы испытываем существенный голод в отношении национальных литератур нашего бывшего общего пространства. Не могу говорить за всех дагестанцев, но вижу и слышу от многих: необходимо восстанавливать эти культурные связи. Мы несколько раз пытались пригласить на книжную ярмарку прозаика Светлану Алексиевич, но пока встреча не состоялась. Надеемся, что белорусские связи с Дагестаном все-таки станут плодотворными.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.



ХАСАНИ

Светильник сердца

* * *

Если ты живешь по духу, и по духу поступай,
Чтоб душа не раздвоилась на тропе, где ад и рай.
Пусть светильник сердца сеет в вечном храме дух в зерне.
Отдавая безраздельно все, что льется через край.

* * *

Страшно думать, что когда-то мы должны ответ держать
Перед Богом за роптанье, став идее подражать,
Что вокруг творится в жизни, ум не может объяснить —
Кто-то лжет, а кто-то любит сердце ядом поражать.

* * *

Кто сполна пред Богом платит за грехи, что не творил,
Тот, наверно, воздвигает мост душе в путях светил.
Он, быть может, и не знает, что расплата за других —
Божья воля к храму рая, где ворота рок открыл.

* * *

Наступил ли тот момент, чтобы стать продажным.
Или жить и не тужить индюком отважным.
Незадачливый народ все галдит и спорит,
Кто с сатирой, кто с вином, кто — любимцем важным.

* * *

Суда земного не приемлю, он часто может и грешить.
Где жизнь отравлена молвою, а кривду с правдой не сложить.
Перед судом наемной славы и цель, и суть — и смех, и грех,
А как тогда земною жизнью не во грехе привольно жить.

* * *

Я поклажу неземную в чайхане держу в вине.
И с Фатьмою луноликой пью, кручу любовь на дне.
Как порой противно это, но все тянет сатана,
Будто тянет души наши к соблазнительной войне.

* * *

Я недавно был в Мешхеде и услышал странный зов,
Будто слышу издалека лай и жажду своры псов.
Неужели так жестоки, так и мстительны века,
Что они впитали злобу, до сих пор пуская кровь.

* * *

Дураку дойти до сердца — самому быть дураком!
С этой истиной природы не всегда любой знаком.
И порою, как я мыслю, что чуть-чуть быть дураком —
Будет весело по жизни, но им быть нельзя силком.

* * *

Управлять мечтой не сможешь — в нас мечта как Божий суд,
Постиженьем тьмы и света к ней идет усердный люд.
Свет мечты, бывает, слепит; темнота, бывает, жжет,
Оттого что в сердце льется весь небесный властный труд.

* * *

Не тот любимец масс, кто зубы скалит с трона,
Где там, за султанатом, цветет посев притона.
А ждущие с надеждой глядят в уста султана,
И мнят, что с ним едины у них и ствол и крона.

* * *

Когда хвалили всех, тебя недохвалили.
Когда на рану — соль тебе не насолили.
Такой, видать, народ, где все не так уж просто,
Там позовут, там нет, а там и нагрузили.

* * *

Все сломаем, все разрушим, а затем построим вновь, —
Мы за это заплатили: слезы, горе, кровь за кровь...
Но уставшее сознанье приказало дальше жить,
И поднялись все с колен — каждый был на все готов.

* * *

Где века в песок уходят, а дворцы в руинах спят,
Где росток надежды слабой в ойкумене силой смят,
Я стою на том бархане, где округа вся видна,
И глаза прищурил с болью, как древнейший азиат.

* * *

Наша совесть убежала от стыда и от грехов
На какой-то непонятный, неземной далекий зов.
Видно, совесть не прижилась в наш могучий, жесткий век,
Где все вехи и эпохи не разгаданы с основ.

* * *

Нарушить нравы и законы — беда, что зреет впереди,
И потому у нас в округе не может люд собрать в ряды.
А дух все падает в бездумье, где честь и хаос сплетены,
И духом падшие не знают глубинных бед своей вражды.

* * *

Судить о любви без добра и без зла,
Похоже на притчу, где любишь козла,
Где гнев пожирает, огонь леденит,
Как будто бы в душу змея заползла.

* * *

Где плакатная победа помогает дух поднять,
А трагедии героев люди могут не понять, —
Там всеклассовые споры, как борьба имущих сил,
Где и жертва и победа одинаково пленят.

* * *

Любовь не красотою пленяет всех нас там,
Где и тоска со страстью уходят вглубь мечтам.
Страданьем сердце всюду преследует тот миг,
Который тайной долей прильнет, как зов к устам.

* * *

Мы ищем в мире равенство, а равенства все нет, —
То выдумка старинная, как пращура портрет.
Когда бы было равенство, то был бы ли закон.
Что выдумал свободу, а в ней — большой секрет.

* * *

Кто судимы — те далече, а ведь рок предупреждал,
Что не даст пощады всяким, тем, кто ждал и кто не ждал.

Наша тайная надежда о дозволенности здесь,
Не иное, как блаженство, кто себя себе продал.

* * *

Молящимся от страха я говорю: постойте!
Молитвами своими грехи вы не покроете.
Надеетесь, Аллах вам простит грехи земные,
Да вы и в храмах Божьих всю душу не откроете.

* * *

Из Мешхеда убежал я, где пленен был дамой зла,
Что запала в сердце болью, не любовью, что ползла.
Сколько ж там сердец разбил я чернооким феям тьмы.
О, Аллах, прости за то, что был я в образе козла.

* * *

Я для врагов — как недруг, в итоге мы — враги.
А от друзей-прохожих я слышу лишь шаги.
В такой заумной жизни мне чайхана как рай,
Рев ишака из хлева дороже, чем они.

* * *

Если умный ненавидит у другого ум и стать,
Как же может объясниться и советчиком он стать.
Видно, нас порой природа унижает и казнит,
Чтоб затем уму умнее красноречие придать.

* * *

Истеричными кругами мы обходим страшный брод,
Где султан с испугом смотрит на себя и на народ.
Небо хмурит горизонт свой, раздвигая вверх и вниз,
Даль иной раз видно ясно, а иной раз скрыт и свод.

* * *

Говорят, что в ойкумене все дворцы больны тоской,
А на улицах дерутся, нет управы никакой.
Ни сословия, ни классы в пестрой жизни не сильны.
А причина в недрах страха дремлет силой вековой.

* * *

Будто недруги султана нас терзают неспроста.
Полагая, что с народом совесть наша нечиста.
Как порой враги наивны, видя в массах власть и спесь.
Видя в массах ту сплоченность, без султана и креста.

* * *

Среди врагов ищу я, кто может другом стать.
Среди друзей, я знаю, есть скрытый злобный тать.
В среде такой, о Боже, где настоящий друг? —
Ведь в нашей стае трудно и знать и полагать.

* * *

Мой ишак поет и плачет, а о чем, я не пойму.
Он как будто заворожен и находится в плену.
Он не ест, не пьет, как раньше, все на улицу глядит,
Будто ждет мою Жулдузку, что за грех я прокляну.

* * *

Эй, гуляка, подожди ты до того как пить решить:
С каждой чашей некий дьявол может душу сторожить.
Ты, конечно, засмеешься и пойдешь — где пьют и льют.
Только даст ли сторож строгий долго так на свете жить.

* * *

Правду ту, что ищут сонно, могут лишь найти во сне,
Окруженную премудро спящей поступью извне.
Жизнь и смерть там без границы, а мечта — слепой узор.
Где душа смиренно бьется в заколдованной возне.

* * *

Издалека начнем мы и далеко вглядимся,
И будем вахту зрить мы и с вахтой той сроднимся.
Эй, прошлое, постой же, останься на минутку,
Не уступай пока нам, смотри, куда стремимся.

* * *

Где нам страшно, где нам больно, там наш ангел сторожит.
Там и шествие природы тайным знаком ворожит;
Там мечта, смешавшись с былью, в этих знаках ищет путь;
Там бессмертье не для жизни — жизнь сама его вершит.

* * *

Алкоголиком непьющим стал задумчивый сосед,
И теперь к нему стремятся кто и молод, кто и сед.
Видно, им послал Всевышний вразумленье и боязнь,
А в душе оставил краски, как унылый, горький след.

* * *

Твой гарем, мой повелитель, ночью месяц посетил
И увидел тех наложниц, что ты в жены обратил.

Разве ты ему дозволил нарушать ночной покой,
Души юные тревожить тем, что ласково светил.

* * *

Облака видны в окошко, как тотемы на ветру,
Что идут по Божьей воле над Мешхедом поутру.
А молитвы в Хорасане льют всю истину в сердца,
Будто ждет Аллах в аятах и любовь, и доброту.

* * *

Эта книга — плод раздумья в наши тяжкие года.
Где в султанах и царицах то веселье, то беда;
Эта книга о народе, а народ и так и сяк.
Растерявший силу духа и бредущий кто куда.

* * *

Нелегко найти врага по достоинству и праву,
Где все братья и друзья, да и сестры все на славу.
Только так не может быть, где сливаются невзгоды,
Где одни вражду таят, а другим не все по нраву.

* * *

Там, под ясным синим небом, где орел, как страж, парит,
Мирно спит страна родная и очаг тепло горит.
Отдыхай, мой край отцовский, после многих грозных лет,
Нынче сын твой просветленный гордо с миром говорит.





ЛУЛА КУНИ

Время Женщины

Новеллы

Дитя Любви

Она ушла...

Долго не могли поверить, что она могла вот так просто взять и уйти...

Центральный роддом жил обычной жизнью. По коридорам шаркали тапочками отяжелевшие отечные женщины с огромными животами в одинаково коротких, испещренных черными оттисками казенных штампов (не дай бог украдут или затеряют!), рубашках, которые постоянно, даже если тебя водят туда-сюда на осмотр, надо было — на каждом этаже — переодевать...

Все — на одно — без следов косметики (а вдруг это опасно для плода?) лицо и на одну же — без модного перманента, по той же причине, — абы-как — прическу...

Она выделялась ухоженностью любимой и умеющей быть любимой женщины.

Короткие черные волосы, заправленные за изящные ушки, изогнутые «домиком» длинные бровки. Маленькая статуэтка среди беременных мастодонтов, как подумалось мне при первой встрече.

Девочка-подросток? Оказалось — нет. Двадцать с коротеньким, словно ее вздернутый носик, хвостиком...

— Ты на сохранение?

Она презрительно сморщила носик:

— Телиться...

Потом, удивленно оглядевшись вокруг:

— Бог мой! Какие же вы все здесь безобразные! Как только на вас мужья смотрят?!

Соседки стыдливо натянули подолы коротких рубашонок на распухшие бедра.

— А ты местная?

— Мы вернулись... Месяца три назад уезжали с мужем в Челябинск. Но мне там все не по кайфу было. Вот рожу — уедем куда-нибудь...

Наступило оживление.

— А кого вы хотите?

— А какая разница? — погладила себя по аккуратненькому животику.

Опять смущение:

— Конечно, все от Бога...

Слухи ползли сквозняком по насквозь пропахшим больничным духом коридорам.

— Говорят, она выбирает приемных родителей получше...

— А что домашние?.. Ребенок-то от мужа!..

— Ну... нагуляли они ребенка до брака. Потом — поженились, уехали куда-то... А теперь — вот заявились.

— Они же могли родить его там, а потом — хай со всем этим — скостить как-нибудь сроки... Да придумали бы что-нибудь. Кто их там спрашивает... Ребенок ведь!

— Ее что-то там не устроило. Они умнее поступили. Сказали, что у нее выкидыш на четвертом месяце... Вон домашние под окнами ходят — переживают за нее.

— Да чтоб она сдохла!

— Не сдохнет. У них с мужем все на мази. Она уже три раза покормила ребенка грудью.

— ???

— Ну, вычитала где-то, что на этом ее долг выполнен.

Она ушла на рассвете.

Роддом жил своей обычной жизнью.

Всхлипывали во сне, натужно дыша в горячие подушки, будущие мамаши.

Неуклюжие.

Не очень умные.

С набухшими венами на отечных ногах.

Изредка покрикивали в родзале роженицы.

Тяжело — вперевалочку — утиной походкой — ходили толпой смотреть на родившихся, с красными сморщенными личиками, страшненьких, но до умопомрачения любимых младенцев.

Девочка была беленькая, аккуратненькая, с розовыми щечками...

Ее целовали, обильно заливая ее тугие щечки слезами и молоком: каждая кормила ее — сиротку — раньше своего, устроенного...

Девчонки-медсестры в кокетливых накрахмаленных шапочках считали своим долгом побаюкать ее разок-другой, сердобольно прижав к груди...

И каждая из этой сотни с лишним женщин прокляла ту — красивую, любимую, дерзкую... Прокляла истово, как может проклясть только мать... Сегодня, завтра, когда-нибудь... но мать.

Почему-то никто даже не вспомнил ее мужа — отца девочки.

По ту сторону Беды

Последний весенний месяц 95-го.

Небольшое фотоателье на окраине Урус-Мартана.

Люди молча толпятся в очереди.

Всем нужны фотографии на временные паспорта: просроченный — повод военным усомниться в твоей благонадежности.

Задержат при первом же паспортном контроле.

Уведут.

Или сгинешь без вести, или сгноят в душегубке...

Томимся в духоте.

Не по-весеннему жаркое солнце не торопится к закату.

Не слышно досужих разговоров. В глазах — тоска и уже привычная опустошенность.

Все, что можно, выплакали. Все, что могли и смели, высказали...

Ни эмоций, ни мыслей — покорное ожидание необратимости общей судьбы.

Неожиданно — легкое оживление в очереди...

Слышится чей-то сдавленный смешок, и тонкий девичий голосок, с грудным придыхом, выводит: «Ма! Подожди... Дай поправлю!»

И снова — бисеринками — смех.

Кому это так весело? Видно, не коснулось людей горе, если могут так заливаться смехом...

Рассчитавшись с фотографом, проталкиваюсь к выходу сквозь кучку зевак.

У самой двери стоит, неуклюже наклонившись, высокая пожилая женщина.

Маленькая девочка... нет, взрослая девушка — невысокая горбунья с удивительно чистым лицом — приглаживает ей волосы.

Старая мать смущенно оправдывается перед глазеющими: «Вот... хочет дочка свою мать на старости красавицей сделать...»

Девушка весело прыскает в ладошку...

Поднимает глаза и с нескрываемой любовью смотрит на мать.

Та, стесняясь посторонних, с нежностью наблюдает за суетящейся вокруг нее дочерью, покорно подставляя голову под ее хлопотливые ручки...

Помогая, заскорузлыми ладонями поправляет косынку на плечах...

«Несчастные...», — всхлипывающе, вздох рядом.

«Нет. Счастливые», — обрывает кто-то полушепотом.

Время Женщины

Маленькая девочка бежит по спящей долине.

С разбегу ныряет в цветочное марево. Желтое облачко пыльцы легко поднимается над нею, чтобы в мгновение ока быть унесенным ветром на край земли...

Крохотные ее пятки дынными ломтиками мелькают среди цветочных головок.

Она лежит — косичками вверх — в смятой траве, бездумно болтая ножками и сосредоточенно рассматривая глянцевые лепестки полевой ромашки...

Время Женщины...

Оно только начинает свой разбег.

Тугая пружина бытия еще молчит в ее спящем сердце.

Мир велик, и ей уютно в нем с ее нехитрыми детскими секретами, маленькими радостями и — взахлеб — беспредельными горестями.

Мир велик и не ждет времени пробуждения ее души, ибо секреты ее так и останутся наивными детскими секретами для этого искушенного мира, радости ее будут слишком малы, чтобы разбавить соль нежданных, застящих мир, горестей...

А сердце...

Пусть оно спит, не ведая о бездонности человеческих страстей, ни одна из которых не стоит его пробуждения от целомудренного сна.

Время Женщины...

Полет мотылька у ночной лампады.

Мерцание в эфире пушинки облетевшего на ветру одуванчика.

След птичьего крыла в зыбкой синеве рассветного неба...

Женщина.

Несущая в своем маленьком сердце негасимый огонь Любви ко всему сущему.

Рожденная для Любви — в Любви.

Мать рода человеческого.

Тихая искупительница его грехов.

Хранительница тайны сущего...

До — и после всего — Любовь, имя которой — Одиночество...

...Маленькая девочка бежит по тихой рассветной дороге.

Крохотные пятки ее утопают в толстой дорожной пыли.

Она привычно взмахивает маленькой хворостинкой, подгоняя задумчивую степенную корову, — та изредка замирает, словно прислушиваясь к бьющемуся в своей утробе сгустку жизни.

Тень от редких камней косо ложится на серую поверхность дороги, и девочка, помня о своих недавних ушибах, сторонится их, то и дело смешно подпрыгивая на тоненьких загорелых ножках.

Занимается новый день.

Многоликость Ханне-Вибеке Хольст

Ханне-Вибеке Хольст, датский писатель и журналист, занимает лидирующие позиции в литературном мире Скандинавии. Она популярный романист, известный по всей стране лектор, не боящийся призывать к решению насущных проблем общества. В их числе: права женщин, свобода в выборе образования и свобода сексуальных отношений. Ханне-Вибеке Хольст является членом датской национальной комиссии ЮНЕСКО, состоит в президиуме ассоциации «Секс и Общество», а с 1999 года — посол Доброй Воли ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения).

Дочь писателей Кнуда и Уирстен Хольст, Ханне-Вибеке родилась в 1959 году в городе Йорринг. Отучившись в гимназии Бренерслев, поступила в Высшую школу журналистики, после окончания которой работала журналистом в известных датских газетах «Берлинске Тилэрне» и «Сендэйс — Би Ти».

Ее писательский дебют состоялся в 1980 году, когда увидел свет молодежный роман «Привет, Майа». За ним последовали романы «Летом» (1985), «Поцелуй в ночи» (1986) и «Чистое сердце» (1990), объединившиеся в «Трилогию о Луисе», где нашли отображение внутренние противоречия молодой женщины, борьба за образование, любовь и проблемы выбора.

Следующие два приключенческих романа «Состояние Терезы» (1992) и «Настоящая жизнь» (1994) рассчитаны на взрослую аудиторию. С помощью искрометного юмора и аналитического приема Ханне-Вибеке обнажает конфликт между работой и материнством, возникший у умной, амбициозной женщины-репортера, до беременности ощущавшей себя в мужской среде как рыба в воде. В 1998 году писательница завершает трилогию о журналисте Терезе романом «Счастливица», привлекшим внимание читателей к проблемам современной женщины, пытающейся совместить любовь, карьеру и воспитание детей.

Читательский круг писательницы расширился после выхода автобиографического эссе «Головная боль моей тетки» (1999) о тех же проблемах, но уже с личностной оценкой и воспоминаниями из детства.

В 2000 году на прилавках книжных магазинов появляется книга-интервью о транссексуалах «Превращение в женщину. Как Пер стал Пией».

Тем не менее, Хольст не ограничивается данной тематикой. Последующие три романа («Кронпринцесса», «Убийство короля», «Жертва королевы»), которые были экранизированы, носят политический характер и описывают политические игры, дилеммы и зачастую вынужденные жертвы в датском парламенте периода 2002—2009 годов.

В 2011 году вышел исторический роман-хроника «Прощение», обретший невероятную популярность и ставший бестселлером. Действие начинается во времена немецкой оккупации Дании в 1940 году, продолжается в Швеции, опять в Дании, затем в Париже в 1950—1960 годах. В конце 1980 годов читатель уже находится в Советском Союзе. Заканчивается роман в наше время в Берлине и Копенгагене. Писательница раскрывает семейные тайны нескольких поколений, не боясь, что откроет ящик Пандоры.

Последний роман Ханне-Вибеке Хольст «Великий Кнуд» (2013) еще больше потряс читателей. Она описывает жизненный путь родного отца, писателя Кнуда

Хольста, с момента рождения на скромной скотоводческой ферме в 1936 году до его смерти в больнице города Ольборг в 1995 году Роман был воспринят на ура. О том, что пришлось пережить отцу, и как работа над произведением изменила саму писательницу, можно узнать, прочитав историю жизни Кнуда Хольста.

Произведения Хольст переведены на многие языки: английский, немецкий, итальянский, шведский, норвежский, исландский и др.

Ханне-Вибеке Хольст является обладателем множества премий и призов: приз Высшей школы Хадстен (2007) — за вклад в общественную деятельность; Писательский приз Библиотечного Фонда Эдварда Педерсена (2008) — приз дается писателю за необычайный вклад в датскую литературу; «Золотой Лавр» (2008) — издательский приз и другие.

Юлия БЕЛАВИНА



ХАННЕ-ВИБЕКЕ ХОЛЬСТ

Поцелуй в ночи

Главы из романа

«Без паники! Чего боишься, сестренка?»

«Поцелуй в ночи» — вторая книга из «Трилогии о Луисе». В первой части «Летом» мы встречаем юную девушку Луисе, оканчивающую последний класс школы в маленьком, непримечательном городке Венсюссель в Северной Ютландии. Вместе с подругой Стине, с которой она познакомилась накануне школьной вечеринки за жаркой котлет, девушка старается привнести разнообразие в скучную и размеренную жизнь города. Все, о чем Луисе и Стине мечтают — поскорее окончить школу и летом вместе отправиться покорять мир. Грандиозные планы в одночасье рушатся, когда Стине попадает под влияние Грегерса, художника из Копенгагена, а молодой человек Луисе, Анерс, собирается в Австралию, чтобы заработать денег на скотоводческой ферме.

Во второй части мы оказываемся с Луисе в Копенгагене, оставив Стине в Париже, который последняя наотрез отказалась покидать, по уши влюбившись во француза после нескольких дней знакомства. Перед нами предстает следующая картина: Луисе абсолютно одна, без друзей, в большом городе, собирается учиться в Архитектурной Школе. Она сомневается в себе, в своих силах. Кто она? Простая деревенская девчонка, непримечательная внешне, без особых талантов, то есть, одна из многих, которых ежедневно можно встретить на улице во всем мире. Рассказывая о жизни Луисе в Копенгагене, Хольст реалистично, без прикрас и деталей, прослеживает процесс адаптации героини к новым условиям и новой жизни. Автор не дает ни оценочных, ни эмоциональных характеристик происходящему. А что, собственно, происходит? Мы наблюдаем процесс становления и развития личности; поиск себя;

попытку Луисе понять «кто я» сейчас и кем хочу стать через пять-десять лет; осознание женственности и притягательности. Изменения, конечно, происходят. Она заводит новые знакомства, расширяет кругозор, читая Карен Бликсен, и усердно корпит над учебниками. Но хватит ли этого, чтобы побороть «комплекс провинциалки» и найти свое место в жизни? А, может, достаточно просто обновить гардероб?

Данные вопросы не оставляют Луисе ни днем, ни ночью. Она не уверена в себе, проводит все свободное время в учебе, стараясь доказать, что она тоже чего-то стоит в преимущественно мужском мире архитекторов. Там она встречает Йеспера — неординарного, ироничного, но умного и образованного студента Школы. Он очарован ею и бросает все силы на покорение девушки. Луисе не в состоянии понять себя: какая-то часть ее сердца тянется к Йесперу, но ведь где-то в далекой Австралии есть Анерс, которого она любит, и который еженедельно шлет письма. Опять борьба.

Зимой на девушку внезапно накатывает депрессия. Не просто депрессия, а желание покончить с собой. Она даже анализирует, что лучше выбрать: бритву, снотворное или броситься под поезд. Возникает очередной вопрос: «Что это: слабость характера, усталость от бесконечных попыток доказать окружающим, что Луисе на что-то способна, или следующий этап становления личности?

Наступает весна, и словно в награду за страдания и преодоление депрессии, судьба посылает героине встречу с клоуном — американцем Питером. Эта встреча переворачивает ее начинающую стабилизироваться жизнь вверх тормашками. Она понимает, это Настоящая Любовь, невзирая на один день знакомства. Луисе забывает о любящем и ждущем свидания Анерсе. Но счастье зыбко. На следующий день Питер умирает от кровоизлияния в мозг. Мир разлетается на куски, теряется смысл жизни.

На пике ее горя возвращается Анерс. Сможет ли она собраться с силами, усвоить жизненный урок и двигаться дальше? Возможно, ответ на вопрос заключается в последней фразе романа: «Рядом со зданием аэропорта расцветала роза».

Глава 1

Это ты сперла мою крысу?

Луисе подскочила от испуга и обернулась на девочку в дверях, похожую на приведение: бледную, худую, на белом как мел лице глаза выглядели бездонными. Всклокоченные волосы такие же черные как сбившиеся вниз гольфы и майка, свободно болтающаяся на худеньком тельце. В одном ухе — пластиковая серьга-череп.

— Что? — Луисе вопросительно взглянула на девочку, которая, не дождавшись ответа, прошмыгнула мимо нее в комнату.

— Фрэнки! — крикнула она и опустилась на колени перед альковом. — Вот ты где прячешься!

Очевидно, там никого не было, потому что девочка выпрямилась, пробормотав: «Вот дерьмо». Внимательно осмотрела комнату и проскользнула мимо Луисе, наблюдавшую за происходящим из кухни.

— Слышь, увидишь белую крысу на черном поводке, так знай, она — моя! Я живу наверху. Кстати, меня зовут Бонни, — добавила она, прошла через кухню и вышла, хлопнув дверью, не дав Луисе возможности произнести ни слова.

Луисе могла бы сказать: «Привет» или обменяться парой реплик о погоде, ведь Бонни — первая, кто ей встретился в Учреждении. С тех пор как она распрощалась с родителями, привезшими ее и скромные пожитки днем ранее в Копенгаген, она не разговаривала ни с одной живой душой.

Луисе получила комнату в «Учреждении для девочек им. Коммандора Бергрена» благодаря Стине и кому-то из ее бесчисленных дядюшек-тетушек и прочей родни. Ей казалось, что заведение больше похоже на монастырь, но у нее не было выбора.

Через несколько дней начинались занятия в Архитектурной Школе и, чтобы не спать на вокзале, накрывшись мешком из-под отходов, Луисе была вынуждена согласиться. Наконец она тут, и все очень круто: кухонька, туалет, душ. Комната светлая, хоть и располагалась на первом этаже. Из старого трехстворчатого окна открывался вид на сад с высоким, ветвистым каштаном, клумбы роз и выкрашенную в белый цвет скамейку.

Но все-таки... Она не представляла, как будет жить одна в миниатюрной каморке на Кристинсхаун в абсолютно незнакомом городе. Планировалось, она будет жить со Стине в квартире с высокими лепнеными потолками и поцарапанным паркетным полом. Ведь они договорились об этом, когда протрезвели после выпускного экзамена.

Стине уже сняла квартиру; все лето им не давали покоя мысли, как здорово будет жить вместе в Копенгагене. Луисе поступила в Архитектурную Школу, Стине практически получила работу телефонистки в рекламном агентстве.

Летом они работали как каторжные за минимальную плату в курортной гостинице на западном побережье. Раздражали немцы, ведущие себя, словно гостиница принадлежала только им. Девушки сжимали зубы при виде пьяных норвежцев, которых тошнило по углам, и напоминали друг другу, что зимой наступит их черед радоваться. И тогда начнется настоящая жизнь!

Их мечты — единственное, что спасало Луисе от депрессии, когда Анерс уехал в самый разгар лета. В тот день, когда он, последний пассажир, с рюкзаком на одном плече, прошел по взлетно-посадочной полосе и исчез в самолете компании САС, она ощутила, будто у нее вырвали сердце. Самолет с ревом помчался по взлетной полосе, резко оторвался от земли и исчез в облаках. Луисе была готова последовать за ним на другой край земли. Да, она бы многое отдала, чтобы побыть с ним еще хоть чуточку.

Потерянная, она смотрела в окно на самолет, который разлучал их со скоростью 900 миль в час. Они смогут увидеться самое раннее — через год, а то и через два. Несмотря на то, что их «отношения возобновились», Анерс твердо решил уехать работать на скотном дворе в австралийской пустыне. Он же обещал. К тому же, ему всегда хотелось поехать туда, где мальчики становятся мужчинами, а мужчины — мальчиками, как он говорил с кривой усмешкой.

Весь месяц перед его отъездом они по возможности проводили каждую минуту вместе. Анерс занимался хозяйством, его отец до сих пор приходил в себя после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска, а Луисе вкалывала на смертельно скучной работе в гостинице. В свободное время они гуляли, держась за руки, и делали все, что превращает будущую разлуку в невыносимую: купались обнаженные ночью, ели клубнику на завтрак, делились тайнами, занимались любовью и спали рядышком.

Чем ближе приближался День, тем больше они сближались. Луисе помогала ему со стиркой, выбором книг для долгих зимних вечеров, покупала пену для бритья и новые трусы. В последний вечер она подарила ему ежедневник и старинную ручку, а он ей — серебряное кольцо с двумя бирюзовыми камнями. «Как твои глаза», — сказал он и поцеловал ее.

Ночью они вообще не спали, тихо лежали и шептались, пока не рассвело.

«Всемирная литература» в «Немане»

— Мы будем писать каждую неделю, правда?

Конечно, мы никогда не должны забывать друг о друге, — говорили они, когда запели первые птицы. Оба боялись, что уже никогда не будет так, как прежде.

Спустя какое-то время Луисе и Стине ехали на поезде на юг Европы с рюкзаками за спиной и кошельками на шее, упакованными в непромокаемые мешочки.

В принципе, Луисе не хотела уезжать. Она бы предпочла лежать на кровати и вдыхать запах старого свитера, оставленного Анерсом, смотреть на их школьные фотографии, пребывать в романтических воспоминаниях и жалеть себя.

Но Стине настояла на отъезде. К тому же она безумно устала от бесконечных глубоких вздохов и писем.

— Тоже мне, развела тут «Страдания молодого Вертера»! — сказала она яростно, спустя несколько недель после того, как Анерс уехал, и потащила Луисе в город, чтобы купить билеты.

Достаточно было оказаться у Испанской Лестницы в Риме, распить бутылку Кьянти на двоих и послушать парня, играющего на гитаре, чтобы убедиться в том, что жизнь существует за пределами аэропорта в Ольборге.

Когда они, блестящие от масла для загара, лежали на пляже Греции, Луисе обнаружила, что может не думать об Анерсе на протяжении нескольких минут подряд. Луисе предвкушала возвращение домой, и вот они, загорелые, с выгоревшими волосами, едут опять на север.

Это случилось, когда паром плыл из Патраса в Бриндиси. Девушки встретили двух молодых людей, направляющихся в Париж, и не успели они раскурить первый косячок гашиша на палубе, как у Стине поехала крыша. Где-то через четверть часа она была страстно влюблена в черноволосого Мишеля с вьющимися волосами и грязными ногами. Луисе заметила происходящее и попробовала увести Стине, но тщетно. На следующее утро, когда паром причалил к итальянскому побережью, стало совершенно очевидно, что Стине не могла жить без Мишеля.

Катастрофа заключалась в том, что он испытывал такие же чувства. Пока его друг Пьер пытался хоть как-то вразумить его, Луисе отчаянно старалась вернуть Стине на землю. Бесполезно. При расставании в Милане последовало море слез и жаркие заверения в любви на непонятном французском и ломаном английском, где влюбленные окончательно решили, что Стине приедет к Мишелю как можно скорее.

Как ни просила Луисе по пути домой, как ни ругалась, Стине была непоколебима. Она решила уехать, невзирая на то, что нарушала договор с Луисе и предавала ее.

Луисе так обиделась, что ей даже было сложно признаться в этом самой себе. Она никогда не думала, что Стине настолько наплевать на нее, но, тем не менее, не могла упрекнуть подругу. Она боялась, что Стине напомнит ей о недавнем случае, когда Луисе совершила самый смертный из всех грехов — отбила парня у лучшей подруги. Ее до сих пор мучает совесть при воспоминании о Грегерсе.

Меньше, чем за неделю по возвращении Стине удалось убедить родителей в гениальности ее идеи — срочной поездки в Париж. Вдобавок, они согласились отдать аванс ее детских накоплений в банке за 3 года до окончания срока.

За два дня до отъезда она нашла комнату для Луисе, у которой не было ни желания, ни денег жить одной в большой квартире. Потом Стине уехала.

Луисе осталась в Копенгагене без малейших представлений о будущей жизни.

Луисе услышала, как Бонни зовет питомца на лестнице. Белая крыса на поводке! Боже сохрани! Если все копенгагенцы такие, то будет однозначно весело.

Она подошла к плите, налила кипяток из большого чайника в кружку с растворимым кофе, помешала, зажгла сигарету и отнесла кружку в комнату. Наверху у Бонни играла пластинка с дикими джунглиподобными звуками. Неудивительно, почему от нее сбежала крыса!

Луисе села на раскладной стул и осмотрелась. Коробки были наполовину распакованы: книжки, одежда, пластинки и кухонная утварь раскиданы на лакированном деревянном полу. Может, покрасить пол в светло-серый? Белые стены тоже нуждались в основательной покраске. Но это подождет. Неизвестно, задержится ли она здесь надолго. Скорей всего, Стине быстро вернется домой.

Она протянула руку за первой открыткой от подруги: «Это суперски! Без ума от Мишеля и научилась говорить «je t'aime». Обнимаю, твоя Стине».

Письма от Анерса были более содержательны. Он писал не столько об Австралии, а о том, как он скучал по ней. «Почему человек уезжает, когда тот, кого он ищет, находится совсем рядом?»

Какой он милый! Ей нужно навести порядок и написать ему! Луисе встала, чтобы открыть окно. Прямо под рамой по стене ползла желтая роза. Девушка перегнулась через подоконник и принюхалась. Аромат цветка чем-то напоминал парфюм, который они с младшей сестрой Лиз делали детьми из дикой розы и воды и продавали в пивном ларьке на площади.

Луисе выпрямилась и увидела девушку, которая тащила велосипед по узким улочкам, ведущим к Учреждению с улицы Овенгаден через канал. Мерцающие на ярком августовском солнце рыжие волосы покрывал зеленый платок, а черная юбка развивалась на ветру. Велосипедная корзинка была наполнена бумажными пакетами из овощного магазина, в углу торчал большой букет ноготков. Она выглядела настолько здоровой, бодрой и нежной, как будто проходила практику на свежем воздухе все лето.

Девушка дружелюбно улыбнулась Луисе, когда проходила через ворота.

— Привет, это ты только что въехала? — спросила девушка, ставя велосипед у стены под окном Луисе. Луисе кивнула и осторожно улыбнулась в ответ.

— Я заскочу на секунду? — Девушка защелкнула замок на велосипеде и вытащила корзинку.

— У меня не убрано, — сказала Луисе, но девушка заверила, что ей все равно, и через секунду она стояла в кухне.

— Меня зовут Нанна, — улыбнулась она и протянула руку для рукопожатия; на другой руке висела велосипедная корзинка. — Я провела несколько дней за городом, так что извини, что раньше не объявлялась. Я — твоя соседка по лестничной площадке.

— А я — Луисе. Я въехала только позавчера.

— Ты из Ютландии? — спросила Нанна, и Луисе рассказала, откуда она родом, что она только что сдала вступительные экзамены и начинает учиться в Архитектурной Школе с первого сентября.

— Ты кого-нибудь знаешь в Копенгагене?

— Нет, единственная, с кем я разговаривала, это Бонни.

— А! Ну это нечто! Но мы не все такие, — успокоила Нанна. — Должна бежать, но если ты дома вечером, могу зайти, попьем чайку. Узнаешь, кто тут живет. Большинство — очень даже милые.

«Всемирная литература» в «Немане»

Нанна ушла, и Луисе сразу занялась делом. К вечеру она разложила бумагу для полок в шкафы, разобрала коробки, поставила книги на полку, повесила рамку на стену и поставила лампу на новый письменный стол из Икеа, который подарили ей родители вместе с двумя хромированными складными стульями.

Когда она настроила стерео-систему и поставила пластинку, то почувствовала себя как дома.

— Боже, как классно! — воскликнула Нанна, войдя в комнату.

— Да, но еще столько осталось. Мама шьет новые занавески, — ответила Луисе из кухни, ставя цветы (ноготки из велосипедной корзинки, подаренные Нанной на новоселье) в банку из-под варенья.

Луисе поставила букет на письменный стол, где цветы засветились оранжевым цветом между чайником, печеньем с сыром, сливами в миске и темными кусочками шоколада на блюдце.

Вероятно, Нанна была не голодна, так как съела всего одно печенье и совсем не притронулась к шоколаду. Но, убедившись, что сливы вымыты, заглотила четыре штуки, одну за другой.

— Я, наверное, помешана на здоровье, — объяснила она и рассказала, что работает в магазине здоровой пищи и зарплату получает продуктами. То есть экологически чистыми овощами, зеленью, козьим сыром, натуральным рисом, сушеной чечевицей и прочим. Она бегает по утрам, ходит на мануальную терапию и йогу несколько раз в неделю. Иногда, когда есть деньги, посещает курсы выходного дня по голоданию, массажу или альтернативной выпечке хлеба.

— Думаю, когда-нибудь смогла бы прекрасно жить в Сванхольм-коллективе. Знаешь, такие большие коллективы. Или принять участие в открытии экологически чистого ресторана. Но сейчас надо начать заниматься литературоведением в университете, иначе я никем не стану, — вздохнула она и покачала большой головой.

— Ну да, — произнесла Луисе и пожалела, что не смогла ответить нечто более глубокомысленное. Она хотела понравиться Нанне, но ее буквально парализовало от всего «здорового». Она была голодна как волк, и ей не давало покоя непреодолимое желание наброситься на печенье и шоколад. Луисе потянулась за сливами — они более полезны.

— Сколько ты тут живешь? — спросила она с целью просчитать возраст Нанны. Должно быть, где-то между 18 и 28.

— Год. В прошлом году начала учиться. Здесь живут неплохие девчонки и, к тому же, дешево и в центре. Правда, попасть сюда очень сложно, если не знаешь кого-нибудь, кто знает кого-то. Многие годами стоят на очереди. А как тебе удалось? — спросила Нанна, попивая чай маленькими глотками.

— Подруга помогла. Я не знала, что место такое популярное, — извиняющимся тоном произнесла Луисе. Она и представить не могла, что люди стоят в очереди, чтобы попасть в монастырь.

— Мы должны были вместе жить в квартире, — добавила она в качестве дополнительно смягчающего обстоятельства и рассказала историю о скоропалительной поездке Стине в Париж. Нанна внимательно слушала. Тогда Луисе рассказала об Анерсе. Внезапно чайник оказался пустым, шоколад загадочным образом исчез, Луисе поделилась историей жизни, включая неприятный роман с Грегерсом, с абсолютно незнакомым человеком.

Ее начал бить озноб, и она почувствовала себя обнаженной. Нанна улыбнулась и сказала, что Анерс производит впечатление хорошего парня.

— Я подумала, не хочешь присоединиться к нашему кулинарному клубу? Нас несколько человек; мы вместе обедаем раз в неделю. Завтра у меня. Я могла бы их спросить, можешь ли ты быть с нами.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Да, конечно! Чертовски хочу!

— Отлично, — сказала Нанна и собралась уходить. Ей вставать рано утром, она придерживается жесткого принципа: ложиться, самое позднее, в одиннадцать вечера, чтобы сон был не менее восьми часов.

— Увидимся, — попрощалась Нанна.

— До встречи, — ответила Луисе с облегчением, что нашелся хотя бы один нормальный человек в этом доме.

Глава 2

«Без паники! Чего боишься, сестренка? Думаешь, съедят тебя?» — бормотала Луисе под нос, пытаясь успокоить засевший в груди растущий страх. Девушка остановилась на красный цвет светофора у канала Хольменс. В первый день сентября на пути в Архитектурную Школу она внезапно ощутила, как смелость покинула ее, и ей овладело сильнейшее желание развернуться и пойти в противоположную сторону.

Но вот цвет сменился на зеленый, и она последовала за толпой благоухающих чистотой велосипедистов в свежевыглаженных одеждах, едущих на работу. К следующему светофору она убедила себя в том, что бояться нечего. Луисе знала, что отлично выглядит в голубой джинсовой рубашке и новых джинсах. Коса заплетена идеально, и загар еще сохранился с той поездки. Велосипед наконец-то доставлен ДиэСБи. Она уже начала знакомиться с городом; за последние дни поездила вокруг и нашла почту, платную прачечную и ближайшую телефонную будку. Луисе не могла сетовать на одиночество и покинутость, так как стала членом кулинарного клуба.

В четверг она встретилась с девушками у Нанны, которая сервировала луковый пирог и салат. Комната последней напоминала парник или зимний сад: вокруг царило изобилие зеленых растений в белых горшках.

Троих других девушек звали Улла, Бритт и Ингрид. Бритт хотела стать дизайнером и собиралась учиться в платной Школе Искусств. Улла жила на пособие, но надеялась получить работу фоторепортера. Ингер ушла рано и показалась более замкнутой по сравнению с прикольными и интересными девчонками, такими, как Нанна.

Луисе находилась под сильным впечатлением и в то же время ощущала себя непривычно неуверенной в их обществе. Улла, Бритт и Ингер — каждая сама по себе была супермодной, запросто отпускала остроумные и меткие замечания и выглядела по-особенному умной. Они обладали стилем.

Луисе стиля не хватало. Проблема заключалась в языке. Когда она произносила реплику, то ее речь звучала как на общем собрании профсоюза датских крестьян. Как можно быть настолько неосмотрительными, позволяя детям жить в месте, где изъясняются как вшивые крестьяне?

Чувство уверенности вновь исчезло, когда Луисе подошла к Архитектурной Школе и поставила велосипед в штатив. Скорей всего, самое лучшее — помолчать в первые дни. Архитектор? Как ей пришло в голову поступать сюда? Она же не умеет ни рисовать, ни просчитать кубическое уравнение.

Очевидно, она — одна во всем потоке, которую мучали сомнения. Во всяком случае, ей так показалось при взгляде на студентов, собиравшихся в актовом зале на приветственную речь ректора Школы. Многие были не одни; кто-то громко здоровался с друзьями через несколько рядов. Луисе чувствовала себя первоклассницей и единственной, пришедшей в школу без мамы.

«Всемирная литература» в «Немане»

— Позвольте сердечно поприветствовать вас в Архитектурной Школе Академии Искусств, — начала ректор, но прервалась, когда дверь открылась, и в зал вальяжной походкой вошел долговязый темноволосый парень.

— Доброе утро, Йеспер! — сказала ректор насмешливо, взглянув на него поверх очков перед тем, как продолжить.

Парень широко улыбнулся в ответ и сел на свободный стул рядом с Луисе, поспешившей убрать свой рюкзак.

— Чао, — произнес он тихим голосом. — Новенькая?

Луисе кивнула.

— Старенький?

— Двадцать один год, второй курс. Рост — метр восемьдесят три в обуви. Зовут Йеспер.

Луисе улыбнулась. Взгляд ректора на мгновение задержался на них; она продолжала рассказывать о предмете «Архитектура», «прекрасном образовании и новых задачах», которые им предстоит решить.

Оказалось, Йеспер по воле случая назначен руководителем в группу, в которой Луисе проходила неделю введения в учебный процесс. В первый же день экскурсии по кафедрам Школы Луисе обнаружила, что все знают Йеспера.

Когда Йеспер входил в аудиторию, вся деятельность замирала, внимание концентрировалось на нем. Студенты, учителя, профессора — все старались завладеть его вниманием: провоцируя, говоря комплименты, ругаясь или флиртуя. В их группе он тоже стал центральной фигурой: девушки и парни собирались вокруг него.

Йеспер принимал поклонение как должное, не забывая выбирать любимчиков. Одной из них оказалась Луисе; возможно, из-за того, что она одна не состояла в команде почитателей и держалась на некотором расстоянии.

Когда он в первый день пригласил ее выпить с ним кофе в школьном кафе, она отказалась, но на другой день сдалась и села к нему за столик; остальные из группы косились на нее. Разумеется, уединиться с Королем — не очень социально.

— Наконец-то одни, — пробормотал Йеспер, лавируя с двумя жестяными кружками кофе. Их уединение было нарушено товарищами Йеспера.

— Исчезните! — рявкнул Йеспер. — Не можете найти другого места? Мы, между прочим, разговариваем!

— Спасибо за приветствие от всего сердца! А мы-то думали, ты по нам скучал. Кто эта прекрасная молодая дама? — спросил бородатый парень с тонкими волосами и круглыми зеркальными солнечными очками.

— Меня зовут Луисе, — кратко ответила Луисе. Ей не нравилось, когда о ней говорили в третьем лице.

— Ты ведь из Орхуса, верно? — улыбнулся второй, коротко подстриженный прыщавый парень.

— Очень весело, — сухо ответила Луисе и стала дуть на кофе.

— Сожалею о своем низком интеллектуальном уровне, — сказал Йеспер. — Но это ответ Архитектурной Школы на Дюпон и Дюпонн[1] — Кла́ус и Клау́с.

— Вот он — постмодернистское издание Дон Жуана, — отреагировал Кла́ус, указывая на Йеспера.

— Они в Орхусе не понимают таких иностранных слов, — ответил Клау́с.

[1] Дюпон и Дюпонн — отважные полицейские из «Приключений Тинтина» (прим. пер.).

— Я вообще-то не из Орхуса, — Луисе попыталась отвлечь внимание, чтобы не признаваться, что не имела ни малейшего представления о том, что такое постмодерн. Хотя слово звучало впечатляюще.

Ей не следовало беспокоиться, так как Йеспер молниеносно начал ругаться с Кла́усом и Клау́сом о том, чем является постмодерн и чем не является, и насколько он вышел из моды, если вышел. Они бросали имена архитекторов и названия стилей в лицо друг другу: классицизм, неоклассицизм, палаттио, баухау, Мис ван дер Рое, Ле Корбюзье и Альдо Росси. Луисе стало не по себе. Как рыбе без хвоста. Если после двух лет занятий чепухой она до сих пор не отличает ионийскую колонну от дорической, то как она когда-нибудь сможет обсуждать роль архитектуры в двадцатом веке?

В первые выходные первокурсники отправились в кемпинг на Зеландию, где известные архитекторы читали лекции о развитии архитектуры, и двое старшекурсников рассказывали о работе по специальности в школе. В гимназии Луисе всегда записывалась на подобные туры, но сейчас она не горела желанием. Что это даст? В путешествии она разговорилась со шведкой Леной, которая откровенно призналась, что находится в чрезвычайном смятении и неуверенности. Все вокруг были заняты попытками произвести впечатление друг на друга, рассказывая о необычайных приключениях и планах: кто-то побывал на карнавале в Рио, второй пробовал засахаренное сердце обезьяны в Шанхае, третий видел корриду в Памплоне, четвертый будет организовывать грандиозное событие на площади перед королевским дворцом Амальенборг Слотсплэс.

— Я скоро встану на стол и прокукарекую по-петушиному, если они не прекратят, — пробормотала Лена за спиной Луисе.

Спустя неделю дела пошли в гору. Луисе уже не прыгала от радости, как безумная, перед походом в столовую и почти привыкла к общему туалету для мужчин и женщин.

Потратив состояние в студенческой книжной лавке на разные инструменты и материалы — циркуль, бумагу, тубус, папки, рейсшину, простые и цветные карандаши, рейсфедер, акварельные краски — почувствовала себя почти настоящим архитектором.

Они с Леной записались на отделение, где занимался Йеспер. Луисе в общем-то хотела записаться на какое-нибудь другое, но после того, как Лена предложила вместе заниматься на отделении строительной техники, и Йеспер произнес убедительную и захватывающую речь, позволила себя переубедить.

Вдобавок, отделение не занималось радикальными постройками и сохраняло политический нейтралитет, разрабатывало проекты для небольших городков на острове Фюн и т. д. Подобная позиция говорила Луисе больше, нежели строительство фабрик и блочных домов для тысяч фабричных работников.

В пятницу вечером они организовали институтскую вечеринку. Они хотели встряхнуть отделенческих новичков и дедов. Луисе вызвалась жарить котлеты для общего стола (в складчину), не представляя насколько сложно жарить котлеты на сорок человек на кухне площадью два квадратных метра. По дороге из института домой ее осенило, что у нее нет даже сковороды, и теперь придется ехать за ней в магазин Даеллс.

Улла сидела в саду, держа фотоаппарат наготове. Она щелкнула затвором, как только Луисе, нагруженная массой свиного фарша и килограммом лука, проехала на велосипеде через ворота.

— О, нет, я отвратительно выгляжу! — воскликнула Луисе и отвернулась.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Не переживай, там нет пленки. Просто здесь такое шикарное освещение, а у меня нет пленки. Я сейчас на мели, в понедельник сбегаю в банк за монетками.

Не снимая фотоаппарат с шеи, она пальцами ног подцепила стоптанные красные мокасины из-под садового столика и пошлепала к Луисе.

— Ну и как дела у архитекторов?

— Очень хорошо. Если исключить, что я должна нажарить восемьдесят котлет к половине восьмого.

— Помочь? Мне шикарно удаются любые котлетки. Ведь все лето проработала главным поваром в кемпинге, — объяснила Улла, придерживая дверь для Луисе.

Улла, как профессиональный шеф, мгновенно нарезала лук и переняла командование на кухне, не замолкая ни на секунду. В основном о парнях, с кем у нее, очевидно, были достаточно запутанные отношения.

— У тебя в Школе водятся какие-нибудь классные чуваки?

— Не-а, они все отстойные, — ответила Луисе и перевернула порцию котлеток на сковороде. Там будет Йеспер, но она не хотела о нем рассказывать.

К тому же, он далеко не красавчик, если Улла именно это имела в виду под «классными». Взъерошенные длинные темные волосы, слишком глубокая посадка глаз, отколотый кусочек у переднего зуба. Тем не менее, Луисе не могла не признать, что-то в нем вызывало особенные флюиды у собеседника.

— Вы курицу жарите? — Нанна просунула голову в открытое кухонное окно.

— Котлеты, мадам, — Улла сунула ей в рот теплую котлету.

— Фу, Улла! Ты же знаешь, я — вегетарианка, — укорительно произнесла Нанна и скорчила кислую мину.

— Да брось ты, лицемерка! Ты обожаешь мясо! — Улла улыбнулась и взяла котлетку. — Не одолжишь сто крон до понедельника?

— Нет, я сама на мели, — ответила Нанна и облизала пальцы.

— Вранье! Ты бываешь на мели только четверть часа, пока едешь домой и берешь деньги у мамочки!

— Что ты об этом знаешь? — огрызнулась Нанна, наклонилась к велосипеду и с небольшим треском открыла замок.

— Заткнись, лучше одолжи бабок! Отдам в понедельник, как только откроется банк!

— Я сказала, у меня нет денег! Пока, Луисе! Увидимся в понедельник! Уезжаю за город на все выходные, — Нанна подмигнула Луисе, стоявшей у плиты. Луисе не понравилась манера разговора девушек. Так друг с другом не говорят.

— Опять она обиделась, — сказала Улла и пожала плечами, когда Нанна уехала за пределы слышимости. — Какая же она чувствительная! Прямо дама из благородного семейства! Одолжишь мне денег на выходные?

— Да, конечно, — неохотно согласилась Луисе. Она бы предпочла занять сторону Нанны.

Луисе пребывала не в самом праздничном настроении, подъехав с котлетами к Школе. Комитет по организации праздника накрыл стол в форме подковы так, что Луисе оказалась рядом с Леной далеко от Йеспера. Кла́ус и Клау́с расположились от него по обеим сторонам, словно два глупых карлика, надеющимися завладеть отвергнутыми Йеспером девушками. Луисе на дух их не переносила.

Лена, по первому образованию строитель, развлекала половину собравшихся на своем тарабарском полушведском языке историями о столовой

«Всемирная литература» в «Нёмане»

для рабочих. В ней было что-то мужиковатое. Луисе очень нравилась ее прямолинейность и то, что она принадлежала к тем немногим, кто не искал приключений. Вероятно, ее шведский «парень» пребывал в кругосветном путешествии и сейчас бултыхался в районе Галапагосских островов. Лена отлично знала свое место.

Луисе отчаянно хотелось сыпать остроумными репликами, стоять на руках или глотать огонь. Хоть что-нибудь, чтобы выделило ее из толпы.

Потом они танцевали. В основном Луисе танцевала с Леной и пару раз с какими-то заторможенными парнями, которых она сама пригласила. Кла́ус и Клау́с тоже прискакали, но им было холодно отказано.

Йеспер танцевал чрезмерно близко с большинством девушек, откровенно его жаждущих. Вечером он уединился с наиболее вульгарной из них, но не прошло и пятнадцати минут, как они вернулись. Девица ластилась к Йесперу, но он стряхнул ее с себя и вскоре подошел к Луисе.

— Привет, красотка! Я скучал по тебе, — сказал он и начал расплетать ее косу.

— Непохоже, — невольно вырвалось у Луисе. Он не должен догадаться.

— Ревнуешь? — улыбнулся он и распустил ее волосы каскадом по спине.

— Ты о чем?

— Ну да ладно, потанцуем? — спросил он и потянул ее на танцпол под звуки песни Брюса Спрингстина «Hungry Heart».

— Я иду домой, — сказала она, угрюмо следуя за ним.

— Один танец — и я провожу тебя домой?

— Может быть, — Луисе поддалась непосредственному очарованию и пошла танцевать. Они отлично смотрелись вместе. Она чувствовала себя легкой и привлекательной, позволяя себе сдержанно улыбаться партнеру.

После четвертого танца она заметила, как глаза всех присутствующих обращены к ним как на скачках. Получит ли Луисе главный приз этого вечера?

Она поспешила поблагодарить за танец и направилась к Лене попрощаться и забрать сумку. В эту игру она не желала играть. Луисе охотно оставила Йеспера на растерзание голодным фуриям, которые тотчас возбужденно окружили его. У нее был Анерс, да и Йеспер слишком опасен. Она не должна попасться в его сети, как это произошло с Грегерсом в прошлом году. Она не повторит этой ошибки. В случае с Йеспером выбор оставался за ней.

— Идем? — Йеспер приобнял ее.

— Хорошо, — ответила она и сразу услышала гудение, пронесшееся по залу. Бал закончился.

Да и сам Йеспер, выведший ее с арены с видом победившего гладиатора, наверное, думал, что приз принадлежит ему. Он был немного разочарован, когда она пожелала ему спокойной ночи перед входной дверью, целомудренно поцеловав его, сжав губы.

— Я могу войти?

— Нет.

— Почему?

— Не хочу.

— Мы могли бы просто поспать вместе.

— Я не такая наивная.

— Какие девушки подозрительные!

— Есть причины.

— Ты не представляешь, чего лишаешься.

— Догадываюсь.

— Нельзя так обращаться с мужчинами!

— Извини!

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Ты холодная и бессердечная!
— Да!
— Тогда в другой раз?
— Возможно.
— Завтра?
— Не-а.
— Рождество?
— Кто знает.
— На моей водной кровати?
— Кто знает.
— Еще один поцелуй?
— Один.

— Спасибо! Продолжим на Рождество?
— Спокойной ночи!

Глава 3

— Знаете, что такое постмодерн? — поинтересовалась Луисе однажды вечером на собрании кулинарного клуба у Ингер. Они съели запеканку из цветной капусты и сейчас пили травяной чай.

— Чего? — спросила Ингер, и Луисе тотчас стало страшно, что она произнесла слово неправильно. Ингер постоянно передразнивала ее ютландский диалект. Беззлобно, но тем не менее.

— Постмодерн? Разве не об этом пишут в газете «Информашен»? — спросила Улла, скручивая сигарету.

— Да, об этом что-то говорили в Школе. Но я так и не выяснила, что это.

— Звучит как название болезни, — буркнула Бритт, не отрываясь от вязания. Она недавно рассталась со своим молодым человеком и теперь только бубнила.

— Зачем тебе? — спросила Ингер.

— Лишь потому, что об этом все время говорят в Школе, — ответила Луисе и потянулась за чайником. Она устала и нуждалась в чем-то покрепче, чем травяной чай.

— Слушай, может быть, может, кто-нибудь рассказать тебе об этом? — попросила Улла.

— Конечно, но они все придерживаются абсолютно разного мнения. Завтра я иду домой к тому, кто прочитает мне лекцию о постмодерне.

— Ну-ну, — Улла смочила слюной сигаретную бумагу. — Интересно! Как его зовут?

— Йеспер. Это не то, что вы думаете! — поторопилась ответить Луисе.

— А что это? — поддразнила ее Улла и зажгла на редкость тонкую сигарету.

— Мы просто хорошие товарищи, — сказала Луисе уклончиво.

— Разумеется! Где-то мы это слышали, — произнесла Бритт и сделала первую затяжку.

— Почему ты о нем раньше не рассказывала? — спросила Нанна, демонстративно отгоняя дым от лица.

— Да так, там много молодых людей. Ингер, можно я пластинку поставлю?

После студенческой вечеринки Йеспер вертелся вокруг нее. В какой-то степени ее раздражало, что он появлялся везде, куда бы она ни пошла, в то время, как остальные занимались учебой. С другой стороны, он весе-

«Всемирная литература» в «Нёмане»

лил ее. Когда он садился за стол во время ланча в столовой, оживлялся даже скучнейший разговор ни о чем. И все благодаря его таланту оперировать понятиями удивительно провокационным образом. В придачу он был специалистом по умалению самого высокого.

— Мис ванн дер Рое, черт побери! Слышь, единственное, о чем речь — сухое место потрахаться, теплое место посрать и пара острых ботинок, — говорил он, перефразируя цитату американского политика.

Ему ничего не стоило за пару минут обидеть десять человек, но так как Луисе, к счастью, относилась к другой категории, она искренне веселилась. Она тщательно удерживала его на определенном расстоянии и следила, чтобы он верно истолковывал ее сигналы.

Так, когда Йеспер пригласил ее к себе домой на обед, ответила отказом.

— Слабо? — усмехнулся он.

Она согласилась. Чего бояться? Он расскажет о постмодерне и тому подобном, покажет наброски и чертежи. Совершенно невинно.

Когда девушка, вооружившись картой, ехала на велосипеде к району Вестерпорт с бутылкой красного вина в рюкзаке, она ощущала себя Красной Шапочкой, направляющейся к домику бабушки. Чтобы подстраховаться, Луисе написала днем письмо Анерсу, но попытка настроиться на настроение «я-по-тебе-скучаю» провалилась. Девушка не смогла сконцентрироваться на письме, в котором она писала, как сильно по нему скучает. Зато часть письма, где подробно описывала учебу в школе, ей удалась.

Удивительно, у нее получалось одновременно и думать, и рисовать. С первым заданием (измерить свою комнату и построить ее макет) Луисе настолько хорошо справилась, что преподаватели похвалили ее во время обсуждения. В школу она приходила рано утром и уходила поздно вечером с приятным ощущением, что она узнала что-то новое и находится на пути в новый и увлекательный мир. Луисе много работала с Леной, которая, как и она, была нацелена на знания.

Анерс писал ей несколько раз в неделю. Длинные продуманные письма, где по большей части говорилось, как сильно он скучает и какие дураки австралийцы. «Их не интересует ничего, кроме пива, стейков и регби».

«Единственный, чье присутствие я могу выносить — Джо. Он — один из тех деревенских мужиков, которых белые австралийцы достали навязыванием собственной культуры.

По вечерам мы скучаем в комнате, и он рассказывает старые истории, полные мистики и магии. Мне бы хотелось, чтобы ты их послушала под отблеск свечей в темноте. А если бы я попросил Джо прислать приглашение? Разумеется, он сделает это элементарно. Вдруг ты превратишься в безвольную утку? Лучше я буду передавать тебе мои мысли. Уверен, иногда ты чувствуешь легкое дуновение ветерка в затылок».

Луисе писала лишь раз в неделю только по вечерам перед сном. Письма были корявые и не такие нежные, как хотелось. Но каждый день был насыщен, и ей приходилось откладывать на потом написание живых и ласковых писем, которых, она была уверена, ему не хватало.

В пять минут восьмого Луисе, стоя перед квартирой Йеспера, обнаружила, что его нет дома.

Странно. Она постучала опять достаточно сильно, так, что было слышно по всему мрачному подъезду. Никакой реакции.

Через почтовую щель она увидела рекламные брошюры и денежные формуляры, раскиданные по черному лакированному полу. Он не был дома с утра. Она взглянула на часы и села на ступеньки. Он ведь скоро придет. Очевидно он застрял в пятничной многокилометровой пробке позади

«Всемирная литература» в «Нёмане»

семейных машин, доверху набитых салатом карри, субботними курицами, картофелем по-французски, пивом и сладостями для детей.

Луисе вытащила из рюкзака архитектурный журнал, купленный в момент легкого безрассудства ранее, и устроилась удобнее. Она прекрасно коротала время, пока не появилась, размахивавшая пустой птичьей клеткой, толстая женщина и не стала возмущаться, что ей не пройти, и что вообще девушка тут делает.

— Жду Йеспера Мандрупа, — поднялась Луисе и начала с виноватым видом собирать вещи.

— Не сомневаюсь! Вечно у него толпа народа! Поверь, его навещают не только подобные тебе соплячки!

Женщина подалась к Луисе, последняя отступила на шаг назад, дабы избежать окутывающих алкогольных паров.

Девушка хотела ответить, но в тот момент заметила Йеспера, прыгающего через ступеньки. Женщина продолжила подниматься на следующий этаж, бранясь под нос.

— Привет, Луисе! Извини, опоздал, — он клюнул ее в щеку, открыл дверь и поднял рекламу и формуляры с пола.

— Потратился в кафе «Элефантен», но, к счастью, вспомнил о тебе. Я проиграл двести крон в покер, и если бы остался, они бы точно обобрали меня. Надеюсь, ты не сердишься?

— Не-а, все прекрасно. Что за дамочка со странностями? — Луисе закрыла входную дверь и поставила рюкзак.

— Попугай Лайла? Не обращай внимания, она — известная сумасшедшая. Пошли, посмотришь на водную кровать!

— Ого! — воскликнула Луисе при виде выкрашенной в черный цвет комнаты с огромной водной кроватью в центре, покрытой красным сатиновым покрывалом. На потолке над кроватью висело зеркало, на полу — лампа в стиле арт-деко с белым абажуром. С другой стороны кровати разбросаны иностранные журналы и газеты, а посередине — криминальный роман Дана Турелла.

Одна из стен завешана тремя плакатами Мэрилин Монро в красных тонах в исполнении Энди Уорхолла.

— Как тебе? — спросил Йеспер с напряжением, словно обставлял комнату для Луисе.

— Ммм... Необычно? — попыталась найтись Луисе. Она не хотела его обидеть, сказав, что комната напоминает что-то среднее между борделем и комнатой сбрендивших неформалов шестидесятых годов.

— Не появилось желание опробовать мою водную кровать? — Йеспер сел на край кровати и попружинил на ней.

— Я же сказала, возможно, на Рождество! А там что? — Луисе направилась к двери.

— Заходи. Там я ем овсянку по утрам, читаю газету, работаю и раскладываю пасьянс.

Несколькими минутами спустя Йеспер проследовал за Луисе в меньшую комнату, которая, скорее всего, предназначалась для спальни, но Йеспер превратил ее в гостиную, обставив рабочим столом, стульями, полкой в стиле хай-тек, стереоустановкой и старым, потертым, кожаным креслом.

— Шикарно, — Луисе кивнула в сторону кресла.

— А то! Купил за пятьдесят крон у хорошего друга Марскандисер-Оле. Есть вино?

Луисе ушла за вином, Йеспер освободил место на столе ровно для двух антикварных хрустальных бокалов.

— Ты их тоже по дешевке у друга купил? — Луисе аккуратно держала бокал за ножку, пока они чокались.

«Всемирная литература» в «Йемане»

— Не-а, стащил у матери. У нее их так много, что она и не заметит недостачу. Твое здоровье!

От вина у Луисе заурчало в животе. Заглотнуть бы что-нибудь, пока не умерла от голода. Она прекрасно понимала, что ожидать суп, жаркое или тортик, не придется. Намазать хотя бы пару бутербродов с паштетом он мог сообразить? Или на крайний случай — предложить чипсину с сыром?

Должно быть, Йеспер прочитал ее мысли, так как он в ту же секунду спросил, не голодна ли она.

— Немного, — ответила она и поняла, что совершила глупость. Йеспер воспринял ее слова буквально и через пару мгновений вернулся из кухни с мисочкой зеленых и черных оливок. Выглядело неплохо, но чипсина была бы лучше.

— Расскажи о постмодерне, — попросила Луисе после того, как они выпили вина и поговорили ни о чем.

— Ой, да забудь! Данное понятие изобретено псевдо-интеллектуалами потому, что они боятся проживать жизнь сами. Постмодерн — то, что им непонятно. Цвета на улице, течение времени и расширение суженных границ. Пост — все то, из чего нельзя вывести формулу и то, что не поддается анализу.

— Как ты, да?

Йеспер улыбнулся.

— Соображаешь! Может, поэтому народ нападает на меня. Мне все равно, люблю ломать устои и ненавижу замороженную буржуазность.

— Сам-то ты — не выходец из буржуазии? — Луисе почувствовала, как вино ударило в голову. Хватит пить, иначе все плохо кончится.

— Как считаешь? Я — мерзкий сын капиталиста или бедный Биргер из задворок? Высший или низший класс?

Луисе прищурилась и посмотрела на Йеспера. Одежда из сэконд-хэнда, но стильная и выбрана со вкусом. Речь и высокомерная самоуверенность выдавала в нем явно не выходца из задворок района Вестербро.

— Высший класс, — ответила она и щелкнула по хрустальному бокалу, который опасно закачался.

— Да, крошка. Мать — прямой потомок семьи русского царя, а отец родом из французского дворянства. Невероятно богатые. Владеем виллами, квартирами, дворцами и прогулочными яхтами по миру. Ради развлечения получаю образование. Мне не нужно работать — денег хватит на ближайшие лет триста.

— Врешь?

— На том и порешили. А ты откуда?

Луисе рассказала об отце-архитекторе, матери-медсестре и сестре-гимназистке Лиз. Дед со стороны отца — стоматолог, со стороны матери — владелец мануфактурного магазина. Наиболее впечатляющее событие за последние пять поколений: прапрапрадед сгорел в кровати со служанкой.

— Приятная история, — рассмеялся Йеспер. — Уверен, жена их спалила.

— Думаешь? Никогда в голову не приходило.

— Конечно, нет. Ты еще маленькая и наивная. Допивай, папочка выведет тебя в свет!

Луисе думала, что поступает легкомысленно, ведя велосипед вслед за Йеспером. Она не знала ни его самого, ни подозрительного района, где он чувствовал себя как дома.

Если бы поесть и больше не пить, то опасность бы исчезла.

К счастью, Йеспер предложил заглянуть в маленькую китайскую забегаловку-гриль в нескольких улицах ходьбы.

Гостиница «Д'Англетер» далеко, а Луисе голодна, и ей все равно, даже если бы курица чоп-суи, которую заказал Йеспер, на самом деле была расчлененной кухонной крысой.

Они сели за один из двух столиков. Йеспер мастерски жонглировал палочками и одновременно разговаривал с владельцем заведения господином Фу.

Луисе пришлось попросить нож и вилку, на что Йеспер и господин Фу искренне рассмеялись. Йеспер расспрашивал владельца о плохом здоровье бабушки господина Фу, новорожденном сына и учебе дочери в экономической школе.

— Вы — родственники? — сухо спросила Луисе, когда они вышли из заведения.

— Почти. Так часто сюда хожу, что они принимают меня за своего.

Они свернули на улицу Истедгаде, и впервые в жизни Луисе увидела проституток. Они стояли в дверях или прохаживались перед освещенными, яркими секс-магазинами и кинотеатрами. Некоторые — довольно юные девушки, чьи нечесаные волосы и обтягивающие джинсы не подходили под стереотипную картинку потрепанных блондинок в мехах «под леопард», колготках-сетке и лакированных сапогах.

Хотя они были почти одинакового с Луисе возраста, их лица казались изнуренными, взгляд — слишком тяжелым.

— Жаль их, — сказала Луисе, пройдя мимо светловолосой девушки, торгующейся с пожилым лысым мужчиной.

— Проститутки-наркоманки, — лаконично ответил Йеспер. — Плохи их дела в последнее время. Почти у всех СПИД.

— Неужели никто ничего не делает для них? — участливо поинтересовалась Луисе.

— Вероятно, делают, но безрезультатно. Они подсаживаются на наркотики в 14 лет и не могут бросить. Такова жизнь, — Йеспер пожал плечами.

Путь вдоль Истедгаде к Центральному вокзалу показался Луисе путешествием в другую страну. Именно так она представляла Нью-Йорк или Чикаго. Слабо освещенные кабачки, откуда доносились старые попсовые мелодии; экзотические рестораны быстрого питания; резкие и насыщенные цвета в витринах и на фасадах; непрекращающийся поток медленно движущихся машин; неоновые огни; внезапный звук сирены и молниеносное задержание, воспринимаемое как небольшой непорядок на улице. И, разумеется, все мужчины: старые и молодые, богатые и бедные, красивые и уродливые — все с неприкрытым любопытством и по-собственнически смотрят на нее — так долго она пробыла на их территории. Пока они шли мимо парка развлечений Тиволи, по Ратушной площади и по пешеходной улице Строгет, Йеспер держался, словно оберегая, поближе к ней. В городе царило пятничное настроение, пройти мимо определенных групп, намеревающихся кутить всю ночь, вызывало сложности.

По пути Йеспер прочитал лекцию о Копенгагене. Он знал многое и рассказывал обо всех зданиях: кто что построил, каким образом, когда и зачем, это произвело впечатление на Луисе. Она без конца вздыхала про себя: нужно запомнить информацию и самой прочитать.

— Город стал на редкость скучным. В наши дни Круглую Башню или Ратушу не построили бы — фантазии не хватит.

Они зашли в кафе на боковой улочке. Йеспер пил портвейн, Луисе он купил джин с лаймом. Вообще-то она попросила минеральной воды, но он проигнорировал просьбу.

— Юбки больше не по приколу, — продолжал он, бросив взгляд на ее ноги.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Юбки непрактичные.

— Зато сексуальные.

Не успели они допить напитки, как Йеспер заказал еще. Луисе воспротивилась, но поздно. Когда джин стоял на столе, ей уже нравилось его пить.

Они стояли у барной стойки близко друг к другу. Многочисленные гости кафе, заказывавшие больше пива и прочий алкоголь, подталкивали их.

Создавалось впечатление, что Йеспер знал каждого посетителя. Кто-то все время подходил и здоровался. Йеспер ограничивался приветствием и оставлял их, демонстрируя: Йеспер Мандруп сегодня с дамой и не хочет, чтобы его беспокоили.

Конечно, не обошлось без Кла́уса и Клау́са, обступивших их с видом, будто они первые обнаружили тайное место влюбленных.

— Подумать только, натолкнуться на вас! Здорово! — Йеспер с преувеличенной радостью похлопал их по плечам. — Но, увы, нам пора!

— Не, не, не! Так рано!

— Нам есть на что потратить ночь! Пока, парни! Йеспер залпом допил портвейн и потащил Луисе к двери.

— Не очень хорошо для моей репутации! — заметила она, когда они оказались на улице.

— Плохая репутация лучше никакой. Пойдем на дискач?

Луисе не любила велюровые дискотеки, но Йеспер обещал нечто особенное.

— Классная музыка, классные чуваки! Ты определенно ничего подобного в жизни не видела.

Он оказался прав. Сначала она обратила внимание на обстановку: декадентский стиль, напоминающий ночной клуб 20-х годов, мрамор, колонны, пальмы и зеркала и посередине танцплощадка — огромный, освещенный остров.

Когда они отправились танцевать на танцпол, Луисе поняла, что это за место. Да, Йеспер прав. Луисе никогда раньше не была на дискотеке для геев.

Парочка коротко подстриженных парней в кожаной одежде страстно целовалась и терлась друг о друга рядом с ней. Луисе, которая считала себя достаточно свободно мыслящей, смущенно отвернулась. Взгляд уперся в двух девушек в похожих отношениях. Так здесь и лесбиянки.

— Прикольное местечко? — прокричал Йеспер ей в ухо.

— Ага, — поспешила кивнуть Луисе. — А люди традиционной ориентации, как мы, могут тут находиться?

— Само собой, я — их постоянный гость. Свободный вход для всех. Что ты подразумеваешь под «традиционной»? Ты сама традиционна, Луисе?

Йеспер попытался ухватить ее, но девушка увернулась в танце.

— Традиционна до мозга костей!

Она закрыла глаза. Ох, как она любит танцевать!

— Почему ты холодна ко мне, Луисе? — вновь раздался голос Йеспера.

— Я не холодна. Понимаешь, у меня есть любимый, — ответила она.

— Где он?

— Квинсленд, Австралия.

— Надолго?

— Минимум на год.

— И ты, конечно, будешь как заточенная в клетку девственница, ждать?

— Само собой.

— Тогда пойду-ка я, выпью.

Луисе рассмеялась и проследовала за ним в бар.

«Всемирная литература» в «Немане»

— Он реально того сто́ит? — спросил Йеспер, пытаясь поймать мечущегося в стрессе бармена.

— Иначе я бы этого не делала.

— То есть, у меня нет шансов? — допытывался Йеспер, параллельно заказывая два светлых пива.

— Наверное, нет, — двусмысленно, в тон ему, ответила Луисе.

— Тогда спасибо за вечер!

Он взял пиво, кивнул ей и ушел. Луисе с беспокойством посмотрела ему вслед. Она задела его самолюбие? Нет, он, вероятно, пошел в туалет. Она не хотела стать посмешищем, если бы побежала за ним.

Луисе осталась у бара и допила пиво. Преимущество дискотеки для геев в том, что никто из проходящих мимо парней не пытался подклеиться. Зато несколько заинтересовавшихся девушек попытались заговорить.

Одна из них пригласила Луисе потанцевать. Последняя согласилась, решив, что ничего страшного в приглашении нет. Девушка выглядела миролюбиво и не напоминала насильницу-лесбиянку.

На танцплощадке она рассказала, что ее зовут Лоне, и она работает библиотекарем в районе Фредериксберг. Очки у Лоне постоянно сползали на нос, и она их с улыбкой поправляла. Луисе начала сомневаться в нетрадиционной ориентации Лоне. Может, она пришла потому, что дискотека ей нравилась? Как Йесперу.

Но вдруг она ощутила легкие прикосновения к бедрам и упругую женскую грудь.

Луисе застыла. Лоне целовала ее шею и говорила, как чудесно она пахнет. При дневном свете Луисе бы давно убежала с криком, но сейчас алкоголь притупил реакцию настолько, что она позволила себя страстно и похотливо целовать. Но в какой-то момент она резко вырвалась, сбивчиво бормоча извинения, что ей надо в туалет.

Она бежала к туалетам вниз по лестнице и окидывала взглядом дискотеку в поисках Йеспера. Не мог же он уйти без нее! И оставить одну!

Туалеты находились в конце длинного, довольно темного коридора, казавшегося темнее из-за ярких проекторов на танцплощадке. У стены она различила несколько пар, которые, похоже, занимались чем-то, смахивающим на секс, стоя.

— Извините, — пробормотала она, случайно толкнув одну из пар, к ее удивлению, мужчину и женщину.

В туалете Луисе ополоснула лицо холодной водой в отчаянной попытке протрезветь. Неожиданно она почувствовала себя плохо — стало тошнить. Неприятное все-таки место.

В коридоре она высматривала тех самых мужчину и женщину, боясь помешать еще раз. Они стояли в том же положении, но более раздетые. Руки женщины были глубоко в мужских брюках, он крепко сжимал ее ягодицы.

Луисе отступила пару шагов назад и хотела прошмыгнуть мимо, как в то же мгновение мужчина повернулся и посмотрел на нее. Луисе словно ударили по голове обухом. Невзирая на отсутствие света, без сомнений, это — Йеспер.

— Йеспер! — вскликнула она сдавленным голосом.

Йеспер окинул замутненным взглядом внезапно помешавшую ему Луисе и отпустил женщину, не пожелавшую даже поправить одежду. Луисе в ярости уставилась на чрезмерно размалеванную и самую вульгарную девицу, которую она когда-либо видела.

— Луисе! Ты еще здесь? Думал, ты сбежала с куклой, с которой вальсировала. Я наткнулся на старого друга Стеффена. Скажи Луисе привет, Стеффен! Сегодня вечером он — Стефани, да, Стеф?

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Луисе недоуменно вытаращила глаза на девушку, оказавшуюся парнем. Вот почему он выглядел нарочито вульгарно.

— Мне в голову не приходило... — начала она.

— Успокойся, я не такой. Развлекаюсь иногда! Не будь невыносимой пуританкой!

Он наклонился к ней, но Луисе грубо его оттолкнула. Тьфу, как отвратительно, какой он мерзкий.

— Извращенная свинья! — бросила она разгневанно перед уходом. Луисе помчалась по коридору, вверх по лестнице и на улицу, где поймала такси.

Она не знала, во сколько ей выльется поездка домой. Все равно, скорей бы прочь отсюда.

— Тебя точно не вырвет? — спросил таксист, напряженно глядя на нее в зеркало заднего вида.

Луисе покачала головой и попробовала приободриться.

Но единственным желанием было стошнить.

Глава 4

Следующим утром Луисе проснулась с ощущением, будто ей всю ночь снились кошмары. Постель была влажной, пот пах терпко и по-чужому. Она лежала тихо-тихо, натянув одеяло на голову так, что увидела маленький лучик света, когда открыла глаза.

Стыд комом стоял в горле. Стыд за Йеспера. Она представила его перед собой, его руку в брюках у трансвестита, ласкающую те же места, что и накануне.

Хорошо, что она не успела ни во что вляпаться. И даже если у нее зародились теплые чувства к нему, то в любом случае их эффектно остудили. Он просто-напросто чрезмерно испорчен!

Как насчет нее самой? Чем она лучше, позволив обслюнявить себя библиотекарше-лесбиянке? Луисе покраснела при мысли, что Йеспер видел их. Ситуацию запросто неправильно интерпретировать. Но... Если быть совсем честной, что в этом такого неприятного?

Луисе с силой отбросила одеяло в сторону, свесила ноги с кровати и, пошатываясь, встала. На часах полдень. Она проспала девять часов, но все еще ощущала себя пьяной и в замешательстве. Кружилась голова. Чувство стыда не исчезло.

Она прошлепала на кухню, где в стакане воды растворила Трео, таблетку от похмелья, и выпила напиток маленькими глотками, кривясь и постанывая. Она терпеть не могла химический привкус пузырьков.

На кухонном полу лежала свежая почта, накрытая сверху газетой с объявлениями. Ее мать послала сто крон в фольге на марки или на звонки домой. От Стине пришла открытка с изображением Эйфелевой башни. На верхушке башни подруга поставила крестик и подписала: «Мы живем здесь!» С обратной стороны текст гласил:

«Мишель супер-пупер! Вчера мы ели лягушачьи лапки. Мне так классно! Целую, Стине».

Луисе улыбнулась и покачала головой. Стине присылала забавные сообщения, но в них не говорилось, ни о ее жизни, ни о занятиях. Иногда на Луисе накатывало материнское чувство заботы о жизни Стине: принимала ли та ежедневно витамины, одевалась ли тепло и не ходила ли одна по темным улицам по вечерам.

В завалах на столе Луисе нашла дурацкую открытку с Русалочкой, специально припасенную для Стине.

«И что?! Зато я вчера была на дискотеке для геев! Обнимаю, Луисе. P. S. В конце концов, напиши нормальное письмо!»

Моя голову под душем, Луисе внезапно вспомнила, что забыла велосипед у «Геев». Дерьмо! Опять придется туда ехать. Она-то надеялась, что больше не увидит это грязное место.

Ей надо бы в магазин сходить, пока он не закрылся. Простокваша и хлебцы — единственное, что оставалось на выходные. Хорошо, мать прислала денег, у нее самой оставалось восемьдесят крон.

В понедельник она вновь снимет деньги со счета в банке. Луисе казалось, она очень бережлива, но с тех пор, как переехала в Копенгаген, сумма на счету разительно уменьшилась. Можно подумать, воздух стоил денег — она тратила намного больше, чем обычно. Наверное, скоро надо искать работу. Те восемьсот крон, которые ежемесячно переводили из дома, ей едва хватало на жизнь. А пока не исполнилось двадцать два, стипендию она не получит.

Ветер помог освежить голову. Каштановые листья кружились в беззвучном танце вдоль канала. Лодки раскачивались на швартовке. Скоро наступит осень, вслед — холодная зима.

На площади она купила горох с вереском, три початка кукурузы и картофель. В булочной приобрела йогурт, молоко и кофе; марки и газету — в киоске, избежав, таким образом, субботней суеты в супермаркете Брусен.

На обратном пути Луисе встретила Нанну, рано освободившуюся с работы в магазине здорового питания и нагруженную горохом-нут и овощами.

— Паршиво выглядишь, — заметила Нанна, когда они поравнялись на пешеходном переходе.

— Так и есть. Слишком много алкоголя и сигарет, — ответила Луисе, желая спрятаться за очками в стиле Йоко Оно.

— Кстати, знаешь, где находится «Гей»? — добавила она. Ее вдруг осенило, что она понятия не имела, как туда добраться.

— «Гей»? — воскликнула Нанна, когда цвет сменился на зеленый. — Имеешь в виду дискотеку для гомосексуалистов?

— Да, хочу велик забрать. Я была там вчера. Дискотека не только для гомосексуалистов, — добавила Луисе, обратив внимание на обалдевшее лицо Нанны. «Гей» явно не был ее любимой дискотекой.

— С ним, постмодернистом?

— Да.

— Так ты выяснила, что такое постмодерн? — спросила Нанна, когда они пересекли переход.

— Не совсем.

«Но, кажется, мы провели довольно постмодернистский вечер», — про себя улыбнулась Луисе.

Луисе наконец нашла дискотеку «Гей», занимающую помещение в нейтрального вида здании, но велосипеда не было. Он не стоял ни между припаркованными в штативе велосипедами, ни у стены, где, ей казалось, она его оставила.

— Хренотень какая! — Луисе злобно пнула по лестнице, осознав исчезновение велосипеда. Этот чертов город был хуже, чем Нью-Йорк. Подумать только, даже нельзя оставить полуржавый девичий велосипед, не опасаясь кражи!

Она поехала на автобусе по действующему билету, протопала по лестнице и наткнулась на Нанну, которая поинтересовалась, что произошло.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Иду бегать, — сообщила Нанна и собрала волосы в высокий хвост. На ней шорты и белая футболка. До полного сходства с финальным участником Олимпийских игр по бегу на двести метров оставалось зашнуровать кроссовки Nike.

— Побежали со мной? — предложила она.

— В моем состоянии? — Луисе предпочла бы лечь, чем, запыхавшись и постанывая, бежать за Нанной.

— Определенно полегчает после пробежки. Как физически, так и психологически. До встречи через пять минут у калитки!

— Но послушай... — попыталась воспротивиться Луисе, но Нанна уже захлопнула дверь.

Луисе побрела к себе, выкопала какие-то шорты и пару кроссовок из коробок из-под кровати. Она ни разу не надевала их со времен уроков физкультуры в гимназии.

Мускулистые ноги Нанны были такие же веснушчатые, как и лицо. Она бежала перед Луисе с легкостью газели, Луисе же держалась на расстоянии, чтобы Нанна не слышала ее тяжелое со свистом дыхание. Несколько парней на скамейке свистнули им вслед, Луисе попыталась улыбнуться с целью создать иллюзию о двух спортивных юных девушках, беззаботно бегущих по району Кристиансхаун.

— Приятней бегать вдвоем, — сказала Нанна, когда они остановились перевести дух ради Луисе. У Луисе хватило сил кивнуть. Еще немного — и она рухнет замертво.

— Когда бегаешь одна, можешь попасть в неприятную историю. Однажды меня преследовал эксгибиционист.

— Ты не могла убежать? — сглотнула воздух Луисе, держась за бок. У нее давно кололо в боку.

— Он ехал на велосипеде! — рассмеялась Нанна, делая растяжку. — Дело было вечером. Весь день провела дома, и хотелось движения. Несмотря на то, что смеркалось, я отправилась на пробежку. В кустах притаился парень, поджидая какого-нибудь идиота, который попадет в ловушку.

Я пробегала мимо, как он вылетел из кустов, впрыгнул на велосипед и помчался за мной, выкрикивая скабрезные вещи, управляя велосипедом одной рукой, а другой рукой в брюках. Я ему сообщила, смотрится это безобразно. Чем больше я ругалась, тем больше он заводился. В конце концов, пригрозил швырнуть меня на траву и...

Нанна поежилась.

— Тебе не было страшно? — Луисе овладела дыханием.

— Конечно, было! Никогда не знаешь, что им в голову взбредет. Везде написано, эксгибиционисты неопасные. У них только экзальтированная сексуальность.

— Извращенец! Чем закончилось? — спросила Луисе.

— Меня спас шведский матрос, — Нанна подпрыгивала на месте. — Совсем юнец, прогуливающийся вечером. Заметив его, я закричала. Крик настолько испугал эксгибициониста, что я смогла удрать и попасть в объятия матроса. Я рассказала, меня преследует насильник и попросила проводить домой. Он выглядел чуточку испуганным, но надел мину героя и согласился. Эксгибиционист убежал, а я никогда в дальнейшем не встречала матроса. Но каждый раз, пробегая мимо того места, содрогаюсь.

— А если он одним прекрасным днем опять будет преследовать тебя? Ты сообщила в полицию? Мегаопасно, когда такие темные личности вокруг разгуливают!

Нанна пожала плечами.

«Всемирная литература» в «Немане»

— Что они сделают? Он всего лишь бедолага, который не в ладах с собой. Подобные люди нуждаются в определенном лечении.

Луисе согласилась и подумала, может, Йеспер или она сама тоже нуждаются в психологической помощи. Вдруг она лесбиянка?

— Должна прекратить бегать там одна. В любом случае, по вечерам. Давай иногда вместе по утрам бегать? — предложила Нанна. — После пробежки несравненно себя чувствуешь оставшийся день.

— Обязательно, — пробормотала Луисе, вытирая рукой пот со лба. Она сомневалась, что останется жива после сегодняшней пробежки.

Луисе была вынуждена признать, от похмелья вполне реально убежать, когда они с Нанной после пробежки сидели у последней дома и пили чай с морковным тортом.

— Можно убежать от всего. Даже плохого настроения. Об этом Кьеркегор[1] говорит: «Можно уйти от депрессии».

— Вы изучаете Кьеркегора в университете? — спросила Луисе.

— Нет еще. Я сама его читаю. Мне подарили собрание его работ при поступлении в универ. Мама — фанат Кьеркегора, — объяснила она.

— Вот оно что! — изумилась Луисе.

— Кьеркегор и Карен Бликсен[2] — сейчас любимые книги. Поверь, у них есть что почерпнуть.

— Да ну, — ответила Луисе. Она пропустила пару, когда проходили «Или-или» Серена Кьеркегора, по болезни и не заставила себя собраться и выяснить о чем размышляет странный, сухой, старый философ. А вся истерия вокруг Карен Бликсен настолько преувеличена, что не хотелось и фильм смотреть.

— Можешь взять у меня взаймы «Прощай, Африка», если есть желание. Она легко читается.

Луисе очень хотела, Нанна встала и взяла книгу с полки.

— Пожалуйста! Не торопись, только обещай, я получу ее обратно.

— Конечно! — ответила Луисе, покрутив книгу в руках. Какая же Нанна милая!

Нанна грохотала чем-то на кухне и вскоре вернулась с бутылкой шнапса из черной смородины домашнего изготовления и двумя рюмками.

— Хочешь? Он полезен для здоровья и полон витамина С.

— Сама делала? — Луисе осторожно пригубила крепкий, сладкий напиток.

— Не-а, мама. Она обожает все такое — делать шнапс, настаивать уксус на травах.

— Чем она занимается?

— Этнограф в Национальном музее.

— А папа?

— Историк. Профессор в универе. Кто твои родители?

— Разве я не рассказывала? Отец — архитектор, мать — медсестра. — Луисе провернула рюмку между пальцами. Ответ прозвучал как-то незначительно и провинциально.

— Да, забыла. Я думала, ты из деревни, — улыбнулась Нанна. — Что строит архитектор за городом?

— Ратуши, дома для престарелых, жилье. Мы ведь не в норах живем, — сухо ответила Луисе.

— Разве? — дразняще улыбнулась Нанна. — Но твой молодой человек из деревни?

---

[1] Кьеркегор С. — датский философ XIX в.

[2] Бликсен К. — датская писательница XX в.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Луисе кивнула и покрутила кольцо с двумя бирюзовыми камнями. Она совсем не вспоминала о нем сегодня. Одному Богу известно, что бы он подумал, узнав о походе на дискотеку.

— Да, но он — не какая-нибудь деревенщина. Он тоже читал Кьеркегора, — сказала она, оторвав взгляд от кольца. — Он взял в Австралию всю библиотеку, — добавила она дрогнувшим голосом при воспоминании о том, как он укладывал «Песнь Песней»[1] между трусами и носками.

Луисе вздохнула.

— Скучаю по нему. Он так пахнет сеном и свежестью...

Нанна неподвижно слушала.

— Вам хорошо вместе? Приятно услышать — Настоящая Любовь существует. Периодически в этом сомневаешься, — Нанна отщипнула сухой лист у солейролии[2], стоящей на столе.

— Почему? — Луисе не представляла, что у Нанны могут быть проблемы в данной области. Она такая милая, красивая и умная!

— Не знаю. Может, я несчастливая. Как будто мы всегда на огромном мясном рынке! Хотелось бы мне познакомиться с таким парнем, как Анерс, которому я действительно понравлюсь, и который будет что-то делать для меня.

— Разве в универе нет подходящих парней?

— Нет. Они все — несозревшие дети. Единственный, с кем мне хочется флиртовать, — один из наших преподавателей. Я обнаружила, он смущается от моего пристального внимания во время лекций.

Ох, бедный мужчина! Разумеется, он влюблен в нее! Нелегко должно быть старому лектору в бабочке и очках смотреть на Нанну в аудитории.

В дверь постучали, вошла Улла в халате, с завязанным вокруг головы полотенцем и самокруткой во рту.

— Сидите! Сама возьму бокал, — сказала она, заметив бутылку.

— Ты носом чуешь, когда достается шнапс? — кисло поинтересовалась Нанна и налила Улле шнапс, когда та подвинула бокал и поставила перед собой пепельницу.

— Именно! Нуждаюсь в хорошей компании и крепком алкоголе. Вечером свидание, я безумно нервничаю. Он такой обалденный!

— Тот же, что и в прошлую субботу? — спросила Нанна.

— Ой, нет, тот вообще никакой. Но этот! Так бы и съела! Роберт Редфорд — бойскаут по сравнению с ним! — Улла затушила сигарету и вытащила серебристый лак из кармана халата.

— В принципе, Редфорд очень даже ничего! — сказала Нанна.

— Он не слишком слащав и стар в целом? С ним трахаться, что с трупом, — Улла начала наносить лак блестящими полосками. — В таком случае, я бы лучше привела домой Пребена Элькьера[3].

— Ну нет, Улла, он безмозглый! — запротестовала Нанна.

— И что дальше? Он прикольный парень с сексуальными ляжками. Тебе же не с мозгами трахаться! Или ты предпочитаешь, чтобы в процессе он цитировал Шекспира? Лично я думаю, что это отвлекает. А ты как считаешь, Луисе?

Луисе хихикнула.

— Ничего не считаю. Я на данный момент воздерживаюсь от половых отношений.

— Да-да, посмотрим, насколько тебя хватит!

---

[1] «Песнь Песней Соломона», Ветхий Завет, Библия.

[2] Солейролия — декоративное растение, родственник крапивы обыкновенной.

[3] Пребен Элькьер — один из лучших футболистов в датской истории.

Луисе была немного под мухой, когда вечером пошла к себе. Позже появилась Бритт с бутылкой портвейна и вязанием. Спустя время они так раздухарились и расшумелись, что спустилась Ингер с просьбой вести себя потише. Она писала курсовую на тему взаимосвязи между питанием и раком, поэтому ни при каких обстоятельствах не была расположена к алкоголю, курению или веселью.

Еще позднее Улла ушла к себе — готовиться к вечерней осаде, Нанна ушла на обед к подруге.

Луисе села за стол, взяла бумагу и карандаш, чтобы написать Анерсу о прекрасных вечерах и новых друзьях. Настроение было лишь на написание даты и «Дорогой Анерс».

Вечер располагал к перемалыванию косточек или фильму. Или хорошему другу, с кем можно пойти в кино. Но она не знала ни души в этом городе, кого она могла бы назвать другом.

Она поставила пластинку Вивальди, легла на кровать и открыла «Прощай, Африка».

«Скакать верхом, стрелять из лука и говорить правду» — своеобразный пролог перед произведением. Луисе перелистнула страницу.

«У меня была ферма в Африке, в предгорьях Нгонго», — прочитала она и заснула.

Перевод с датского Юлии БЕЛАВИНОЙ.



МИРА РАДОЕВИЧ, ЛЮБОДРАГ ДИМИЧ

*Сербия в великой войне 1914—1918 годов**

Начало великой войны

Сараевское покушение и Июльский кризис

В июне 1914 года австро-венгерская армия проводила возле Тарчина в Боснии большие военные маневры, которые должны были продемонстрировать мощь, запугать противников и предупредить Сербию о намерениях Двойной монархии. Вследствие этого войска были при полном боевом снаряжении, а план осуществления маневров имитировал нападение на Сербию с включением операций, которые должны были отразить возможный боковой удар армии Черногории. Это явилось поводом прибытия в Сараево австро-венгерского престолонаследника, эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой Софией именно в день святого Вида. Английский историк А. Дж. П. Тейлор сравнил такое решение эрцгерцога с возможным парадом британского короля на улицах Дублина в день святого Патрика[1]. Восприняв это как вызов[2], участники тайной молодежной революционной организации «Молодая Босния» (*Млада Босна*), которая сопротивлялась аннексии, организовали покушение на эрцгерцога[3].

Сама мысль о том, что в Боснии и Герцеговине нужно совершить покушение на какую-то высокую особу уже витала среди участников молодежного движения. Как они считали, за молодым человеком, который был бы готов его осуществить, стояла «тысяча единомышленников». Недовольство режимом чувствовалось на каждом шагу, так что Босния и Герцеговина жила «в постоянной нервозности», усиливавшейся из-за поведения властей. Их отказ ввести на внутреннем железнодорожном транспорте вместо немецкого языка сербский рассматривался как унижение, а закрытие сербских национальных обществ и учреждений считалось следствием недоверия и враждебности. Вена сомневалась в лояльности сербского населения, осуществляла нажим на чиновников сербского происхождения и использовала различные формы давления. Поскольку данные сербам обещания ликвидировать феодальную зависимость крестьян остались невыполненными, то утверждения насчет «цивилизаторской миссии» Габсбургской монархии в Боснии и Герцеговине воспринималось как оскорбление. Озлобленность сербского населения все возрастало, и австро-венгерские чиновники в своих донесениях указывали, что Босния и Герцеговина представляет собой вулкан, который в скором времени даст извержение. В повестке дня истории значилось освобождение, а способы, как прийти к нему, были многочисленны. Представители молодежного движения считали, что решительную борьбу может вести только молодежь, а старшие поколения уже «списаны» вследствие усталости и согласия на вынужденные компромиссы с властями. Часть членов «Молодой Боснии», сербских и югославянских революционеров, верила, что процесс освобождения

* Фрагмент книги, русскоязычный перевод которой в Сербии издали Белградский форум за мир равноправных и Сербское литературное сообщество.

южных славян может стимулироваться индивидуальным террором и личным самопожертвованием, что, как идея, было достаточно распространенным в тогдашней Европе. Такие их убеждения подкреплялись культом Богдана Жераича, который в 1910 году совершил самоубийство после неудачного покушения на «поглавара» Боснии и Герцеговины Мариана Варешанина. В 1913 году младобоснийцы планировали покушение на генерала Оскара Потьорека, нового «поглавара» Боснии и Герцеговины, но от этого плана отказались, когда узнали, что Сараево посетит Франц Фердинанд. Покушение на престолонаследника было доверено троим членам этой организации: Недельку Чабриновичу, Трифку Грабежу и Гаврилу Принципу, который и совершил его 28 июня 1914 года. Помимо них в состав «передовой группы» входили Данило Илич, Мухаммед Мехмедбашич, Васа Чубрилович и Цветко Попович. Все они были очень молоды; лишь трое достигли совершеннолетия, а сам Гаврило Принцип 1894 года рождения[4].

Сараевское покушение — искра, брошенная в «склад, заполненный порохом»[5], как назвал тогдашнюю Европу один современник, привлекло внимание не только Европы, но и всего мира. Однако на тот момент не было известно, в какой мере выстрелы Гаврилы Принципа ускорят многие исторические процессы.

Вокруг Франца Фердинанда были сплочены высшая аристократия, военная элита и государственная бюрократия — общественные слои, которые формировали политику и определяли военно-стратегические цели Австро-Венгрии. В дипломатических кругах его считали «буссолью», при помощи которой следует ориентироваться в будущем. Для германского императора Вильгельма II и для германской милитаристской политики он был «неудобным союзником», поскольку пытался освободить Австро-Венгрию от внешнеполитической зависимости по отношению к более мощным союзникам с их собственными намерениями и устремлениями. Поэтому Вильгельм II старался «держать в узде» его и таким образом сдерживать эмансипацию Австро-Венгрии. Престолонаследник не пользовался и особым доверием высших феодалов Венгрии, которых возмущала его политика «крепкой руки» и намерение путем замены дуалистического государственного устройства триалистическим улучшить положение народов — невенгров. Среди более широких слоев населения он также был не очень любим, а сам император Франц Иосиф воспринимал его как конкурента и «противоправителя», не разделяя взглядов, которых тот придерживался. Именно поэтому император старался держать его в стороне от военных функций, не вводил в тонкости государственного управления, не желал делить с ним власть. Императору, да и многим другим высокопоставленным лицам мешали неконтролируемые и нескрываемые амбиции престолонаследника. В его действиях проявлялась предрасположенность к насилию, почти болезненная подозрительность и склонность во внешней и внутренней политике искать радикальные решения. В государственной администрации у него было много противников, а еще больше — лиц, которые боялись его, учитывая то, что он взойдет на престол. Особо принималось во внимание то, что у него военная душа и что свой авторитет в армии он использует, чтобы влиять на принятие политических решений. И поскольку его влияние чувствовалось в министерствах, в военных кругах, в дипломатических и государственных структурах, то смерть его вызвала «крах параллельной власти в Монархии». А в то же время современники отмечали, что мало кто его искренне оплакивал[6].

По сути своей Сараевское покушение относилось к категории политических преступлений, осуществленных участниками молодежного национального движения[7]. Этот заговор полностью был осуществлен молодежью Боснии и Герцеговины. Нет фактов, которые бы свидетельствовали, что сербские власти знали о подготовке покушения, тем более, что они были

в остром конфликте с группой офицеров, объединившихся в тайной организации «Объединение или смерть», отдельные члены которой поддерживали контакты с заговорщиками из «Молодой Боснии». С другой стороны, имеются доказательства, что полиция Сараева еще в октябре 1913 года получила информацию о подготовке покушения и намерениях младобоснийцев, но никаких мер не предпринимала. Позднейшие расследования и судебные процессы показали, что за этим покушением стояло общее национально-освободительное движение, которым вдохновлялся и поддерживался также ряд покушений в Венгрии.

Хотя серьезный конфликт с Австро-Венгрией в будущем ожидался, но Сараевское покушение Сербию застало совершенно неподготовленной. Расследование не дало доказательств, что сербское правительство было причастно к нему, но, судя по всему, к подготовке покушения опосредованно подключался подполковник Драгутин Димитриевич Апис, начальник разведывательного отдела Генерального штаба сербской армии. Используя свое положение в армии, а также главную роль в организации «Черная рука», подполковник Апис, вопреки той политике, которую белградское правительство обязалось вести в 1909 году, установил в Боснии и Герцеговине сеть своих доверенных лиц, влияя таким образом на события там. В то время как правительство пыталось воспрепятствовать тайным делам, которые велись на этом пространстве у него за спиной, представители военных кругов, сплотившиеся вокруг «Черной руки», вели себя так, словно гражданской власти не существовало. На конфликт гражданской и военной властей в связи с боснийской границей обращали внимание и австрийские шпионы по ту сторону Дрины. Время от времени с границы приходили известия о контрабанде оружия, которую контролировали члены «Черной руки». Так, стало известно, что в Боснию были переправлены два гимназиста с шестью гранатами и четырьмя револьверами. Это были, вероятно, Гаврило Принцип и Трифко Грабеж. Приняв во внимание участившиеся известия такого содержания, Никола Пашич 15 июня 1914 года потребовал от военного министра «воспрепятствовать всем таким делам, поскольку они весьма опасны для нас». Примерно такое же требование он высказал и 24 июня 1914 года. Эти и многие другие источники указывают на то, что правительство и его председатель старались препятствовать переправке оружия и людей через границу с Боснией и Герцеговиной[8].

Генеральный штаб сербской армии, как и руководство Народной обороны, также не были вовлечены в эти дела. С другой стороны, неоспоримо то, что национальные революционеры и идеалисты оружие добывали при посредстве майора Воислава Танкосича — известного борца за свободу, близкого соратника подполковника Аписа, а также, что переправку его через границу организовал майор Любомир (Любо) Вулович. Следствие, между тем, не смогло доказать, что гранаты, которые оказались у участников покушения, были из воинских складов. Вероятнее всего, они были взяты из запасов, которые четники сделали на протяжении балканских войн. Лео Пфеффер, судебный следователь по делу Гаврилы Принципа, указал на важный факт: «что осуществившие покушение перед официальной Сербией скрывали свои намерения и приготовления к покушению, что по Сербии они пробирались с фальшивыми документами как таможенники, а когда прибыли в Боснию, в Тузлу, тогда выступили под своими настоящими именами». Контакты с представителями организации «Объединение или смерть» они установили уже после того, как было решено осуществить покушение[9]. Был ли осведомлен об этом Драгутин Димитреивич Апис и насколько осведомлен, в имеющихся исторических источниках надежные свидетельства найти невозможно, вследствие чего имя его напрямую с организаторами покушения не связывалось.

Весть о происшествии в Сараеве взбудоражила Сербию, которая восприняла это с серьезностью и озабоченностью. Соболезнования, которые направили ее государственные верхи в Вену, австро-венгерская сторона приняла «весьма сдержанно». В имперской столице преобладало мнение, что выстрелы в эрцгерцога Фердинанда представляют собой нападение на Двойную монархию, так что император Франц Иосиф потребовал резкой реакции против Сербии. В военных кругах сложилось мнение, что великие державы, ошеломленные случившимся, оставят Сербию «на волю ее судьбы». В то же время все посольства и правительства были засыпаны донесениями и прогнозами возможного развития событий.

Германский посол в Королевстве Сербия информировал Берлин об атмосфере, сложившейся в сербской столице, и все более распространявшемся мнении, что «отвечать придется не только братьям из Боснии, а всему Сербству»[10]. Австро-венгерские же дипломаты в Белграде с первых донесений отстаивали позицию, что главная причина возникшей катастрофы — великосербская пропаганда, которую власти Вены «годами терпели». Не допуская сомнений относительно того, что «нити заговора» ведут в Белград, они в своих информациях обращали внимание на распространенный «культ Обилича» — героя, который приносит себя в жертву за отечество, и на то, что представители молодого поколения себя идентифицируют с этим национальным идолом. Особенно доставалось Белградскому университету, как центру, где молодежь воспитывалась в национальном духе. Российский посол оповещал власти в Петербурге о появлении в австрийских источниках намеков, что исполнители покушения являются «воспитанниками Белградского университета».

Поэтому Никола Пашич уже первые опубликованные в венских и пештских газетах тексты о покушении объяснял как имеющие цель «уничтожить высокий моральный кредит Сербии, которым она пользовалась в Европе, а безумное дело одного молодого экзальтированного фанатика использовать политически до предела против Сербии»[11]. Сербское посольство в Вене сообщало о «явной тенденции» представить покушение как заговор, спланированный в Сербии. По мнению Йована М. Йовановича, власти Австро-Венгрии в возникшей ситуации имели две возможности: отнестись к покушению как делу внутреннему, призвав Сербию помочь найти виновников, или выдвинуть Сербии обвинение и начать войну. Он, имея солидный опыт и хорошо зная суть международных отношений, считал второй вариант более вероятным. Матея Бошкович, сербский посол в Британии, был уверен именно в таком исходе, считая, что Австро-Венгрия готовит вооруженное нападение на Сербию. Посол в Петрограде Мирослав Спалайкович полагал, что австро-венгерская пропаганда имеет целью подготовить общественное мнение Европы к войне против Сербии. На протяжении июля 1914 года, в атмосфере ожидания, какие шаги предпримет Вена, сербское правительство решило идти навстречу в связи со всеми оправданными претензиями, но не принимать «требований, которые направлены против достоинства Сербии и которые не могло бы принять ни одно государство, уважающее и сохраняющее свою независимость»[12].

Когда весть о случившемся в Сараеве с большой скоростью разносилась по Европе, вызывая различные реакции и комментарии, вместе с ними распространялись и пропагандистские утверждения об ответственности Сербии, а также обвинения, что покушение на Франца Фердинанда было «срежиссировано» в Белграде[13]. Хотя для такого рода утверждений доказательств не было, по всей Габсбургской монархии начались массовые гонения на сербов, объявленных виновными в смерти престолонаследника — как народ. Физические расправы, аресты, нападения на мастерские, запреты газет ставили под угрозу их жизни и собственность. Воцарялись

шовинистические настроения, а пропаганда, которую вели средства печати, стимулировала, как отмечалось иностранными дипломатами, «слепое бешенство против Сербии». Противопоставление остальных народов монархии сербскому разрывало тонкие нити доверия, связывавшиеся в предшествующее десятилетие. Писатели, экономисты, философы и иные интеллектуалы выступали с трактатами, призывавшими к расплате, к «мужественому шагу» — войне. Особенно затронутые гибелью Франца Фердинанда распространяли нетерпимость и клерикальные круги. Считая, что с Сербией нужно рассчитаться «раз и навсегда», что следует нанести удар, который лишит ее «силы и будущности», власть поддерживала это недовольство. С другой стороны, разжигая антисербскую пропаганду, для зарубежного мира Вена старалась создать впечатление, что это якобы общественное мнение так давит, обязывая наказать Сербию. В стремлении скрыть истинные причины войны и навязать собственные интерпретации событий венские власти давали указания дипломатам, чтобы привлекали на свою сторону влиятельные издания в зарубежье и влияли там на печать с целью поддержки обвинений против Сербии[14].

В самой Монархии сербы подвергались ужасным притеснениям и погромам, особенно в краях, где они проживали смешанно с представителями римско-католического и мусульманского вероисповеданий. Демонстрации в Загребе, за которыми стояли местные власти, военные и клерикальные круги, имели явно антисербский и антиюгославянский характер. Так, «франковцы», лидируя в насилии, в качестве целей, которых считали нужным достичь, называли «расправу», «уничтожение» сербов. Они выкрикивали имя Франца Фердинанда, призывая к войне и к мести сербам, которых чохом объявляли «государственными изменниками», и при этом требовали уничтожить их имущество. Подобная атмосфера, насыщенная нетерпимостью и насилием, царила также в Сараеве. «Власти предоставили план и список домов сербов, — писал Йован М. Йованович, — они назначили главарей шаек в каждом районе Сараева, они дали и оружие — кому-то топор, кому-то кирку, кому-то кол, кому-то револьвер. Рано утром после Видова дня начали действовать шайки-четы, во главе которых два «четника» несли портрет императора и шли на разбой, выкрикивая: «Долой Сербию! Долой Сербию! Долой короля Петра!» Топоры стучали по воротам во дворы православных сербов, слышались треск и грохот разрушения, а также визги подвергшихся нападению перепуганных людей, женщин и детей...»[15] Демонстрациям в Сараеве предшествовали объявления, в которых содержались призывы расправиться с «мятежными элементами», чтобы горожане «смыли позор», легший на город[16]. Разгром и разграбление сербских магазинов сопровождались выкрикиванием антисербских лозунгов. Сербов называли «мятежными элементами», «бандитами», «убийцами». Клерикальная печать вела речь о «сербском заговоре» и призывала к линчу. «По требованию Собора объявлено чрезвычайное положение и введен полевой суд. Потьорек требовал от венских властей, чтобы закрыли все банковские и просветительские учреждения сербов, все культурные сербские общества, чтобы ликвидировали церковно-образовательную автономию, чтобы Собор безотлагательно был распущен, чтобы армия все взяла в свои руки»[17].

Погромная атмосфера царила во время демонстраций и в других городах Боснии и Герцеговины, Хорватии. Клерикальные круги Словении также требовали, чтобы «тяжелый кулак словенского солдата... разбил череп того серба, в котором живет ненасытная мегаломания». В оглушительном шуме, который подняли сторонники войны и мести, трудно было услышать голоса тех, кто призывал к сдержанности. Гонения на сербское население, аресты, уничтожение имущества и запреты на политическую

деятельность, начавшиеся до передачи ультиматума, с началом войны усилились. Подвергавшиеся преследованиям, арестам и гонениям сербы объявлялись лицами, «недостаточно лояльными», «представляющими угрозу для общественной безопасности», а критерии, по которым их признавали «сомнительными», были весьма растяжимыми и охватывали весь народ. Аресты и интернирования осуществляло специальное учреждение «по военному надзору». Настало время страха, отправки в тюрьмы и трудовые лагеря, мобилизации на фронт.

Австро-Венгрия до сараевского покушения в пропагандистских материалах особо подчеркивала доброе расположение и предупредительность по отношению к Сербии. А впоследствии, представляя себя жертвой сербских планов, она особо выделяла явления, которые это ее расположение делало вроде бы напрасным, особенно «упрямое», «непримиримое», «агрессивное», «враждебное» поведение Сербии. После покушения ближайшие соратники министра Бертхольда заявляли, что «вовсе не убийство создало новую ситуацию; оно было лишь поводом, чтобы решение сейчас принято было как можно скорее». Сам генерал Конрад подчеркивал, что на Сербию нужно напасть не для того, чтобы ее наказать за убийство эрцгерцога Фердинанда, а чтобы предотвратить «возникновение самостоятельных национальных государств, которые бы к себе привлекали соплеменные края Австро-Венгрии и тем самым вызывали распад Монархии»[18].

Непосредственно сразу после покушения дипломаты Вены обсуждали возможности, которые это событие предоставило для внешней политики Габсбургской монархии. Потребность оценить внутренние и внешние условия не противоречила уверенности, что возникшая ситуация открывает возможности «для решения сербского вопроса». Позиция, согласно которой на покушении, осуществленном представителями «Молодой Боснии», нужно «проектировать войну с Сербией», начала оформляться всего лишь день спустя после события в Сараеве, чтобы уже к 30 июня 1914 года стать окончательно определенной. Это был результат сделанных высшей государственной администрацией оценок, согласно которым покушение являлось «последним моментом», когда славянское население Габсбургской монархии, особенно хорватов, можно привлечь для войны против Сербии. На принятие решения влияла также предоставленная военным министром Александром Кробатином информация, что «армия в полной готовности». Хотя на сей счет не имелось никаких доказательств, военные круги не допускали сомнений в том, что покушение направлено против Монархии и является «делом рук Сербии», вследствие чего нужно объявить ей войну. «Война» — единственное слово, которое военные верхи использовали в разговорах с иными структурами власти Австро-Венгрии. Расследовать покушение и его подоплеку не было нужды, так как заключение сделано еще до того, как следственные действия по-настоящему начаты. По этим причинам и в дипломатических кругах предпочтение отдавалось военному решению.

Как следует из содержания письма, которое председатель венгерского правительства граф Иштван Тиса направил 1 июля 1914 года императору Францу Иосифу, министр иностранных дел Берхтольд тогда уже принял решение «сараевское преступление сделать поводом для расправы с Сербией». Сам министр Тиса в тот день, на аудиенции у императора, предупреждал, что против Сербии не надо ничего предпринимать до тех пор, пока следствием не будет установлено, что ее власти причастны к покушению. А тем временем, как он считал, нужно заручиться поддержкой Берлина и провести работу по сближению с Софией. С оценками Министерства иностранных дел, что «положение в Боснии и Герцеговине в связи с сербской политикой ненадежное» и что «политика терпения дала отрицатель-

ные результаты, нанесла большой урон нашему авторитету», соглашался и Франц Иосиф. Двойственная природа Монархии обязывала его считаться с позицией графа Тисы, однако император разделял мнение своего министра иностранных дел, что по отношению к Сербии нельзя проявлять слабость. Хотя у Вены беспокойство вызывали, помимо Сербии, как экспансивная политика Италии, так и поведение других балканских государств, прежде всего — Румынии, свой «подъем» она планировала начать с наказания непокорного балканского соседа. В таких условиях было принято решение выработать по отношению к Сербии «четкую программу действий». В то же время стало очевидным, что сараевское покушение занимает важное место в значительно более широких рамках политики Вены. И это было поводом для решительных действий против Сербии, которой нельзя было позволить, чтобы она «довела до конца свое разрушительное дело», но важную предпосылку именно такого курса составляли также потенциальные приобретения в более широких рамках внешней политики[19].

За то, чтобы действовать, выступал и комендант Боснии и Герцеговины генерал Потьорек, который 2 июля 1914 года направил военному министру предложение о «радикальном устранении внешних интриг». По его мнению, любое «промедление в дальнейшем» представляет угрозу для военной позиции Монархии в Боснии и Герцеговине до такой степени, что находящиеся в его распоряжении военные силы и он сам не смогли бы «нести ответственность за надлежащее отстаивание важнейших интересов по защите государства». При похоронах эрцгерцога Франца Фердинанда 3 июля 1914 года возглавляющий «военное течение», начальник Генштаба, генерал Конрад фон Хётцендорф открыто заявил, что «теперь заслуженная кара постигнет Сербию». Хотя и проявлял наибольшее ратоборство среди политиков, дипломатов и военных Австро-Венгрии, на этой позиции он был не одинок.

В тоже время и Германия по дипломатическим каналам осуществляла давление на Вену, указывая, что в данной ситуации нет места «расслабленности», а по отношению к Сербии нужно принимать самые решительные меры. О решительности Вены «сейчас окончательно рассчитаться с Сербией» уведомленный в тот же день Берлин был готов оправдать ожидания Австро-Венгрии и «мощно поддержать» габсбургскую политику на Балканах.

Часть этих ожиданий излагалась в письме, которое 2 июля 1914 года император Франц Иосиф послал Вильгельму II. Подчеркнув, что покушение в Сараеве является «непосредственным последствием» российской и сербской агитации, которая велась с целью ослабить Тройственный союз и австро-венгерское государство, он делал вывод, что это не «злодеяние одного человека». По мнению императора, это «хорошо организованный заговор, нити которого ведут в Белград» и суть которого составляет «систематическая великосербская деятельность подрывного характера». Хотя и выражал неуверенность, что на основании проведенного до тех пор расследования сможет доказать причастность сербских властей к покушению, он акцентировал то, что «невозможно сомневаться... что ее политика объединить всех югославян под одним знаменем поддерживала такие преступления и сохранение в дальнейшем такого положения представляет неизменную опасность для моего дома и моей страны». Ожидания Франца Иосифа, что Вильгельм II поддержит его в стремлении «Сербию изолировать и уменьшить», несомненно, появились еще до того, как было совершено покушение на Франца Фердинанда. Это следует из той части письма, где он в качестве первых шагов избираемой политики видит привлечение Болгарии к Тройственному Союзу, доведение до ведома Румынии, что

«друзья Сербии не могут быть нашими друзьями», примирение Греции с Турцией и втягивание будущего балканского союза в рамки Тройственного союза. В заключительной части письма выражена суть политики, которую Вена собиралась вести, причем Вильгельм II представлялся как ее субъект. «И ты после самого нового страшного события в Боснии, — писал австро-венгерский властитель, — убедишься, что больше нельзя думать о примирении противостояния, которое отделяет Сербию от нас и что под угрозой окажется ныне действующая политика мира всех европейских монархов, если безнаказанно продолжит существовать это гнездо преступной агитации в Белграде». Иными словами, император Франц Иосиф свое государство и себя определил как главную цель выстрелов, произведенных в Сараеве[20].

Пока оформлялись планы ведения войны, активизировались дипломатические контакты и политические консультации между Германией и Австро-Венгрией с целью использовать покушение как оправдательный повод войны против Сербии. Просматривая донесения, поступавшие из Вены, германский император Вильгельм II записал фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Сейчас или никогда». А в продолжение добавил: «С сербами нужно рассчитаться, и действительно побыстрее. Все понятно само по себе и просто, как фасоль»[21]. Подстегивая Австро-Венгрию, чтобы Сербии объявила войну, Германия предлагала ей безоговорочную поддержку. В возникшей ситуации политические круги Берлина видели идеальную возможность добиться важной политической и даже военной победы над двумя главными соперницами: Россией и Францией. Давление, чтобы началась война и Россия была отодвинута на восток, исходило, прежде всего, от военных кругов, также убежденных, что для Германии в будущем «не предвидится лучших условий и предпосылок». По этим причинам и в Берлине заключение об ответственности Сербии сделано было еще до того, как расследование покушения, «дела сторонников великосербской идеи», начато. Вместо расследования, которое бы раскрыло второй план покушения и дало хоть какие-то доказательства вины Сербии, от властей Белграда потребовали, чтобы они предоставили «убедительные доказательства своей невиновности». Использованные формулировки показывали, что в Берлине Сербия уже была осуждена. И стоял вопрос только о том, какую меру наказания выбрать осужденному.

Готовая к превентивной войне против России[22], Германия 6 июля 1914 года через своего посла в Вене оповестила императора Франца Иосифа, что ее властитель будет «отстаивать любую твердую позицию Австро-Венгрии», а день спустя министру иностранных дел Берхтольду было доведено до сведения, что «только действенное выступление против Сербии может привести к цели». С германской стороны поощрения начать «акции против Сербии» предполагали и возможность начала «большой войны». С одной стороны, Берлин стремился пропагандистской кампанией «отсечь» для Вены всякую возможность отступления. Этому служила и позиция, согласно которой для «Монархии вопрос существования заключается в том, насколько она допустит, чтобы преступления были наказаны и Сербия была уничтожена», равно как и предупреждение, переданное дипломатическими каналами, что Германия и ее суверен безусловно поддерживают Австро-Венгрию, независимо от того, что печать «трубит о мире». Поскольку сам эксплуатировать покушение в Сараеве не мог, Второй Рейх поощрял Австро-Венгрию начать войну с целью, чтобы он тоже стоял за этим, включившись в конфликт. С другой стороны, по сравнению с Австро-Венгрией, которая свое желание начать войну наступательную объясняла потребностью дать ответ на «неслыханный вызов Сербии», Германия стремилась представить себя как государство, про-

водящее миролюбивую политику, но в силу обстоятельств вынужденное вести войну оборонительную. Поддерживая Австро-Венгрию в намерении провести «малую войну» на Балканах, она использовала ситуацию, чтобы нанести удар по своим противникам на западе континента и повести «большую войну» на востоке Европы[23].

Менее осведомленные слои австро-венгерского общества считали, что война с Сербией будет иметь локальный характер. Они ожидали, что военные действия со скорой победой остановят процессы распада Монархии, обеспечив быстрое оздоровление и оживление старого и уже больного государственного организма. В то же время, по оценкам, сделанным на то время в Берлине, начатая против Сербии война, с вероятностью в 90 %, должна будет перерасти в войну мировую. Однако Германия такой войны не только не избегала, но ее желала, учитывая то, что приготовления к ней завершала. В начале июля 1914 года император Вильгельм II отмечал, что он бы «опечалился, если бы нынешний, такой благоприятный момент остался неиспользованным». По этой причине союзникам в Вене он давал наказ, что действия против Сербии «не следует слишком откладывать». В строго конфиденциальной телеграмме от 5 июля 1914 года, информируя о встрече с Вильгельмом II, австро-венгерский посол в Берлине сообщал Францу Иосифу, что германский император попросил его известить своего монарха, что «в данном случае, как и во всех иных», Габсбургская монархия может рассчитывать «на полную поддержку Германии». Не допуская «и тени сомнения» в том, что с этим согласится также канцлер Бетман Гольвег, германский император высказывал мнение, что «ничего не следует откладывать». Да, «Россия наверняка будет враждебно настроена, однако мы годы к этому готовимся, и если война между Россией и Австро-Венгрией неизбежна, он заверяет нас, что Германия, наш давний преданный союзник, будет на нашей стороне. В настоящий момент Россия не готова к войне, и она дважды подумает, прежде чем взяться за оружие... Если мы действительно уверены, что нужно вступить в войну против Сербии, он... считает, что нужно использовать нынешний момент, ибо мы имеем преимущество»[24].

Ту же тенденцию имели также сведения, поступавшие по дипломатическим и военным каналам. Общим было мнение, что Германия безусловно поддерживает Австро-Венгрию, ожидает ее энергичного решения и желает, чтобы Вена отбросила висящий над ее головою «югославянский дамоклов меч». Более открытой поддержки невозможно было и ожидать. Генералитет тоже считал, что войну следует «начать как можно скорее», пока Россия не окрепла. Заверения, что момент благоприятен «для принятия великого решения», поступали и от Министерства иностранных дел[25]. Прежде чем окончательно стать на сторону Австро-Венгрии, Берлин, конечно же, основательно изучил вероятные перспективы столкновения, его европейские масштабы и последствия, а это значит, что развязывание войны было результатом умысла, намеренного планирования и осознанного риска[26].

Помимо официальной переписки имелись и устные донесения, основной смысл которых был тот же: войну следует начать как можно скорее, лучше сейчас, «нежели через год-два, когда Антанта станет намного мощнее, чем теперь». Используя сараевское покушение как повод, Вена и Берлин спешили начать военную авантюру вследствие разных побуждений. Но все же объявление Австро-Венгрией войны было самым непосредственным образом связано с позицией Германии, ее готовностью принять на себя «абсолютную обязанность» по отношению к своей союзнице. А решение было принято и соответствующим образом обнародовано 5—6 июля 1914 года.

В меморандумах, отражавших цели войны, Австро-Венгрия требовала для себя «ведущей роли в балканских вопросах». Такого рода планы существовали уже давно, а в возникшей ситуации их предстояло реализовать. В соответствии с ними, речь шла о жесткой каре, «полном уничтожении» и «устранении Сербии» под предлогом, что она представляет угрозу для мира. В отдельных пунктах плана предусматривались ее «уменьшение», «ограничение суверенитета», «изоляция», раздел территорий и «подчинение» до той степени, которая бы не позволяла существовать самостоятельно. Планы охватывали и формирование своеобразного союза балканских стран, в котором бы не было уменьшенной и разделенной Сербии, а он бы защищал эту часть европейского континента от панславизма[27]. Все это свидетельствовало, что политика Австро-Венгрии тяготела к установлению гегемонии на Балканах, а это делало ясными истинные причины войны.

Решение использовать покушение как повод войны против Сербии формально принято на заседании Объединенного совета министров 7 июля 1914 года, однако тогда не была определена основная цель войны. В качестве официального было принято заключение, что Сербию нужно уменьшить, но, принимая во внимание Россию, «не уничтожить совсем». Уменьшенная Сербия должна была стать «унизительно зависимой» от Двойной монархии. Часть министров считала, что планируемую военно-полицейскую акцию наказания Сербии следует сопроводить серьезной дипломатической подготовкой, которая бы предотвратила подозрения, что виновницей войны является Австро-Венгрия. Все присутствовавшие высказались за принятие быстрого решения по вопросу о конфликте и за то, «что мобилизацию нужно провести сразу после того, как Сербии будет предъявлен ультиматум и он будет отвергнут». Достигнуто было также согласие по поводу того, что дипломатического успеха и унижения недостаточно, так что нужно составить такой ультиматум, который обеспечит «радикальное решение посредством военной акции»[28].

На тот момент даже самые ярые сторонники войны, типа главы Генштаба генерала Конрада Хётцендорфа, не верили, что Австро-Венгрия способна участвовать в войне, в которой союзниками Сербии будут Россия, Черногория и Румыния. Несмотря на оптимизм, который проистекал из сознания, что Германия поддерживает военную кару для Сербии, мало кто из осведомленных политиков верил в нейтральность России и в отсутствие опасности европейской войны. Министр Тиса 8 июля 1914 года оповестил об этом императора Франца Иосифа, указав на необходимость умелыми действиями вину за развязывание войны свалить на Сербию. Чтобы этого добиться — избежать обвинений за развязывание войны, обеспечить благосклонность Великобритании и нейтральность России — Монархия должна была ясно высказаться, что Сербию «не желает уничтожить, а тем более, аннексировать». По мнению министра, после «удачной войны» Сербию следует уменьшить, уступая ее территории Болгарии, Греции и Албании. А Габсбургской монархии для себя нужно будет потребовать «прежде всего, стратегически важных изменений границ» и компенсации военных затрат, «которая бы стала средством, с помощью которого мы могли бы Сербию долгое время крепко держать в руках». Соответственно, в то время когда Вена — после уничтожения Сербии, аннексии ее территорий и включения в состав Монархии — намеревалась югославянский вопрос решать как «внутренний», министр Тиса и венгерская аристократия выступали за уменьшение, но не уничтожение, Сербии и восстановление ее вассальной зависимости от Австро-Венгрии. Решение, предлагавшееся Веной для Будапешта, было началом конца дуализма, из-за чего эти два центра силы расходились во мнении, следует ли Сербию военными действиями уничтожить[29].

Независимо от этой разницы в позициях, после решения, принятого 7 июля 1914 года, война стала неизбежной. Сам император Франц Иосиф подтвердил это два дня спустя, 9 июля, словами, адресованными министру Берхтольду: «Назад уже невозможно»[30].

Существенным ободрением для Вены послужило письмо, которое Вильгельм II прислал Францу Иосифу 14 июля 1914 года, подтверждая оправданность ожиданий Вены. Назвав поддержку Двойной монархии своим «нравственным долгом», он русскую и сербскую пропаганду клеймил как угрозу, которую нужно устранить. Такая выразительная решительность основывалась на оценках, что Россия не готова к войне[31]. В тот же день в Вене определили требования, которые следовало предъявить Сербии; принято и решение составить ультиматум до 19 июля, а передать его 23 июля. Назначен был также срок в 48 часов для дачи ответа. Сценарий, таким образом, был написан и передан дипломатии, чтобы его осуществляла.

Поскольку Франц Иосиф принял часть предложений из меморандума министра Тисы, Совет министров 17 июля 1914 года вынес решение оповестить иностранные государства, что Австрия не будет вести против Сербии войну захватническую. По мнению членов Совета, это объяснение не исключало для Монархии возможностей производить «стратегически нужное исправление границ», уменьшать Сербию в пользу других государств и временно оккупировать остатки сербских территорий. Спустя два дня, 19 июля, желая примирить сторонников и противников аннексии, Совет министров особо отметил, что после успешного похода на Сербию «нежелательны большие приобретения территорий». Таким образом перечеркивался распространявшийся в дипломатических кругах пропагандистский тезис, согласно которому война против Сербии не была захватнической. Между тем, оказалось, что наиболее влиятельные политические и военные круги Монархии за несколько дней до того, как белградскому правительству был направлен ультиматум, уже приняли решение относительно будущей войны и определили ее цель: уменьшение Сербии, изменение границ ее, уступка ее территорий соседним государствам и оккупация оставшихся земель. С этими положениями согласился и министр Тиса[32]. Текст ультиматума был представлен Францу Иосифу, который его без колебаний одобрил 21 июля 1914 года[33].

Несколько недель ведя переговоры, получившие название «Июльский кризис», Австро-Венгрия выжидала, когда президент Франции Раймон Пуанкаре завершит свой визит в Россию, так как не желала представителям этих двух стран предоставлять возможность после ознакомления с ультиматумом устно договориться о совместных действиях в будущем[34]. Ультиматум Королевству Сербия она вручила 23 июля 1914 года.

Министерство иностранных дел Австро-Венгрии работало над текстом ультиматума почти четыре недели. С большой осторожностью подбирались слова и стилизованные фразы. Цель заключалась в том, чтобы четкостью изложения какой-то из противостоящих сил предоставить возможность отказаться от войны, а в то же время, чтобы содержание ультиматума унижало Сербию, вынуждая ее отвергнуть ультиматум и дать отрицательный ответ. Вена при таком результате получала бы «моральное оправдание» по поводу развязывания войны.

Вводной своей частью ультиматум напоминал о «признании», которое Сербия должна была сделать в марте 1909 года[35]. Габсбургская монархия обвиняла ее в потворствовании «мятежному движению», которое стремилось к отделению части земель Монархии, в осуществлении террора на ее территории, в стимулировании «преступных интриг разных обществ и объединений», направленных против Австро-Венгрии. Сербию считали вино-

вной в развертывании враждебной пропаганды, подогревании ненависти у молодого поколения, возвеличивании исполнителей убийства, участии офицеров и чиновников в его подготовке и неисполнении взятых на себя обязательств. Особое значение имела та часть ультиматума, в которой сообщались «результаты расследования» и подчеркивалось, что из признаний исполнителей покушения видно, «что сараевское убийство подготовлено в Белграде, что убийцы огнестрельное оружие и гранаты, которыми они были вооружены, получили от офицеров и чиновников, принадлежавших к «Народной обороне», и что, в конце концов, сербские пограничные службы сделали так, чтобы убийцы с их оружием были переправлены в Боснию». Все это, как указывалось, не позволяет властям Австро-Венгрии далее пребывать в состоянии «предупредительной терпимости» по отношению к Королевству Сербия, а вынуждает предпринять решительные меры, чтобы «интригам, представляющим постоянную опасность для мира в Монархии», положить конец. От Сербии требовалось, чтобы она предоставила «официальные заверения, что осуждает пропаганду против Австро-Венгрии, т. е. что осуждает все устремления, конечной целью которых является отторжение от Австро-Венгрской монархии принадлежащих ей территорий, и что сербские власти обязуются всеми средствами подавлять эту преступную и террористическую пропаганду»[36]. Требовалось от Сербии также, чтобы она устраняла всякую публикацию, которая «возбуждает ненависть и презрение к Австро-Венгрии» и содержание которой направлено против «целостности монархии». Вена давала Сербии указание немедленно распустить «Народную оборону» и конфисковать ее средства пропаганды, а таким же образом поступать и с другими организациями, которые своей пропагандистской деятельностью противопоставляются Австро-Венгрии. Она требовала, чтобы уволены были из армии и с государственной службы все офицеры и чиновники, участвовавшие в пропаганде против Австро-Венгрии, а также, чтобы «органы императорской и королевской властей участвовали в подавлении движения против территориальной целостности монархии». Ультиматум содержал требование, чтобы «безо всяких отлагательств» были арестованы майор Воислав Танкосич и государственные чиновники, скомпрометированные расследованием. Сербии давалось также указание эффективными мерами пресечь контрабанду оружия и взрывчатых веществ через границу с Боснией и Герцеговиной, дать объяснения по поводу заявлений сербских чиновников, которые после совершенного покушения оскорбляли Австро-Венгрию. Изо всех обязанностей, которые налагались ультиматумом, для сербских властей особенно тяжелым было требование провести «следственные действия по отношению ко всем находящимся на сербской территории участникам заговора 28 июня». Как приказ в ультиматуме излагалось и следующее: «В расследовании, к этому относящемся, будут участвовать органы, которые императорская и королевская власть для сего определит»[37].

При вручении ультиматума сербским властям был предоставлен срок в 48 часов, чтобы они дали ответ, и сделано примечание, что в нем должно содержаться только сообщение: правительством «Условия принимаются» либо «Условия не принимаются»[38].

Даже германские дипломаты считали, что ультиматум этот был составлен так, что ни одно европейское правительство не могло бы принять его условия. Британцы охарактеризовали его как «самый ужасный из документов, которые когда-либо одно государство вручало другому государству». Ознакомившись с его содержанием, Россия предупредила Вену, что это документ, который «конституционное государство» принять не может. Австро-Венгрию в Петербурге однозначно определили как государство, которое желает войны и этим Европу толкает «в огонь». Французские

дипломаты считали, что ультиматум содержит «чрезмерную резкость». С учетом того, что он составлялся для унижения, которое Сербия будет не в состоянии принять, 25 июля в Вене проведено было совещание представителей военного и дипломатического верхов, где обсуждались меры, которые следует принимать тогда, когда придет ответ Сербии[39].

Силы Антанты — Франция, Великобритания и Россия — все время следили за развитием кризиса, вызванного покушением в Сараеве, но на сцену вышли только тогда, когда ключевые решения по поводу начала войны уже были приняты. Российская дипломатия уже 5 июля 1914 года предупредила Вену об опасности, кроющейся за ее намерением самой искать вдохновителей покушения в Сербии. Иностранным дипломатам в Петербурге доведено до сведения, что Россия не допустит, чтобы независимость и целостность Сербии была поставлена под вопрос, но министр Сазонов вплоть до 19 июля 1914 года не сообщал этого непосредственно в Вену. Австро-Венгрия в этот период через свои дипломатические службы пыталась убедить Россию, что ее выступление против Сербии имеет целью сохранение европейского монархизма, который в результате краха Габсбургской монархии был бы поставлен под угрозу. С позицией России относительно кризиса, вызванного покушением в Сараеве, французский президент Раймон Пуанкаре ознакомился во время посещения России 21—23 июля 1914 года. На переговорах, которые тогда были проведены, Франция подтвердила готовность выполнить обязательства перед Россией, которые она взяла на себя, подписав Тройственное соглашение. То же самое потребовалось и от Великобритании. Франция и Россия были согласны, что в поисках мира нужно быть едиными и непоколебимыми. Поскольку дело касалось отношения к Сербии, президент Пуанкаре с начала кризиса сообщал российскому правительству, что «крайне необходимо, чтобы Сазонов держался твердо, а мы бы его поддержали». «Солидарность» Франции была обусловлена не только готовностью соблюдать договоренности о союзничестве и сопровождать политику России на Балканах, а являлась результатом оценки, что после поддержки, которую Берлин оказал Вене в «акции» против Сербии, нельзя было ожидать политического удаления Австро-Венгрии от Германии. От политики Парижа, которая считалась с этим, не осталось «камня на камне». Поэтому во время визита ее президента в Россию был устроен совместный французско-российский демарш Вене — рекомендована «умеренность». Россия, со своей стороны, через посла в Вене предупредила власти Австро-Венгрии о последствиях, к которым может привести унижающий ультиматум Сербии[40]. И правительство Франции в первой своей реакции отметило, что «нехорошо, что Сербии выдвигаются требования, которые противны ее достоинству и суверенитету»[41].

Россия до того, как была ознакомлена с содержанием ультиматума, советовала Сербии принять все требования, которые приемлемы для суверенного государства. Первые встречи, которые Василий Штрандман, новый посол России в Белграде, имел непосредственно после предъявления австро-венгерского ультиматума с министром финансов Лазарем Пачу, регентом Александром Карагеоргиевичем и Николой Пашичем, подтверждали, что такие настроения имеются и у сербских политиков. Регент Александр в ту же ночь посетил российское посольство в Белграде и выразил «свое отчаяние в связи с австрийским ультиматумом». Согласно донесению посла Штрандмана, регент не видел возможности, чтобы ответ сербских властей был положительным. По мнению Николы Пашича, ультиматум невозможно было принять, но нельзя было и отвергнуть, а следовало принять все, что не унижает достоинства государства. Все политики, с которыми российский посол в те дни встретился, выражали надежду, что Россия защитит Сербию и в этом видели единственную

надежду на спасение, о чем посол Штрандман и уведомил Петербург. То же самое сделал и регент Александр Карагеоргиевич. Оповещая российского царя о получении ультиматума от Австрии и прося помощи, он сообщил, что при ответе Сербия готова учесть любой совет России. «Требования в австрийской ноте унижают Сербию совсем без меры и не согласуются с ее достоинством независимого государства, — писал регент. — Мы готовы принять те требования Австро-Венгрии, которые соответствуют положению независимого государства, а также те, которые бы нам посоветовало Ваше Величество»[42].

В первых реакциях официального Петербурга на содержание ультиматума обращалось внимание на его оскорбительность и абсурдность. Министр иностранных дел Сазонов считал, что европейская война неизбежна. Более того, в разговоре с австрийским послом 24 июля он поставил под вопрос намерения тех лиц, которые этот ультиматум задумывали и писали. По его убеждению, содержание ультиматума не могло защитить Австро-Венгрию от подрывной деятельности сербских националистов, зато могло вызвать непредвидимые последствия. Поэтому он советовал, чтобы Вена, если желает решения существующей проблемы, отозвала ультиматум и поменяла его форму. В тот же день на заседании правительства он докладывал об австро-венгерском ультиматуме, определяя его как неприемлемый. Тогда российское правительство приняло следующее решение: 1) вместе с другими государствами требовать продления срока для ответа, чтобы великие державы имели возможность ознакомиться с документами о покушении в Сараеве; 2) посоветовать Сербии, чтобы она в том случае, если не в состоянии собственными силами защититься от агрессора, не противопоставлялась, а заявила, что подчиняется силе и свою судьбу отдает на волю великих держав.

Министр Сазонов ознакомил с приведенным решением сербского посла в Петербурге Спалайковича, а тот телеграммой известил Николу Пашича, замолчав вторую часть решения российского правительства. Вечером 24 июля 1914 года через посла в Белграде Сазонов сообщил Николе Пашичу, что войны можно было бы избежать, если бы сербское правительство обратилось за посредничеством к Великобритании. Он посоветовал также, чтобы по дипломатическим каналам с ситуацией были ознакомлены правительства в Париже, Риме и Бухаресте. Николе Пашичу было выслано и заверение, что Россия Сербию не оставит; а с позицией, что Российское царство не испугается «риска войны», были ознакомлены также дипломатические представители Великобритании, Австро-Венгрии и Германии в Петербурге[43].

Уже на следующий день, 25 июля 1914 года, российское правительство опубликовало так называемое «Правительственное сообщение», которое показывало, что Россия при вероятном столкновении Австро-Венгрии с Сербией не может остаться в стороне. В тот же день министр Сазонов оповестил британского министра иностранных дел Эдварда Грея, «что Россия не может допустить, чтобы Австрия уменьшила Сербию и стала доминирующей силой на Балканах», поэтому готова, если будет поддержана Францией, принять все риски войны. При встрече с царем Николаем II, как основную цель ультиматума, он указал уничтожение Сербии и нарушение политического равновесия на Балканах. В то же время он был убежден, что в предстоящем конфликте Великобритания окажется на той же стороне, что и Россия, поскольку их общей целью было не допустить австро-венгерской и германской гегемонии на Балканах и поддержать нарушаемое политическое равновесие в Европе. Российская сторона была вполне довольна ответом, который Сербия дала на ультиматум Австро-Венгрии, считая, что он «превосходит» все ожидания. В соответствии с этим Россия про-

«Всемирная литература» в «Нёмане»

должила свои активные действия по поиску мирного решения. Петербург предлагал весь спор Австро-Венгрии с Сербией передать на рассмотрение Международного арбитражного суда в Гааге. Как запасной вариант, предлагалось провести австрийско-российские переговоры, основой которых станет сербский ответ на ультиматум. Вена, между тем, отвергла оба предложения[44]. День спустя после ответа на предъявленный Австро-Венгрией ультиматум посол Спалайкович оповестил правительство в Белграде: Военный совет России принял решение, что в защите Сербии нужно «идти до конца». Весть о том, что объявлена мобилизация около 1,7 миллиона военнослужащих, пришла в Белград 27 июля 1914 года, через два дня после ответа Сербии на ультиматум. В тот же день получена и ободряющая телеграмма российского императора, который обещал, что «Россия ни в коем случае не останется равнодушной к судьбе Сербии»[45]. Связанные с Балканами конкретные интересы России — проливы и контроль транспортных путей, связывающих Европу с Ближним Востоком — были «прикрыты» традиционными объяснениями относительно заботы России о малых славянских народах.

Печать Великобритании с первого же дня сопровождала развитие кризиса, вызванного покушением в Сараеве. Влиятельные газеты (*The Morning Post, The Times, The Standard, The Pall Mall Gazette* и другие) очень быстро расстались с изначальными, навязываемыми из Вены, предубеждениями относительно преступления как «задуманного в Белграде», начав писать об австро-венгерско-сербских отношениях с большей аналитичностью и фактологичностью. День ото дня в печати усиливалось сомнение насчет истинности объявляемых Веной намерений. Убийство эрцгерцога Фердинанда и далее рассматривалось как «преступное безумие», но акценты информации смещались на «необоснованные обвинения Вены» — обвинения, которые «весь народ представляют виновным», на подготовку военных действий и на политику Австро-Венгрии в Боснии и Герцеговине как сущностную причину кризиса. Появились в печати и открытые предостережения Вене, чтобы не вздумала использовать силы, которые бы поставили под угрозу «мир в Европе», не предпринимала самовольных тиранических акций, угрожающих независимости Сербии. На страницах влиятельной «*The Times*» авторитетный журналист Генри Уикхем Стид предупреждал Австро-Венгрию, что, если она начнет войну, будучи не в состоянии доказать личную причастность к покушению представителей Сербии, то будет осуждена как агрессор и виновница войны. Британская печать считала неубедительными заверения австро-венгерских дипломатов об интервенции против Сербии как «локальной войне» и писала об опасности, что Австро-Венгрия развяжет «европейскую войну». Когда предъявленный Сербии ультиматум был обнародован, британская общественность недвусмысленно отметила, что Австро-Венгрия сделала все возможное, «чтобы развязать длительную, отвратительную, европейскую войну». С этой целью, как писали газеты, она фальсифицировала доказательства против Сербии и стремилась ее унизить. Наряду с этой позицией британская печать не отвергала распространенного мнения об ответственности Сербии за покушение в Сараеве. Если одни осуждали ультиматум как неприемлемый удар по независимости и национальному достоинству Сербии, «действие агрессии» и попытку оправдать «уничтожение целого народа», то другие, отягощенные стереотипами и антиславянскими настроениями, предупреждали, что нельзя допустить, «потопления нашей западной цивилизации в море крови ради того, чтобы замыть сербский заговор». О Сербии писалось и как о государстве, которое представляет «бессмыслицу» в Европе, как о стране, которая должна быть оттащена на средину океана и потоплена»[46].

Для министра иностранных дел Эдварда Грея и для ведущих политиков Великобритании с самого начала было очевидно, что Австро-Венгрию, если она хочет сохранить статус великой державы, покушение в Сараеве побудит реагировать решительно. По их мнению, убийство может быть использовано ради расправы с Сербией, но одновременно это несет и опасность европейской войны. Сообщения о решимости Габсбургской монархии покарать Сербию и готовности Германии поддержать ее в этом Эдвард Грей получил 6 июля 1914 года от германского посла в Лондоне Лихновского. Тогда он, осознавая неизбежность конфликта, обещал сделать все, чтобы это «смягчить», «загладить недоразумения» и «предотвратить грозу». В последующие дни сведения аналогичного содержания поступили из Парижа, Рима и Петербурга. Считая, что позиции Вены и Берлина в данный момент трудно «смягчить» прямым дипломатическим влиянием и что предпринятые меры могут дать эффект, противоположный желаемому, Эдвард Грей обратил свои усилия в сторону России, пытаясь удержать ее в стороне от конфликта между Веной и Белградом. У петербургских властей он просил терпения и понимания в случае, если Австро-Венгрия пойдет на расправу с Сербией. По его мнению, сдержанность России должна убедить Германию, что на нее нападение не готовится, и таким образом опосредованно повлиять на ослабление поддержки мерам, которые Вена собирается предпринять. Веря, что укреплением доверия между Россией и Германией можно влиять на ослабление поддержки, которую Берлин оказывает Вене, Эдвард Грей был убежден, что «опасности» и соответствующей реакции России можно избежать, если Австро-Венгрия в своих требованиях к Сербии будет благоразумной. Когда Великобритания пыталась дипломатическими усилиями и своим влиянием предотвратить конфликт больших масштабов, судьба Сербии находилась на втором плане и о ней речь шла разве что косвенно[47].

Информация, поступавшая на протяжении июля 1914 года в Лондон, не оставляла много места для надежды, что большой войны можно избежать. Однако и помимо Эдварда Грея имелись влиятельные политики, надеявшиеся на силу дипломатии. Премьер-министр Герберт Асквит не верил, что убийство эрцгерцога Франца Фердинанда может вызвать серьезные нарушения порядка в Европе, и был спокоен. Дэвид Ллойд Джордж, управляющий государственного казначейства, осознавая возможные последствия, все же надеялся, что возникший кризис будет преодолен[48]. Уинстон Черчилль, первый лорд Адмиралитета, не считал, что покушение в Сараеве является введением в войну, хотя определял его как событие «достаточно мощное, чтобы всех вразумить». Выступая за предотвращение конфликта между Россией и Австро-Венгрией дипломатическими средствами, он замечал, что «глаза Германии вдруг загорелись особым огнем», однако не считал, что и Великобритания будет втянута в войну. Действия Лондона были парализованы заявлениями Австро-Венгрии о том, что Сербия должна безусловно и безоговорочно принять ультиматум, неготовностью Германии к сотрудничеству, чтобы погасить кризис, отказом России вести с Веной прямые переговоры о разрешении кризиса, а также нежеланием Франции, как и самой Великобритании, непосредственно включаться в конфликт до тех пор, пока существует надежда, что его разрешить смогут Австро-Венгрия и Сербия сами. Действия последовали тогда лишь, когда всем стало известно содержание австро-венгерского ультиматума Сербии, явно свидетельствовавшее, что Вена хочет войны, а Берлин ее в этом поддерживает[49].

Получив ультиматум, сербские власти поняли, какие последствия возникший кризис мог бы иметь в ее отношениях с Двойной монархией[50]. Никола Пашич ознакомил с его содержанием политические и военные

верхи, а также дипломатических представителей союзных государств. В обращении к российскому царю было подчеркнуто, что Австро-Венгрия концентрирует войска на границах с Сербией и что нападение с ее стороны может последовать в любой момент по истечении отведенного на ответ срока. С объяснением, что Сербия не в состоянии сама защититься, к царю была обращена просьба «как можно раньше предоставить свою помощь». Британского посла просили, чтобы его правительство оказало воздействие на правящие круги Вены с целью «уравновесить требования» Австро-Венгрии[51]. После проведенных обсуждений все министры правительства, королевский двор, армия и руководители партий согласились с тем, что согласие на требования Австро-Венгрии, чтобы ее полицейские органы искали виновных за покушение на территории Сербии, явилось бы угрозой для независимости государства. Понимание, что Сербии не был оставлен выход, содержался в словах, которыми текст ультиматума комментировал министр Лазарь Пачу: «Не остается ничего иного, как погибать».

Союзнические силы великих держав советовали проявлять сдержанность, при этом не ограничивая свободы в формулировках ответа. Однако на тот момент, 25 июля, когда председатель правительства передавал миролюбивый ответ австро-венгерскому послу, Королевство Сербия не знало, на какую поддержку союзников может рассчитать в случае войны с Австро-Венгрией[52]. Сербский ответ на устрашающий ультиматум удивил всех. Даже германский император счел его миролюбивым до такой степени, что он мог быть приемлемым для властей Австро-Венгрии. Вильгельм II отметил, что таким образом «исчезает повод для войны» и что сам он после такого ответа никогда бы не «объявлял мобилизацию». Великобритания предлагала решить спор за столом конференции, и так сдержать неконтролируемое расширение кризиса»[53].

Отвечая на требования, сербское правительство сначала пыталось показать бессмысленность тех пунктов ультиматума, в которых содержались обвинения, что Сербия по отношению к Австро-Венгрии вела себя враждебно и не выполнила обязанностей, которые на нее возлагались после завершения Аннексионнного кризиса. Утверждая, что протесты против аннексии Боснии и Герцеговины «пресечены» заявлением от 31 марта 1909 года и что органы власти Сербии не предпринимали мер и действий, целью которых было бы «изменение политического и правового положения в Боснии и Герцеговине» 1908 года, оно отвергало обвинения по поводу продолжительного враждебного отношения к Австро-Венгрии. В то же время указывало на усилия, которые были предприняты ради того, чтобы развивать с могущественным соседом отношения, которые способствуют миру в Европе. Оно также снимало с себя ответственность за «манифестации частного характера», за появление текстов, которые Вена толковала как враждебные, за манифестации, не подлежащие контролю государства, пропагандистские действия патриотических обществ и организаций. Не принимая обвинений, которые связывали его с организацией покушения, сербское правительство выражало готовность сотрудничать и проявлять максимальную корректность в следственных действиях против лиц, причастных к покушению. Более того, оно обязывалось предать суду любого из сербских подданных, «независимо от его статуса и ранга, за участие в сараевском преступлении, если будут представлены доказательства». И, наконец, оно было готово на страницах «Сербских новостей» (*Српских новина*) опубликовать незначительно откорректированное заявление, которого требовала Вена[54].

Во имя мира сербское правительство обязывалось уже при первом созыве Народной скупщины внести в Закон о печати определение, в соответствии с которым наистрожайше карались бы провокации, воз-

буждающие ненависть и презрение к Австро-Венгрии, подлежали бы запрету и изъятию публикации, направленные «против территориальной целостности» Двойной монархии. Хотя и подчеркивало, что доказательства антиавстрийской деятельности «Народной обороны» отсутствуют, правительство соглашалось распустить это патриотическое общество. То же самое — по отношению к иным организациям, которые бы Вена определила как действующие против интересов Австро-Венгрии. В ответе на ультиматум правительство Сербии выразило готовность из программ народного просвещения убрать «все, что служит или могло бы послужить усилению пропаганды против Австро-Венгрии, если по этому поводу ему будут предоставлены доказательства Императорско-королевской власти из Вены». Вполне ясно выражено было намерение сербского правительства отстранить от службы офицеров и чиновников, в отношении которых «сербскими следственными органами будут получены доказательства, что они виновны в деяниях, направленных против сохранения территориальной целостности Австро-Венгерской монархии», а власти Вены предоставят их имена и укажут на незаконные деяния, ими совершенные. Вечером того же дня, когда был получен ультиматум, сербское правительство дало распоряжение арестовать майора Воислава Танкосича и других упоминавшихся в ультиматуме лиц, запросив у Вены, чтобы как можно скорее были предоставлены доказательства их виновности. Наряду с этим сербское правительство обязывалось «усилить и расширить меры» по предотвращению нелегального оборота оружия через границу с Боснией и Герцеговиной, а также предоставить «искренние объяснения» относительно заявлений, которые после покушения в Сараеве давали его чиновники внутри страны и за рубежом и которые, по мнению Вены, были враждебными.

Особую значимость имела та часть ответа, в которой правительство пыталось «примирить» вещи, едва ли примиримые: требования ультиматума, попирающие суверенитет Сербии, и готовность пойти навстречу Австро-Венгрии до пределов, которые допустимы для независимого государства при условии, чтобы его независимость не была уничтожена. По этой причине в ответе указывалось, что сербское правительство «не вполне понимает смысл и пределы требований Императорско-королевского правительства относительно того, чтобы Сербия на своей территории включилась в сотрудничество с органами Императорско-королевского правительства», однако готово «согласиться на сотрудничество, которое будет отвечать принципам международного права, связанным с криминальными процедурами, а также с добрососедскими отношениями». Правительство Сербии считало своим долгом начать следственные действия «по отношению ко всем тем, кто предположительно был причастен к заговору 28 июня, находясь на территории Королевства» (Сербии). По вопросу же «участия в этом расследовании органов австро-венгерских властей, которые были бы делегированы Императорско-королевским правительством, королевская власть не может на него согласиться, поскольку это было бы нарушением Конституции и уголовно-процессуального кодекса». Оно, тем не менее, считало возможным «в конкретных случаях» предоставлять органам Австро-Венгрии «информацию о результатах расследования». Приняв, собственно, все поставленные условия, сербское правительство отвергло только те, которые содержали требования Австро-Венгрии, чтобы ее полиция на территории Сербии проводила расследование всех обстоятельств, связанных с подготовкой и осуществлением покушения[55]. Поскольку ультиматум Австро-Венгрии составлен так, чтобы всю вину свалить на Сербию, то ответ сербского правительства был таким, что на Сербию вину свалить никак нельзя.

В Манифесте, обращенном к народу непосредственно после передачи ответа, первых отрицательных реакций австро-венгерского посла в Белграде и заявления о разрыве дипломатических отношений, сербское правительство подчеркнуло, что Сербия шла навстречу Австро-Венгрии «до крайних границ уступчивости, которые не может переступить ни одно независимое государство». Это делалось, как было подчеркнуто, «с пониманием потребности в мире, которую чувствует, мы уверены, не только Сербия, но и вся Европа». Гордость не позволяла государству и народу в уступках идти дальше указанного в ответе на ультиматум. В сложившихся обстоятельствах Сербия полагалась на «Божью помощь», «свою правду» и «дружественность великих держав», надеясь, что конфликт «завершится мирно». И все-таки, вынужденное быть предусмотрительным, правительство объявило общую мобилизацию и призвало граждан в случае нападения защищать отечество. В обращении к народу было ясно сказано, что в случае нападения «армия... будет выполнять свой долг», а гражданам, которые не призваны «под знамена», рекомендовалось оставаться в своих домах и «спокойно заниматься своими делами». Заканчивался манифест выражением надежды, что возникший конфликт «разрешится мирным путем». Вместе с тем, сербская дипломатия принимала все меры, чтобы в зарубежных столицах нейтрализовать действие австро-венгерской пропаганды, разъясняя истинные намерения Габсбургской монархии. Правительство дало указание об эвакуации государственных учреждений, банков и Государственного архива, а свое место пребывания перенесло в Ниш[56].

Вечером, 25 июля 1914 года, в Вене вышел указ о частичной мобилизации против Сербии и Черногории. Касался он трех армий и восьми корпусов — в совокупности, двадцати трех пехотных и трех кавалерийских дивизий. Одновременно были мобилизованы для активных действий флоты на Адриатическом море и на Дунае. В разговоре с министром Берхтольдом император Франц Иосиф потребовал в отношениях с Сербией «идти до конца»[57].

Ознакомившись 24 июля 1914 года с содержанием предъявленного Сербии ультиматума, Эдвард Грей записал, что это «самый ужасный документ», когда-либо «предъявлявшийся одному независимому государству другим». В тот же день он ознакомил с этим текстом членов правительства. Грей считал, что Сербия, «приняв такие условия, перестала... бы быть независимой». Помимо всего, он был уверен, что опасность европейской войны станет совершенно определенной, «если Австрия вторгнется в Сербию»[58]. По мнению Уинстона Черчилля, ультиматум был составлен так, что «абсолютно невозможно какому бы то ни было современному государству мира его принять или удовлетворить нападающую сторону, если бы его приняло, несмотря на величайшее унижение»[59]. День спустя, реагируя на происходившее, премьер-министр Герберт Асквит заявил, что «Сербия капитулировала в важнейших вопросах», но высказал сомнение в том, что Австрия согласится на предлагаемые переговоры, поскольку она решила Сербию до конца унизить. Предвидя, что Россия выступит в защиту Сербии, вследствие чего возникнет катастрофа, он считал ультиматум «самым значительным событием в европейской политике за последние десятилетия»[60]. Британский суверен Джордж V считал, что мир находится «на грани общеевропейской войны», однако выражал надежду, что Великобритания «сохранит нейтральность». В этих условиях Эдвард Грей стремился добиться согласия России и вынудить Сербию, чтобы та приняла требования Австро-Венгрии, а обе противостоящие стороны усадить за стол переговоров для решения спора мирным путем. Основной «принцип», которому он следовал, сводился к тому, что великие державы не должны

вмешиваться до тех пор, пока конфликт Австро-Венгрии с Сербией «ограничен». Политика, которую он отчаянно проводил, должна была убедить правительство в Петербурге занять «сдержанную позицию», чтобы избежать столкновения Австро-Венгрии с Россией. Тот факт, что российские и французские власти были солидарны — причем солидарности они требовали и от Лондона — во мнении, что Австро-Венгрии нельзя позволить, чтобы покушение было использовано как повод для вмешательства во внутренние дела Сербии, дополнительно осложнял положение Великобритании. В таких обстоятельствах главной целью Министерства иностранных дел стало не решение спора между Австро-Венгрией и Сербией, а то, как продуманной политикой сохранить одновременно «свободу решений» для Лондона, мир в Европе и Тройственное соглашение. Чтобы достичь этого, Эдвард Грей обращался к четырем европейским державам (Германии, Франции, Италии и Великобритании), чтобы они совместно выступили в Вене и Петербурге, способствуя смягчению требований и предотвращению войны. В этом контексте от Германии ожидалось, что она посоветует Австро-Венгрии не торопиться с военными действиями. По мнению Грея, это был последний шанс избежать столкновения Тройственного союза и Тройственного соглашения.

В то время как лихорадочно велся поиск способа обеспечить защиту жизненных интересов Великобритании, у высоких британских чиновников не возникало сомнений в том, что ультиматум изменил природу всего спора и что уже «дело не в Сербии», а в «столкновении между Германией, которая стремилась установить свою политическую диктатуру в Европе, и силами, которые хотели этому помешать». По этой причине Лондон не был готов принять внушаемые через германского посла Лихновского идеи относительно ограниченной «локальной войны» между Австро-Венгрией и Сербией. Чиновники Министерства иностранных дел не верили в возможность контроля над такой войной, тем более, что понимали: согласие с пунктом 5 ультиматума означает «конец Сербии как независимого государства». В кратком сроке, который был предоставлен для ответа, они видели намерение не позволить великим державам посредничества в деле сохранения мира. Из-за всего этого Лондон не принял четкого решения относительно шагов, которые следует предпринять, если Австро-Венгрия, не приняв ответа Сербии, решит начать войну[61].

Хотя британское Министерство иностранных дел советовало сербскому правительству ответить «примирительно и в сдержанном духе», было ясно, что к обвинениям оно должно относиться в соответствии с собственными интересами. Лондон, без сомнения, должен был удовлетвориться ответом, который на ультиматум дала Сербия, но никак не позицией Вены и крахом намерений на основании этого ответа провести переговоры. Опыт британской дипломатии подсказывал, что события будут развиваться как по цепной реакции, с большой скоростью, без возможности контроля. Вести, приходившие с Балкан, были для Лондона «очень плохи». Эдвард Грей опасался европейской войны и старался убедить Россию, чтобы она прекратила мобилизацию и таким образом в последний момент избежала столкновения с Австро-Венгрией и Германией. Хотя его подчиненные предвидели, что Россия не может хладнокровно наблюдать за нападением Австро-Венгрии на Сербию. А великим державам оставаться в стороне, пока Австро-Венгрия «не задушит Сербию», он считал «преступным делом»[62].

Когда «Июльский кризис» достиг пика, Великобритания вела себя сдержанно. Ее нерешительность была обусловлена стремлением не позволить кризису расширяться. А должная реакция последовала только тогда, когда Германия нарушила нейтралитет Бельгии. У Великобритании не

было конкретных интересов в Сербии, и ее общественное мнение никогда бы не согласилось на то, чтобы вступить в войну из-за этой балканской страны. А отказ от нейтралитета был следствием ее стремления сохранить собственные жизненные интересы.

Через месяц после покушения в Сараеве, 28 июля 1914 года, Австро-Венгрия объявила Сербии войну[63]. В открытой телеграмме, посредством которой это было сделано, указывалось, что Габсбургская монархия, не удовлетворенная данным ответом, «вынуждена опереться на силу оружия ради сохранения своих прав и интересов». Таким образом закончилось многолетнее напряженное состояние отношений Австро-Венгрии и Сербии.

Уже на следующий день было обнародовано военное воззвание Франца Иосифа, в котором указывалось, что «козни» Сербии стали причиной, вынудившей Габсбургскую монархию военными средствами защищать свою честь и статус великой державы. «Ненависть», стремление насильственным путем добиться «отторжения» неотъемлемых частей Монархии, «тайные дела», которые нарушали существующий порядок на юго-востоке Австро-Венгрии, определялись как «неслыханные вызовы Сербии» и причина объявления войны. Пропаганда, сопровождавшая воззвание, осуществлялась в ключе лозунга: «Сербия должна издохнуть». За этим явно стояла и Германия, помогавшая поскорее Сербию «убрать с Балкан как политический фактор». До 28 июля 1914 года такую позицию занимали и самые сдержанные политики — такие, как министр Тиса, давший императору совет: «Даже малейшее промедление или нерешительность могут серьезно снизить оценки энергии Монархии, способности ее к действиям, повлиять на поведение наших друзей и наших противников, а также и на неопределившиеся элементы имели бы пагубное воздействие»[64].

Первой жертвой войны, которую избрала Вена, стала правда. Австро-Венгрия в ноту, посредством которой объявила Сербии войну, внесла очень много неправды, чтобы Моравское Королевство как можно быстрее обвинить. Наибольшую тяжесть имело обвинение в том, что Сербия стоит за покушением в Сараеве, хотя убедительных доказательств, которые бы это утверждение аргументировали, не было[65]. Но подстрекаемые продолжительной военной пропагандой массы граждан Габсбургской монархии за войну «голосовали ногами» — как это позднее метафорически обозначено было историками, — с воодушевлением в большой численности маршем направляясь в сторону Сербии[66].

В тот же день, когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии, начальник ее Генштаба генерал Конрад фон Хётцендорф открыто назвал истинные причины и цели нападения: «С учетом *политической точки зрения,* исключительно опасно позволять, чтобы Королевство Сербия продолжило существовать вне Монархии, а при этом граничило с югославянскими областями Монархии; оно облекается в славу национального героизма и национального прогресса, таким образом становясь привлекательным для югославян из Монархии и союзником для всех врагов Монархии... С учетом *военной точки зрения,* ясно, какую опасность представляет армия численностью 500 000 человек, ведомых единым национальным духом — армия, постоянно готовая напасть с юга на Монархию... «С учетом *экономической точки зрения,* Сербия для Монархии, не имеющей колоний, является важным рынком, и Монархия вынуждена была согласиться, чтобы, вытеснив ее, здесь заняли свои позиции Германия, Италия и Франция; возместить этот экономический ущерб можно только лишь включением Сербии в Монархию; не следует также упускать из вида то, что Сербия исключительно богата и весьма пригодна для экономического развития, так что не следует допускать, чтобы другие государства

использовали ее богатства; соответственно, присоединение Сербии имеет для Монархии не только большую важность, но является именно условием ее существования»[67].

Между тем, наряду с Австро-Венгрией, Германия старалась также с первых дней войны вину за ее развязывание возложить на Сербию и на государства, которые бы оказали ей поддержку. Хотя момент для начала столкновения она оценивала как благоприятный, считая, что Россия воевать все еще не готова, а Великобритания не имеет интереса вмешиваться из-за какой-то балканской страны[68], Император Вильгельм II 28 июля 1914 года направил телеграмму Николаю II, внушая, что тот может предотвратить «беду, которая сейчас грозит всему цивилизованному миру». Доказательством якобы мирных устремлений Германии должно было послужить и заявление канцлера Бетмана Гольвега, сделанное им 4 августа 1914 года: «Даже если все наши усилия... напрасны, даже если нам насильно вкладывают меч в руки, мы пойдем на поле боя с чистой совестью, осознавая, что не хотели войны». В то время, когда канцлер произносил эти слова, германские войска уже нарушили суверенитет Бельгии и Люксембурга, что стало поводом для вступления в войну Великобритании[69].

Вопреки этим заявлениям, бывший посланник Германии в Лондоне принц Лихновский категорически утверждал: «С нашей стороны ничего, абсолютно ничего не было сделано для того, чтобы сохранить мир... из-за нашей жесткой позиции, позиции графа Берхтольда, Россия перестала нам доверять и объявила мобилизацию. Сторонники войны победили... Такую политику можно понять лишь при том условии, что нашей целью была война, и ни в коем ином случае»[70]. Более того, принц Лихновский поведение Германии во время Июльского кризиса считал составной частью и ожидаемым следствием ее ошибочной политики по отношению к великим державам, балканским странам и Австро-Венгрии. Виновной за войну Лихновский считал Германию, помимо прочего, из-за того, что она поддерживала Габсбургскую монархию в намерении напасть на Сербию, «хотя все мы знали, что в этом у Германии нет интереса и что существует опасность мировой войны». «В период с 23 по 30 июля 1914 года, — писал он, — когда Сазонов решительно заявил, что не может потерпеть нападения на Сербию, мы отвергли предложение британцев о посредничестве, несмотря на то, что Сербия под давлением России и Британии приняла ультиматум почти полностью и легко можно было достичь согласия по двум спорным вопросам, а граф Берхтольд был готов даже принять ответ Сербии. Днем, 30 июля, когда граф Берхтольд изъявил готовность сменить курс, мы послали в Санкт-Петербург ультиматум лишь в связи с российской мобилизацией, хотя нападения на Австро-Венгрию не было, а 31 июля мы объявили войну России, хотя царь дал слово, что не позволит ни одному человеку вступить в войну, пока идут переговоры. Поэтому мы намеренно уничтожили всякую возможность мирного решения. В свете этих неоспоримых фактов отнюдь не удивительно, что весь цивилизованный мир вне Германии на наши плечи взваливает всю ответственность за развязывание мировой войны»[71].

В дискуссиях по вопросу ответственности за войну, которые возникли уже в самом начале ее, участвовали многие современники, причем все те, кто представлял сторону Антанты, сходились во мнении, что Сараевское покушение стало лишь поводом, а причины были намного сложнее. «Мировая война началась на Балканах, — подчеркивал Чарльз Вопицка, — однако настоящие корни ее следует искать в намерениях безоглядных автократов, жестокие амбиции которых не считались ни со справедливостью, ни с ограничениями. Тех, кто считал, что покорение свободных народов — лишь первый шаг в «игре» за достижение экономи-

ческого и политического превосходства и, в конце концов, установление доминации в мире. Сербы оказались только «бойком» в спусковом механизме, и их следовало без сожаления устранить как первую преграду на пути завоевания мира»[72].

По словам британского премьера Ллойд Джорджа, «Россия вступила в войну, приняв на себя все ужасы войны, чтобы — верная своей традиционной политике покровительства меньшим родственным ей народам — защитить Сербию от заговора, подготовленного с целью лишить ее независмости. Эта святая жертва втянула в войну не только Россию, но и Францию». Не затрагивая вопрос о вызванных амбициями Германии добиться мирового могущества стратегических угрозах для Великобритании и Франции, вступление их в войну Ллойд Джордж объяснял благородными побуждениями. Ведь «Франция, верно соблюдая условия своего договора с Россией, присоединилась к своему Союзнику в распре, которая не касалась ее непосредственно. Ее рыцарское отношение к договорным обязанностям вызвало дерзкое вторжение в Бельгию, а договорные обязанности Великобритании по отношению к этому небольшому государству толкнули и нас в войну»[73].

Получив 28 июля 1914 года ноту с объявлением войны, сербское правительство собралось на свое историческое, первое военное, заседание. По природе сдержанный и не склонный к горячим речам, Никола Пашич в этой ситуации сказал: «Мы не хотели войны, потому что слишком утомлены и измотаны двумя прошлыми войнами, 1912 и 1913 годов. Однако мы вынуждены навязанную войну принять для защиты чести народа и суверенитета государства. И отдельный человек, когда на него кто-то нападет, даже более сильный, должен защищаться и сражаться, если имеет хоть сколько-то чести и гордости. Впрочем, мы надеемся, что вся Европа нас все-таки не оставит на милость и немилость Австро-Венгрии. Но будь что будет, мы, даже оставшись в одиночестве, будем защищаться до последней капли крови». Зная, что из-за интересов великих держав Сербия не останется одинокой в конфликте, на упорные вопросы министров о том, какие государства определенно будут в состоянии войны, он ответил кратко: «Мы и Австрия»[74]. В войне, которая тогда началась, противником Сербия имела государство с 51 миллионом населения, способное мобилизовать 6 миллионов военнослужащих. А сама она в то время имела около 4 550 000 населения.

Несмотря на огромные несоразмерности масштабов, численности населения и сил, регент Александр в своем первом военном воззвании, выразив сожаление, что Габсбургская монархия решила начать войну, призвал соотечественников сплотиться «под сербским трехцветным знаменем» и всеми силами защищать «сербский очаг и сербское племя»[75]. Подобным же образом поступил и черногорский властитель Никола Петрович. В воззвании от 6 августа 1914 года он осудил Австро-Венгрию за намерение «уничтожить» югославян и «затоптать» Сербию и Черногорию, призывая все сербство следовать традиции предков и противостоять агрессору[76]. Так, уже первые военные манифесты свидетельствовали о двух тенденциях: о стремлении Вены осуществить прорыв на Балканы и о готовности Сербии и Черногории безоговорочно защищать свою независимость.

И Вена, и Берлин учитывали, что война не ограничится территорией Балкан. «Мы осознавали, — подчеркнул германский канцлер в речи перед Рейхстагом всего через несколько дней после объявления Австро-Венгрией войны Сербии и включения в нее других государств, — что какие бы то ни было военные действия против Сербии вызовут непосредственное вмешательство России, а также то, что и нас, в соответствии с нашими обязательствами, втянут в войну»[77].

Коалиции и фронты

Война, объявленная прежде всего Сербии, ставила на испытание заключенные в предшествовавшие десятилетия союзы и тайные соглашения, которые подписывались великими европейскими державами. Противоречивые интересы государств, как входящих в Тройственный союз, так и связанных Тройственным соглашением (Антанта), испытывались совместностью действий и имели множество неизвестных. Германия, например, не рассчитывала на лояльность Италии, тогда как Австро-Венгрия, столкнувшись с итальянскими притязаниями на значительную часть ее территории, имела планы нападения на свою адриатическую соседку.

Военные планы Германии формировались с 1906 года как часть программы развития армии и экономики. Потребности германской индустрии, финансового капитала и производства, обусловленные взаимозависимостью от экономик стран-противников, диктовали условия, независимо от военных планов, чтобы война была непродолжительной и завершилась успешно. Высказывались оценки, что длительная война, помимо невосстановимых человеческих потерь и материального ущерба, грозит революционными волнениями, губительными для существующих властей. Германские стратеги ключом к победе считали наступательные действия, будучи уверенными в превосходстве германской военно-оперативной мысли. Они надеялись, что сила удара уменьшит риск изнурительной окопной войны и губительных действий артиллерии. Оценки, что можно победить и превосходящего по силам противника, основывались на уверенности, что Германия располагает преимуществами в стратегии, тактике, военном руководстве, подготовке, вооружении и моральном состоянии военнослужащих[78].

План войны предусматривал, что следует избегать одновременных действий на два фронта: против Франции и против России. Поэтому с Францией предполагалось провести подобную «сильной, но кратковременной буре» молниеносную войну, в которой бы приняла участие главная часть германских оперативных войск. Ключевой удар планировался через территории Бельгии и Люксембурга с уклонением от фронтального нападения на восточные, укрепленные границы Франции, где существовали возможности для прочной защиты и ведения долговременной окопной войны. Нападение на Россию включалось в существующий военный план дополнительно, и осуществить его нужно было всей военной мощью после победы над Францией. В этих условиях Германия тешила себя надеждой, что в условиях континентальной европейской войны Великобритания останется в стороне; но, как оказалось, это было ошибочное предположение.

Военные планы Австро-Венгрии предусматривали боевые действия против Сербии, Черногории и России. Вена рассчитывала на медлительность России в мобилизации, что австро-венгерской армии предоставляло бы достаточно времени для того, чтобы нанести поражение Сербии. После этого войска были бы переброшены на Восток, и на том направлении они бы сдерживали российские дивизии до тех пор, пока туда не прибудут, после победы над Францией, и германские силы.

Основу Антанты составлял союз России и Франции, а также соглашение, которое, без желания принимать на себя другие обязательства, заключила с ними Великобритания.

Военный план Франции, опиравшийся на обновленную конвенцию с Россией от июля 1913 года, предполагал защиту французско-германской границы с участием 1 300 000 солдат и наступление, которое должна была с Востока осуществить Россия.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Военные же планы России включали два варианта. Первый связывался с начальным ударом Германии по Франции, из-за чего российские войска бы концентрировались на столкновении с Австро-Венгрией. Согласно второму плану, предусматривавшему нападение Германии на Россию, основная часть войск должна была сосредоточиться в этом направлении. В обоих случаях предполагалась наступательная война против Германии — при том, что в первом случае предполагалось предварительное уничтожение австро-венгерских сил[79].

По сербскому плану, составленному в 1908 году, главным было «держаться в обороне, пока политическая и стратегическая обстановка не выяснится, а тогда действовать по ситуации». Основной удар противника ожидался с севера (на линии Обреновац — Белград — Пожаревац), из-за чего главные оборонительные силы концентрировались за пограничными реками Савой и Дунаем, тогда как вспомогательные линии обороны были сосредоточены возле Дрины. С этого направления, где много различных горных преград и нет хороших дорог, решающего нападения не ожидалось. Этот план предусматривал изначально оборону, пока не будет осуществлена консолидация линии обороны и не сконцентрируются войска, а после этого — переход в наступление и прорыв в Срем и Боснию[80].

Защищая свои интересы на Балканах и стремясь предотвратить возможный прорыв Германии на Восток, прежде всего к Босфору и Дарданеллам — проливам, по которым вывозилось ее зерно, Россия мобилизацией войск продемонстрировала, что не оставит Сербию на произвол. Руководствуясь конкретными интересами и рациональными расчетами, она не могла допустить краха Сербии, завоевания Германией Балкан и проливов, преграждения связи со Средиземноморьем и прорыва ее на Средний Восток. В возникшей ситуации мобилизация войск показала четко определенный выбор России — что она, став рядом с Сербией, защищает собственные позиции. Но и когда 29 июля 1914 года уже начался артиллерийский обстрел Белграда с австро-венгерских боевых кораблей, Россия все-таки сделала еще раз попытку, безуспешную, чтобы спор между Сербией и Австро-Венгрией был разрешен Гаагским судом. Объясняя впоследствии решение оказать поддержку Сербии, министр Сазонов на заседании Государственной думы заявил, что Россия не могла допустить, чтобы «воля» Австро-Венгрии и Германии становилась «законом в Европе». В то же время, если бы осталась глухой по отношению к мольбам Сербии о помощи, это бы означало, что она отказывается от многовековой роли защитницы балканских народов[81].

Германия в ближайшие дни объявила общую мобилизацию, «угрожая состоянием войны» в случае, если Россия не прекратит мобилизации у себя. Вечером 31 июля 1914 года она ультимативно потребовала от Франции заверений, что та в предстоящем германско-российском конфликте останется нейтральной. А как залог нейтральности, потребовала сдачи крепостей Верден и Тул. В первый день августа 1914 года Германия объявила войну России, а два дня спустя, 3 августа 1914 года, — и Франции, которая тоже объявила мобилизацию. Таким образом, Берлин оказался в ситуации, когда нужно было осуществлять заранее составленный план военных действий: нападение и молниеносная война против Франции на западе Европы, а после этого — переброска войск на восток и война с Россией. Сразу же после объявления войны Франции германские войска вторглись на территорию Бельгии. На следующий день, 4 августа, в войну вступила Великобритания. Поддержав Сербию, Черногория 5 августа объявила войну Австро-Венгрии, а затем и Германии. Всего за несколько дней почти вся Европа оказалась в состоянии войны[82].

На момент начала войны для Австро-Венгрии было оптимальным, чтобы конфликт оставался в локальных пределах, без вмешательства других сил. Поэтому австро-венгерская дипломатия старалась убедить Петербург, Париж, Лондон и Рим в том, что война с Сербией не имеет захватнических целей, что это своего рода «полицейская акция», проводимая с целью наказания и уничтожения «очага заговоров». Соответственно, войну представляли как вынужденную самооборону. С другой стороны, Германии нужно было такое решение, чтобы без большой войны, через Балканы и Турцию осуществить прорыв на Средний Восток. Между тем, она готовилась также к войне, в ходе которой можно было бы рассчитаться и с Францией, и с Россией. Стремление к мировому могуществу вело к новому разделу мира и установлению порядка, при котором Германия получила бы доминирующую роль.

Силы Антанты включились в войну с целью защитить свои имперские интересы. Россия стремилась взять под свой контроль Балканы и морские проливы, открывая путь к южным морям. Поражение Австро-Венгрии принесло бы ей доминирование на Паннонской низменности, в Восточной и Средней Европе. А Франция и Великобритания защищали свои колониальные владения и надеялись на новые территориальные приобретения. Их интересы включали также контроль над источниками нефти на Среднем Востоке, укрепление позиций в Европе, прибыли, обусловленные доминированием на морях, и устранение конкуренции в морской торговле. По этим причинам Сараевское покушение стало поводом для начала войны, которой прежде мир не знал[83].

С самого начала войны в Европе определились три театра военных действий или фронта: Западный, Восточный и Балканский.

В соответствии с изначально разработанным планом, германские войска в начале августа вторглись в нейтральный Люксембург, быстро захватили Бельгию и оттуда совершили нападение на Францию с целью уничтожить позиции союзников на Марне, занять Париж и оттуда диктовать условия перемирия. Успехи, достигнутые в приграничных боях вблизи Льежа, в Лотарингии, в Арденнах и возле Монса, вызвали у воевавших на французском фронте германских генералов и высших офицеров уверенность, что война продлится еще всего недель шесть; вследствие этого началась переброска германских войск на Восток. Между тем, в начале сентября германское наступление было остановлено, а контратакой примерно 900 000 французских и британских воинов на Марне защищена столица Франции. Победе союзников поспособствовало то, что к этому времени российские войска предприняли наступление в Восточной Пруссии и Галиции, вынудив германское военное командование часть сил перебросить с запада на восток. Таким образом, Германия была вынуждена вести длительную и изнурительную войну на два фронта, Западный и Восточный, деля между ними свои части, размещенные на огромных пространствах. Сформированный в 1914 году Западный фронт, сплошь в окопах, растянулся на 700 километров от Ламанша до Швейцарии.

В другой части Европы, на Востоке, российская армия еще до завершения мобилизации должна была реагировать на постоянные требования Франции как можно скорее пойти в наступление. И она пошла в двух направлениях: против сил германских — в Восточной Пруссии, а также против австро-венгерских — в Галиции. Несмотря на первоначальные успехи, с обеих сторон терпела поражение, а после проигранных битв возле Таненберга и Мазурских озер вынуждена была отступить.

Потери, которые уже в первый год войны понесла Австро-Венгрия, были тоже велики. К середине сентября, когда было завершено сражение

в Галиции, у нее насчитывалось около 250 000 убитых и раненых, а также примерно 100 000 попавших в плен. В конце 1914 года на этом театре военных действий был сформирован Восточный фронт, растянувшийся от Балтийского моря до Карпат. Он был значительно подвижнее Западного фронта, а главную слабость его для союзников составляла постоянная нехватка оружия, боеприпасов и снаряжения у российской армии. Многочисленная, она нередко терпела и голод, что существенно отражалось на ее боеспособности.

Союзники в течение 1914 года начали также борьбу за германские колониальные владения, успев захватить все колонии, принадлежавшие Германии на Дальнем Востоке и в Тихом океане, а также Того в Африке.

Планы, с которыми великие державы включились в войну, были наступательными, сосредоточенными на больших сражениях, которые в краткие сроки должны определить победителей. А ход операций и итоги борьбы в 1914 году показали, насколько осуществленное отличается от запланированного. Германский план не соответствовал стратегической ситуации в Европе и как таковой требовал огромного напряжения. Он, помимо всего, не предусматривал включения в войну Великобритании. Французские генералы предвидели вторжение Германии во Францию через территорию Бельгии. Планы России не были согласованы с военными, экономическими и организационными возможностями страны. Ожидания Австро-Венгрии, особенно на Восточном фронте, не соотносились с реальностью. Генеральные штабы всех великих держав запланировали такие операции, в ходе которых нужно было окружать и уничтожать силы противника, что обусловило растягивание фронтов и превращение их в линии непрерывных столкновений. Часто получалось так, что противник недооценивался, а это оборачивалось болезненными поражениями. Уже в первый год войны так получалось у Германии в сражениях с Россией и Францией, равно как и у Австро-Венгрии в боях с Сербией. Окопная война, в которой ни одна из воюющих сторон не имела достаточно сил для прорыва фронта, изнуряла обе противоборствующие стороны, а некоторые рода войск в такой войне вообще теряли смысл. Неизменность положения на фронтах, осознание, что война затянется надолго, большие потери, падение производства и уровня жизни, обеднение и другие проблемы актуализировали вопрос о заключении «частного» (сепаратного) мира, который Германия, при определенных условиях, была готова предложить как России, так и Франции. Поставленные перед проблемой, как одолеть противника, военные стратеги не находили нужного ответа. Вновь активизировалась тайная дипломатия, которая пыталась нажимами и предложениями различных компенсаций привлечь еще остававшиеся нейтральными государства на сторону одного из воюющих блоков.

«Всемирная литература» в «Немане»

Комментарии

[1] *А. Џ. П. Тејлор, Борба за превласт у Европи 1848—1918, Сарајево 1968, с. 468.*

[2] Йован М. Йованович, сербский посол в Вене, в конце мая 1914 года предупредил министра по делам Боснии и Герцеговины в правительстве Австро-Венгрии, что прибытие престолонаследника Фердинанда на маневры, причем именно в большой сербский праздник, является своего рода вызовом для сербов. Полицейские власти Сараева также считали, что приезд престолонаследника в Видов день «многие, а особенно экстремистские элементы считают вызовом». Несмотря на это, генерал Потьорек не соглашался отложить этот визит, подчеркивая, что все заботы по встрече эрцгерцога лежат на военных властях (*Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе СХС, књ. 1, с. 201; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 652—653*).

[3] «Млада Босна» была частью широкого молодежного движения, которому свойственны были ученический бунт против ограничений в школах, поколенческий конфликт со старшими, убеждение, что история делается за школьными партами, принадлежность к «массовому типу национализма», стремление идентичность доказывать «индивидуальным жестом». Идейные влияния шли от опыта германского молодежного движения, идей Джузеппе Мадзини, идеологии социализма — прежде всего русского, хорватского «праваштва»... Название «*Млада Босна*» стало использоваться после 1907 года, означая «новый дух взбунтовавшихся молодых писателей». Поворот наступил после аннексии Боснии и Герцеговины, когда молодые люди решили дать ответ на насилие, совершенное Австро-Венгрией. Весь край был наводнен тайными студенческими обществами, которые противостояли попыткам создания боснийской нации, а стремились к культурному объединению югославян, а также и созданию единого югославянского государства. Младобоснийцы имели связи с газетой «Славянский юг» (*Словенски југ)*, которая отстаивала те же идеи, и организацией «Черная рука» (*Црна рука*). Мощные импульсы им дали успехи Сербии в балканских войнах. Подробнее см.: *Споменица Данила Илића, Сарајево 1922; Станоје Станојевић, Убиство аустријског престолонаследника Фердинанда, Београд 1923; Богољуб Јевтић, Сарајевски атентат, Сарајево 1924; Сарајево, Загреб 1926; Перо Слијепчевић, Напор Босне и Херцеговине, Сарајево 1929; Божо Черовић, Босански омладинци и Сарајевски атентат, Сарајево 1930; Бранко Чубриловић, Петар Кочић и његово доба, Бања Лука — Загреб 1934; Добросав Јевђевић, Сарајевски атентатори, Загреб 1934; Владимир Дедијер, Сарајево 1914, Београд 1966, с. 395—526; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 622—646; М. Екмечић, Стварање Југославије 1790—1918, књ. 2, с. 523—546.*

[4] *М. Екмечић, Стварање Југославије 1790—1918, књ. 2, с. 685.*

[5] *Мемоар принца Лихновског, с коментаром Алберта Томе, бив. фран. министра наоружања, s. а., с. II*

[6] По свидетельству графа Парра, первого императорского адъютанта, сам Франц Иосиф после получения депеши о трагическом происшествии сказал: «Бог наконец все направил на путь истинный. Теперь я могу спокойно умереть» (*Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе СХС, књ. 1, с. 70*). Согласно другой записи, он выразил по сути то же чувство: «Ужасно! Нельзя Всевышнего искушать. Высшая сила установила порядок, который я не сумел поддержать». Цит. по: *Ж. П. Блед, указ.соч., с. 609.*

[7] Об условиях, в которых члены «Молодой Боснии» решили совершить покушение, Сэтон-Уотсон писал: «Их головы были уже так переполнены террористическими мыслями, что достаточно было простого побуждения со стороны товарищей в своем кругу, дома, чтобы они двинулись на дело. Это является одновременно и наилучшим доказательством, что инициатива исходила из Боснии, а не со стороны Сербии». Цит. по: *Сарајево, Загреб 1926, с. 48; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 629.*

[8] На одном из заседаний, состоявшихся в июне, правительство Сербии постановило: «1. Министру внутренних дел принять самые строгие меры, чтобы всякого рода неконтролируемые и недозволенные переходы нашей и австро-венгерской

«Всемирная литература» в «Нёмане»

границ исключить, а также провести как можно быстрее работу по увольнению членов «Черной руки» с важных должностей в армии. 2. Пашичу наиболее подходящим способом оповестить кого следует в Вене и обратить больше внимания на боснийскую молодежь, чтобы она, увлеченная великосербской пропагандой, не устроила какую-нибудь неподобающую демонстрацию и авантюру в связи с большими сараевскими маневрами, которые австро-венгерская армия необычайной численностью 250 000 человек с австро-венгерским престолонаследником Фердинандом во главе демонстративно организовала на нашей западной границе». Цит. по: *В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 655.*

[9] Подробнее см.: *В. Дедијер, Сарајево 1914, с. 473—540; Милан Ж. Живановић, Пуковник Апис. Солунски процес хиљаду деветсто седамнаесте. Прилог проучавању историје Србије од 1903. до 1918. год., Београд 1955, с. 553—561; Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, с. 38—43; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 632—638.*

[10] *Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, књ. прва, с. 74.*

[11] Цит. по: *Н. Поповић, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, с. 45—46.*

[12] *Там же, 45—48.*

[13] Европейское общественное мнение было насыщено предрассудками и антиславянскими настроениями, которые нашли выражение и в материалах печати по поводу покушения в Сараеве. В этом контексте почти вся британская печать непосредственно после известий о покушении ответственность за убийство приписывала сторонникам Великой Сербии. Спустя несколько дней информация изменилась, и корреспонденты из Вены, Берлина и Сараева начали указывать на задний план «необоснованных обвинений» против Сербии.

[14] О событиях в ходе «июльского кризиса» подробнее см.: *Luigi Albertini, The Origins of the War of 1914, 3 vols, Oxford 1952—1957; Imanuel Geiss, July 1914: The Outbreak of the First World War. Selected Documents, London — New York 1967; Fritz Fischer, War of Illusions: German Politicies from 1911—1914, London 1975; Z. S. Steiner, Britain and the Origins of the First World War, New York 1977; F. H. Hinsley, The British Foreign Policy under Sir Edward Grey 1905—1916, Cambrige 1977; Joll, The Origins of the First World War, London 1992; Keith M. Wilson (ed), Decisions for War 1914, London 1995; David Stevenson, The Outbreak of the First World War, London 1997; Annika Mombauer, Helmuth von Moltke and Origins of the First World War, Cambridge 2001 (глава 4).*

[15] *Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, књ. прва, с. 83.*

[16] К. Херман, один из виднейших представителей военных и клерикальных кругов в Боснии и Герцеговине, а позднее — заместитель гражданского комиссара в оккупированной Сербии, призывал к расправе следующими словами: «Сотнями виселиц невозможно было бы рассчитаться за драгоценные головы убитых». О погромах подробнее см.: *В. Ћоровић, Црна књига. Патње Срба Босне и Херцеговине за време светског рата 1914—1918, Београд—Сарајево 1920, с. 25—51.*

[17] *Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, књ. прва, с. 83.*

[18] *В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 671—672; В. Ћоровић, Црна књига..., с. 25—53.*

[19] *А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 33—34; Ж. П. Блед, указ.соч., с. 612—613.*

[20] Цит. по: *В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 669; Ж. П. Блед, указ.соч., с. 612—613; За балканскими фронтами Первой мировой войны, с. 63—66.*

[21] Цит. по: *А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 41; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 670.*

[22] Германская историография и политика уже с 1919 года старались доказать, что на Германию в 1914 году было осуществлено нападение, что она вступила в

«превентивную войну» и вынуждена была «наступательно вести войну оборонительную» (*Joll, The Origins of the First World War, London 1992; Berghand, Germany and the Approach of War, London 1993; Seligman and Roderick R. McLean, Germany from Reichto Republic 1871—1918, London 1992; Hew Strachan, The Frst World War, vol. I: To Arms, Oxford 2001, с. 1—102; Samuel R. Wiliamson, Austria-Hungary and the Origins of the First World War, London 1991; David Stevenson, Armaments and the Coming of War: Europe 1904—1914, Oxford 1996; David G. Hermann, The Arming of Europe and the Making of the First World War, Princeton 1997*).

[23] *А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 42—44; А. Митровић, Србија у Првом светском рату, с. 52—55; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 678; За балканскими фронтами Первой мировой войны, с. 67—68.*

[24] Цит. по: *А. Момбауер, указ.соч., с. 17; I. Geiss, July 1914: Selected Documents, 77. В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 680.*

[25] *А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 49—50; А. Момбауер, указ.соч., с. 18; I. Geiss, July 1914: Selected Documents, 77.; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 678—679.*

[26] *А. Момбауер, указ.соч., с. 15—16; В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, с. 681; За балканскими фронтами Первой мировой войны, 67—71.*

[27] *А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 48—55.*

[28] Министр Берхтольд поставил вопрос, «наступил ли момент, чтобы Сербию навсегда сделать безвредной тем, что ей будет продемонстрирована сила». В дискуссии участвовал и министр Тиса, выступавший против какого бы то ни было военного удара по Сербии без предварительных дипломатических действий, которые убедили бы европейские державы в небходимости интервенции. Предлагая, чтобы требования, выставляемые Сербии, были «тяжелыми, однако не невыполнимыми», он считал, что в противном случае Австро-Венгрия окажется в очень трудной ситуации — будет обвинена в развязывании войны (*В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку,* с. 690—695).

[29] *Там же,* с. 696—697.

[30] *Ж. П. Блед, указ.соч., с. 619; За балканскими фронтами Первой мировой войны, с. 68—71;* Император Франц Иосиф 8 июля 1914 года обещал министру Тисе, что не будет аннексировать территорию Сербии, таким образом вынудив его отказаться от требования, чтобы территориальные претензии Вены до начала военной интервенции были дипломатически засвидетельствованы в европейских столицах.

[31] В письме, которое 18 июля 1914 года германский министр иностранных дел фон Ягов отправил К. П. Лихновскому, послу в Лондоне, открыто указывалось, что Россия не готова к войне и что ей для комплексного перевооружения армии потребуется несколько лет. Тогда бы она была готова Германию «задавить... численностью своих солдат», построенным флотом и выстроенной стратегией. А к тому времени германская группировка становилась бы «все слабее и слабее». Цит. по: *Ю. А. Писарев, Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны, Москва 1986, с. 254—255.*

[32] *А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 186—197.*

[33] По изложенному в позднейших мемуарах свидетельству министра иностранных дел Берхтольда, «император полностью осознавал большую серьезность... даже трагичность этого исторического момента... Но как ни трудно, пожалуй, было ему принять решение, в связи с которым мог бы не сомневаться, что оно будет иметь тяжелые последствия, он принял его с достоинством, спокойно и дал, без колебаний, приказ об исполнении» (*Ж. П. Блед, указ.соч., с. 615*).

[34] *За балканскими фронтами Первой мировой войны, с. 67—71; А. Момбауер, указ.соч., с. 18; J. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 23—25.*

[35] Сербия признает, что положением, создавшимся в Боснии, ее права не ущемлены и что вследствие этого она подчинится решениям, которые великие державы

примут с учетом п. 25 Берлинского договора. Следуя рекомендациям великих держав, Сербия обязуется прекратить политику протеста и сопротивления, которую вела с сентября прошлого года в связи с аннексией, а в дальнейшем обязуется изменить направление своей прежней политики по отношению к Австро-Венгрии и впредь с Австрией сосуществовать на основе дружественных соседских отношений» (*Велики рат Србије 1914—1918, пр. Д. Живојиновић и М. Војводић, с. 5*).

[36] Чтобы унизить, Австро-Венгрия от Сербии требовала, чтобы она этим навязанным обязательствам придала «торжественный характер» и на первой странице официальных газет 26 июля 1914 года опубликовала следующий текст:

«Власть Королевства Сербия осуждает пропаганду, которая направлена против Австро-Венгрии, т. е. осуждает все те тенденции, целью которых является отделение от ей принадлежащей, австро-венгерской, территории, выражая самые искренние сожаления из-за ужасных последствий этих преступных действий.

Власть Королевства Сербия сожалеет, что сербские офицеры и чиновники принимали участие в упомянутой пропаганде и тем самым поставили под вопрос дружественные соседские отношения, которые сербская власть нотой от 31 марта 1909 года самым торжественным образом обязалась поддерживать.

Власть Королевства Сербия, осуждающая всякий помысел и всякую попытку вмешательства в судьбу населения какой бы то ни было части Австро-Венгрии, считает своим долгом офицеров, чиновников и все население Королевства Сербии категорически предупредить, что впредь будет с крайней строгостью поступать по отношению к тем лицам, которые бы не прислушивались к этому, и что будет стараться всеми силами делать такое невозможным и его подавлять».

Приведенный текст особым распоряжением требовалось довести до ведома армии, опубликовать его в официальной военной газете (*Велики рат Србије 1914—1918, с. 6—7*).

[37] Наиболее спорные требования австро-венгерского ультиматума гласили:

«...Власть Королевства Сербия обязуется...

4. Согласиться, чтобы в Сербии органы импер. и королевской власти участвовали в подавлении движения против территориальной целостности монархии;

5. Провести следственные действия против тех соучастников заговора 28 июня, которые находятся на сербской территории. В расследовании, к этому относящемся, будут участвовать органы, которые импер. и королевская власть для сего определит» (*Документи о спољној политици Краљевине Србије, књ. VII, св. 2, 1/14. Мај — 22/4. август 1914, пр. Владимир Дедијер и Живорад Анић, Београд 1980, с. 628—631; Велики рат Србије 1914—1918, 7—8; Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, књ. прва, с. 150—154*).

[38] Посылая ультиматум прежде всего барону Гизлю, австро-венгерскому послу в Белграде, который должен был вручить его сербскому правительству, министр Берхтольд послал ему также инструкцию, как себя вести в сложившейся ситуации. От Николы Пашича, например, нужно было требовать, чтобы он в случае публикации искомого заявления предоставил его сербский перевод, который можно было бы проверить. «Кроме того, барону Гизлю ранее уже указано, что по истечении срока в 48 часов после передачи ноты он должен отправить еще одну ноту, в которой уведомит сербское правительство, что поскольку срок в 48 часов истек, он с персоналом посольства, по указанию своего правительства, покидает Белград, а ведение дел и заботу о подданных передает германскому посольству, для которого будет выделен один императорско-королевский канцелярист». Прочитав ультиматум и инструкцию, барон Гизль, по свидетельству одного чиновника, от «радости прыгал». Потому что «его желания и как воина, и как австрийца, наконец-то стали исполняться; его работа в Стамбуле, в Цетине, в Лондоне и Белграде должна была завершиться войной против Сербии» (*Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, књ. прва, с. 136—138*). И действительно, когда Никола Пашич, сопровождаемый взглядами журналистов, зашел в здание австро-венгерского посольства, за 15 минут до истечения срока чемоданы дипломатов и чиновников уже были упакованы.

[39] Формулирование ультиматума было поручено Александру фон Мусулину (*А. Митровић, Србија у Првом светском рату..., с. 70—73, 181; А. Момбауер, указ.соч., с. 16—17)*.

[40] Подробнее см.: *Документи о спољној политици Краљевине Србије, књ. VII, св. 2, 1/14. Мај — 22/4. август 1914, с. 635—637; Н. Поповић, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, с. 48—50; За балканскими фронтами Первой мировой войны, с. 64—65*. В акте, который российским временным поверенным был передан 22 июля 1914 года, правительство в Вене предупреждалось «дружественно и ясно об опасных последствиях, если предполагаемыми требованиями Сербия будет унижена». Цит. по: *J. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 20.*

[41] *Там же, с. 27.*

[42] *Н. Поповић, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, с. 52—54; За балканскими фронтами Первой мировой войны, 73—74; Василиј Штрандман, Балканске успомене, Београд 2009.*

[43] *Н. Поповић, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, с. 55—56. За балканскими фронтами Первой мировой войны, 74—75.*

[44] *Там же, с. 75.*

[45] Решение поддержать Королевство Сербию военными средствами Россия приняла 25 июля 1914 года, о чем регент Александр был оповещен телеграммой два дня спустя. В период с 27 по 31 июля правительство Франции неоднократно подтвердило намерение выполнить все обязанности, которые вытекали из договора о союзничестве с Россией (*Ђ. Станковић, Сто говора Николе Пашића..., II, с. 22; Н. Поповић, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, с. 56—58*).

[46] *Д. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство..., с. 319—323, 329—330.*

[47] *Там же, с. 323—324; M. Ekstein, Some Notes on the Sir Edward Greys Policy in July 1914, The Historical Jurnal, XV, 2, 1977, 322; Z. S. Steiner, Britan and the Origins of the First World War, New York, 398—399.*

[48] В речи, произнесенной 17 июля 1914 года, Дэвид Ллойд Джордж заявил, что «хотя во внешней политике никогда не существовало полностью голубого неба... трудности будут преодолены» (*Дејвид Лојд Џорџ, Ратне успомене, I, Београд 1938)*.

[49] *Д. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство, 325—329.*

[50] Министр финансов Лазарь Пачу, который при отсутствии Николы Пашича в числе первых был ознакомлен с содержанием ультиматума, оповестил иностранные посольства следующим образом: «Сербское правительство не приняло никакого решения, поскольку всех министров нет в Белграде, но уже сейчас я могу сказать: требования таковы, что их в целом не сможет принять никакое сербское правительство». Цит. по: *J. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 25.*

[51] Цит. по: *J. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 26.*

[52] Первый знак поддержки пришел в запоздалой телеграмме российского царя Николая II, в которой, наряду с иным, говорилось: «Пока будет надежда избежать пролития крови, все мои усилия будут устремлены к этой цели, но и если не удастся, вопреки нашим самым искренниим желаниям... даже в этом случае Россия не оставит Сербию». Цит. по: *J. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 31—32.*

[53] *Документи о спољној политици Краљевине Србије, књ. VII, св. 2, 1/14. Мај — 22/4. август 1914, с. 633—658; Велики рат Србије 1914—1918, с. 5—8; Бранко Петрановић, Момчило Зечевић, Југославија 1918—1988, Тематска збирка докумената, Београд 1988, с. 28; А. Митровић, Србија у Првом светском рату, с. 72—76; Петар Томац, Први светски рат 1914—1918, Београд 1973, с. 17—18.*

[54] Заявление, которое сербское правительство было готово обнародовать, гласило:

«Правительство Королевства Сербия осуждает всякую пропаганду, которая была бы направлена против Австро-Венгрии, т. е. совокупность устремлений, которые настраивают в конечном итоге на отделение от Австро-Венгерской монархии территорий, принадлежащих ей, и сожалеет искренне о роковых последствиях таких преступных действий.

Королевское Правительство сожалеет, что некоторые офицеры и чиновники участвовали, по сообщениям Императорского и королевского правительства, в упомянутой выше пропаганде и компрометировали этим отношения добрососедства, поддерживать которые королевское Правительство торжественно обязалось своим заявлением от 31.3.1909 года.

Правительство, не одобряющее и отвергающее всякую идею или попытку вмешательства в судьбу населения какой бы то ни было части Австро-Венгрии, считает своим долгом официально уведомить офицеров, чиновников и весь народ Королевства, что впредь будет применять самые строгие меры по отношению к лицам, которые будут виновны в подобного рода действиях, в связи с которыми будут предприняты все наши усилия, чтобы их предотвратить и подавить» (*Велики рат Србије 1914—1918, с. 9—10*).

[55] *Документи о спољној политици Краљевине Србије, књ. VII, св. 2, 1/14. Мај — 22/4. август 1914, с. 633—658; Велики рат Србије 1914—1918, с. 8—12; Б. Петрановић, М. Зечевић, указ.соч., с. 28; А. Митровић, Србија у Првом светском рату, с. 72—76; П. Томац, указ.соч., с. 17—18.*

[56] *Документи о спољној политици Краљевине Србије, књ. VII, св. 2, 1/14. Мај — 22/4. август 1914, с. 595—598, 689—690; Велики рат Србије, с. 12—13; Фердо Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914—1918, Загреб 1920, с. 1; А. Митровић, Србија у Првом светском рату, с. 67—69.*

[57] Мобилизованы были корпуса, штабы которых находились в Праге, Литомержицах, Граце, Загребе, Будапеште, Темишваре, Сараеве и Дубровнике (*П. Томац, указ.соч., с. 17; Ж. П. Блед, указ.соч., с. 618).*

[58] *J. M. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 26).*

[59] Известие об австро-венгерском ультиматуме Сербии поступило в то время, когда в парламенте Великобритании обсуждался ирландский вопрос и решалось политическое будущее Объединенного Королевства. «Дискуссия завершалась без какого-либо решения, — записал Уинстон Черчилль, — и члены Министерского совета собрались расходиться, когда сэр Едвард Грей, сдержанным тоном своего голоса, начал зачитывать документ, который ему как раз в тот момент был принесен из Министерства иностранных дел. Это была австрийская нота Сербии. Он уже несколько минут читал или говорил, а на мой мозг все еще давила досадная и невероятно утомительная дискуссия, которая только что закончилась. Все мы были утомлены; но в итоге постепенного выстраивания звучавших фраз, одной за другой, в моем сознании начали создаваться впечатления совсем иной природы. Эта нота явно была ультиматумом; причем ультиматумом такого рода, какого, по способу составления, не бывало в современной истории. По ходу дальнейшего зачитывания выяснилось, что абсолютно невозможно какому бы то ни было современному государству мира его принять или удовлетворить нападающую сторону, если бы и приняло его, несмотря на величайшее унижение. Перед этой ситуацией исчезали в туманах и бурях ирландские приходы Ферманаха и Тайрона. И сразу же на карту Европы стал падать, постепенно распространяясь, некий странный свет» (*Винстон Черчил, Светска криза 1911—1918, I, Београд 1936, с. 172; Александар Раковић, Југословени и Ирска револуција 1916—1923, Београд 2009, 30—31*).

[60] Герберт Асквит в своих комментариях записал, что австрийцы — «самый глупый народ в Европе, поскольку их брутальный поступок будет способствовать тому, что большинство мира сделает вывод: в данном случае великая держава намеревается своевольно унизить малую страну». Сам ультиматум он оценил как «оскорбительный и унижающий», выразив сомнение в том, что Сербия может его принять и на него ответить в течение 48 часов (*Д. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство..., с. 335—336; H. H. Asquith, Memoirs and Reflections 1852—1925 by the earl of Oxford and Asquith, II, London 1928, с. 5, 80—81*).

[61] *Д. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство, с. 330—332; I. Geiss, July 1914, 162—216.*

[62] *Д. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство, с. 330—344.*

[63] *М. Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, с. 350.*

[64] *Ж. П. Блед, указ.соч., с. 620; Ј. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 21.*

[65] В донесении, которое советник Ф. Визнер, направленный в Сараево для расследования, прислал 13 июля 1914 года графу Берхтольду, писалось: «Материалы времени атентата не дают никаких оснований считать, что пропаганду поддерживало сербское правительство. В подтверждение того, что это движение подпитывают общества из Сербии, а также, что сербское правительство это терпит, имеется достаточно материалов, хотя и скудных. То, что руководство сербского правительства знало о покушении, либо что его готовило или передавало оружие, ничем не доказано, а может лишь предполагаться. Более того, имеются предпосылки считать, что это исключено (*В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, Београд 1992, с. 699; Ј. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 47*). В исследовании Андрея Митровича перевод приведенного текста гласит: «что соучастие сербского правительства в организации атентата, в его подготовке или передаче оружия не могло быть ничем доказано и невозможно это предположить. Более того, существуют обстоятельства, которые это исключают» (*А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 21*).

[66] *А. Џ. П Тејлор, указ.соч., с. 262—269.*

[67] *А. Митровић, Продор на Балкан..., с. 163.*

[68] В Берлине существовало убеждение, что Россия, из-за огромных потерь престижа во внутреннем и внешнем планах, должна поддержать Сербию в кризисе, который был вызван Сараевским покушением. Оценивалось, что война с Сербией на 90 % означает одновремено и войну с Россией (*Ф. Фишер, указ.соч., 82).*

[69] *А. Момбауер, указ.соч., с. 23.*

[70] *Мемоар принца Лихновског с коментаром Алберта Томе, с. 13—69.*

Желая умалить свою роль в развязывании войны, германское правительство уже 3 августа 1914 года составило «Белую книгу», под обложками которой были собраны документы, доказывавшие, что Германия за войну ответственности не несет. У этой книги имелся подзаголовок: «Как Россия и ее правитель обманули доверие Германии, таким образом вызвав европейскую войну». Уже в середине 20-х годов XX века часть критически настроенной германской общественности считала это произведение «самой лживой» книгой о причинах войны.

[71] *Мемоар принца Лихновског с коментаром Алберта Томе, с. 13—69.*

Роль Германии в развязывании войны критиковал и социалист Карл Либкнехт, по мнению которого, это было империалистическое столкновение, начатое ради установления контроля над промышленным и банковским капиталом. С точки зрения гонки вооружений Либкнехт определял это как «превентивную войну, которую совместно вызвали Германия и Австрия во мраке полуабсолютизма и тайной дипломатии». Немецкий генерал граф Макс фон Монжела усматривал «тройную вину Германии»: пытаясь сохранить мир все увеличивающимся вооружением, она сознательно вызвала войну, *которую назвала «превентивной», а при этом имела военные цели, которые ни один честный противник «не мог принять». Цит. по: А. Момбауер, указ.соч., с. 26—31.*

[72] *Ч. Џ. Вопицка, указ.соч., с. 19.*

С большим пониманием балканских проблем американский дипломат далее писал: «Балканы получили название «кризисный центр европейской политики». Кого-то, недостаточно знающего реальность, это название, пожалуй, могло бы подтолкнуть к выводу, что в самой природе населения данного региона заложено свойство постоянно создавать проблемы; что здесь зачинаются все раздоры и конфликты; а также что события на Балканах держат в состоянии постоянного напряжения и волнения миролюбивые народы вне данного региона. Но истина в ином: из-за своих природных ресурсов и географического положения Балканский полуостров с давних времен был притягательной «наградой», которую нужно добыть путем завоевания. Вследствие этого Балканы и становились жертвой многочисленных вторжений и разорений, сопровождавших эти вторжения, значительно чаще, нежели какой бы то ни было иной цивилизованный регион на Земле» (*Там же,* с. 21).

«Всемирная литература» в «Нёмане»

[73] *Грађа о стварању југословенске државе (1. I — 20. XII 1918), пр. Д. Јанковић и Б. Кризман, том I, Београд 1964, с. 13—14.*

[74] *Ђ. Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Зајечар 1995, 51.*

[75] *А. Митровић, Србија у Првом светском рату, с. 6; Ф. Шишић, указ. соч., с. 2—3.*

[76] *А. Митровић, Србија у Првом светском рату, с. 6; Ф. Шишић, указ. соч., с. 26—27.*

[77] Цит. по*: Ј. М. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, с. 32—33.*

[78] *П. Томац, указ. соч., с. 30—38.*

[79] *Там же, с. 38—48.*

[80] *П. Томац, указ. соч., с. 48—51.*

[81] *За балканскими фронтами Первой мировой войны, с. 64.*

[82] *П. Томац, указ. соч., с. 20—27.* В течение 1914 года Бельгия и Япония присоединились к членам Антанты, а Турция — к Центральным силам. Болгария и Италия вступили в войну в 1915 году, Румыния — в 1916 году, а США и Греция — в 1917 году.

[83] Всего воевало 36 государств, в которых проживало три четверти тогдашнего населения мира. Самые тяжелые боевые столкновения происходили в Европе, но война велась также в некоторых частях Азии и Африки. Военные действия шли на земле, на мировых морях и океанах и, впервые, в воздухе. Для уничтожения людей и материальных ценностей использовались новые виды вооружения: боевые отравляющие вещества, танки, самолеты и подводные лодки. Охватив зоны боевых действий и тылы, военнослужащих и гражданское население, война стала тотальной. Современники называли ее Великой, а иногда также «войной для окончания всех войн».

Перевод с сербского Ивана ЧАРОТЫ.



«Слышал такой анекдот. Во всех землях по чертежам кальяна «строят» кальян, а у нас, как ни стараются, — выходит самогонный аппарат. Заметил за собой: стараюсь написать рецензию, а получается то эссе «про чувства», то новелла о возвращении в прошлое, а то — объятие с друзьями...» — пошутил как-то недавно ушедший из жизни писатель Наум Ципис. Предлагаемая статья — также тяготеет к эссе. Она — из последних, написанных автором. Она — к сожалению, актуальна...

От редакции

НАУМ ЦИПИС

Стой прямо, как дерево надежды

Как всегда, вступая в пределы чужой территории, сообщаю хозяевам, что я не кадровый критик, что влюблен я не в «изящный рисунок и эффективный контраст света и тени». Я читатель, который иногда, взволновавшись прочитанным, что сегодня бывает все реже и реже, записывает свои думы (думы, мои думы...). И, конечно, в таком статусе естественно появление в подобных записях-записках «оправдательных» сочетаний типа «мне кажется», «я думаю», «наверное». Наверное, и этого было бы мало для оправдания «нарушителя конвенции», если бы не «страдательные» конструкции в записках: похоже, я так думаю, что роман Ганада Чарказяна «Горький запах полыни» написан чернилами с изрядной долей крови и слез.

Мое «больное» сопереживание, которое по мере чтения превращалось в боль, и уверенность бывшего кадрового учителя в общественной значимости романа, а именно, в его «эмчеэсовской» сути, только утверждало меня в том, что записки должны быть написаны. Другое дело, их дальнейшая судьба: конечно, хотелось бы, чтобы они поспособствовали встрече романа с дополнительным числом читателей — очень мало появляется книг, которые помогают людям правильно жить. Книга Чарказяна как раз из таких.

Редкое умение (или это малообъяснимый дар?) с помощью текста — алфавит, графические символы, «клинопись» — освобождать совесть, выводя ее в первый ряд траншей пока еще полухолодной, но и полугорячей войны всех против всех...

Я ехал ночным автобусом из Минска в Вильнюс, утром мой самолет должен был лететь в Бремен. Там ждала жена, мой верный компьютер и недостроенный «роман века» — несчитанные страницы — книга, даже не сказать о чем, наверное, о жизни... И как бы сопровождая автобус, не в нем, а рядом с ним, отражаясь в окне и расцвечиваясь редкими дальними огнями, звучали слова из моего далекого студенчества; какой-то отрывок молодых неумелых стихов, которые каждый день того счастливого времени рвались из меня на волю:

А память строит печальный ряд... —
Седая полынь горька.
И это уже дорога назад,
И так же горчит строка.

Наверное, тогда я ехал после светлой встречи с родителями, друзьями и навсегда любимой — все встреченные тогда девушки были навсегда...

Странные соображения приходят во время «думанья» о прочитанном: роман — живое «существо», в противном случае он не мог бы родиться. Во время написания автор был рабом того, что писал. Окончив работу (камлание?), он стал триумфатором, и роман лег у его ног. Видит ли строитель последний этаж небоскреба? Обязан. В противном случае невозможно возбудить в себе третий роман. Автор нашел

выход из «Полыни...» — и выход этот из «зиндана» под высокое солнечное небо. И, передохнув, подышав свободой, лесом в предместье Минска, можно опять воевать против войны. Так видятся взаимоотношения автора и книги.

Кому, для чего нужен этот все-таки Сизифов труд: ведь Солнце все равно погаснет — ни Земли, ни людей. Но мы живы сегодня, и колыбельную моя внучка сегодня поет правнучке. И кто-то эту колыбельную должен написать. А чтобы Земля не опустела раньше, чем погаснет Солнце, кто-то должен написать книгу-зеркало, чтобы человечество посмотрело на себя и было поражено жестокой правдой: завтра может не наступить.

«За время долгой жизни на этой земле мне часто приходилось слышать, особенно на базаре: мол, не связывайся с ним, он же из Кафиристана, с джиннами дружит. Только дружбой с джиннами и чуть ли ни с самим Иблисом, их всесильным главой, объяснял простой народ мое умение бросать камни точно в цель... Люди присвоили мне прозвище — Цыштын-дабара, хозяин камней».

Это отрывок из исповеди белорусского парня Глеба, «волей пославших его» оказавшегося в аду войны, плена, неволи. Кто они, пославшие? Почему послали? Кто сам рассказчик? И кто при сем мы, люди-человечество? «Горький запах полыни» и об этом тоже.

...Потихоньку, не торопясь, сознавая серьезность дистанции, зная свои возможности и силу, распределяя ее, как опытный стайер, разгонял свою прозу автор. А читатель, «попавшись» на эту обманку, после нескольких страниц уже не может спрыгнуть на ходу: поезд набрал скорость.

Я читал роман всю ночь и окончил его к обеду нового дня. Обедали мы уже вместе с автором, прошу извинить мне эти гастрономические подробности, и я мог сказать ему, человеку близкому мне по многим годам нашей жизни в Минске, что чувствовал, читая его роман «Горький запах полыни». Не каждый читатель сможет так поговорить с Ганадом Чарказяном. Может быть, и поэтому тоже я решился написать эти заметки.

Я думаю, что «ленивое» начало книги — это хитроумный ход, напоминающий закон дзюдо: побеждай, поддаваясь. Создавая эмоциональный трамплин, тебе дают время, чтобы из привычной реальной жизни ты мог постепенно войти в мир искусства. Из равнинной жизни шаг за шагом тебя ведут в горы, и вот ты уже нащупываешь путь на опасной тропе, которой до тебя прошел главный герой романа. И каждая строка сторожко идет параллельной литературной тропой, уступая место следующей, будучи уверена, что та не сорвется в пропасть штампа и натурализма.

Бризантность темы романа очевидна. Она «взрывает» действительность, которая слишком правдиво отображена. Она еще раз подтверждает умное парадоксальное выражение нашего общего любимца Антуана де Сент-Экзюпери: «В самом деле, все еще хуже, чем в действительности». (Не потому ли так много слов в этих моих записках по поводу романа взято в кавычки? Не помещается весь смысл сегодняшней действительности в нормальных словах. Нормальные слова, они ведь для нормальной действительности, а не этой — век XXI, когда государствами правят умалишенные, а на полях и пастбищах трудятся рабы...)

«Не хочешь получить «плохой» ответ, не задавай «плохой» вопрос», — сказал как-то в разговоре Ганад. Однажды жизнь, наша с вами жизнь, задала писателю Чарказяну «плохой» вопрос, и он, уйдя на несколько лет в духовный скит, ответил на него «плохим» горьким романом. Действенные лекарства обычно и бывают горькими.

— Господа, а не ввести ли нам «Полынь...» в школьные программы? — голос учителя.

«Химия» романа — аккумулированная энергия сопротивления гибели человека на планете земля. Читал и читал, и не обнаружил в себе желания уложить роман в привычное критическое «ложе» и разобрать на известные составляющие. Сам собой обнаружился рваный сюжет, резкая смена прошлого и настоящего, реальности и мечты, тьмы и света, наконец, жизни и смерти... (Не от такой ли

«химии» и мои «рваные» записки?) Автор ведет нас не временным, а мозаичным ходом, самым точным для рваной эпохи авиационных «грузов 200». Не потому ли, чтобы мы не «ехали» пассажирами удобного скорого поезда по бархатным рельсам, «под собою не чуя страны». Нет уж, давайте как Глеб и его товарищи. Испытаем перевоплощение. Почувствуем...

Из кузова разбитой полуторки или из нагретой грубой брони боевой машины осматриваем мы опасные горы... Рваный сюжет. Рваные жизни, рваное время. Миновало... Остались живы. А сколько мертвых? За что?

А вот и пестрый базар, где нам улыбнется голубоглазый сержант. Он выбирает что-то вкусненькое. Конечно, не такое, как у мамы и бабушки. Он еще не сброшен взрывом в пропасть. Он еще не погиб для родной Беларуси... Мать, отец, сестра, любимая... Он еще не умер, но уже не живой.

Его вернула к жизни горская шептуха-колдунья, но уже к жизни раба. И ты уже не в казарме среди товарищей, а дома у мамы, но только в бреду... Было ли это?.. Твое жилище в загоне среди овец. И хозяйский сын-подросток продает своим друзьям право посмотреть через забор на синеглазого белого раба. Еще далеко до чудес. А есть ли они? Оказывается, есть.

Отсюда чуть ли не сказочные ситуации: герой трижды умирает и трижды остается в живых. Триада, прием былин и сказок. Потому что вынести все, что выпало этому парню, «простому» белорусскому хлопцу, под силу только, если довелось ему омыться живой водой. Возможно, что в чистом месте в такой воде его и выкупали во время крещения...

«Традиция романтизации самого грязного дела на земле имеет давние и прочные корни. Потому что всегда нужны новые воины, новые жертвы во имя старых и откровенно животных интересов — интересов правящих элит, для которых народы всегда только дешевое пушечное мясо, чтобы новые мальчики со старым воодушевлением брали в руки оружие и, не думая ни о чем, стреляли по указанным целям и погибали ради смутных идеалов... А женщины по-прежнему рожали бы в муках сыновей для того, чтобы, сделав несколько выстрелов по чужим мишеням, их мальчики могли бы стать в свою очередь такой же живой мишенью для чужих пуль».

Книга — исповедь пленника. «Исповедоваться первому встречному я не собирался», — говорит Глеб. Книга написана тебе, «первому встречному» — читателю, — говорит автор. Ему и Небу, — говорю я. Читателю и человечеству, потому что разговор идет о жизни на земле. Сознает ли кто-нибудь масштаб задачи и урок на эту тему? Об этом должен, обязан думать человек, если он, как Сайдулло, хочет счастливой жизни своим внукам.

Жестокие выводы делает автор: обычные люди (по его и моему мнению) не столько творцы истории, сколько ее жертвы. Утверждение это горше полыни, но «по-нашему» — правда.

Писатель «наново» находит один из способов прекращения смертоубийства, а по сути, самоубийства человечества: умудрять людей. «Мудрость едина, и носители ее — братья». А братья все же меньше убивают друг друга. А как это сделать? Да очень даже «просто». И здесь Чарказян дает мне, кадровому учителю, возможность еще раз сказать то, что я говорил не раз. Правда, как и он со своими романами (первый — «Не умирай раньше смерти»), я никак не могу докричаться ни до верхних, ни до нижних. Одни спешат лично воспользоваться властью, другие — суметь выжить, уж больно цены на продовольствие прибавили скорость.

А секрета, как сделать нацию умнее, в действительности не существует. Есть веками проверенный рецепт: учитель по всем направлениям жизни должен быть в государстве человеком №1. Из учителя он должен стать Учителем. Оглянитесь да хотя бы на свои российские царские гимназии, и все станет ясно. Но за ясностью должно последовать действие, государственное — *штучное* взращивание и пестование учителей. Ну, хотя бы, как нынешних футболистов-хоккеистов-теннисистов. И как только такие учителя тысячно придут в школы, ученики тут же

перестанут резать и взрывать друг друга. Двадцать семь лет моего учительского стажа на нижнем этаже всенародного образования тому гарантия.

Надеюсь, шаг влево или вправо в этом вольном жанре, в заметках типа эссе, — не к расстрелу, а все же к пользе.

«Полынь...» хочется без конца цитировать. Скажем, вот такая истина-приговор: «...полное равенство перед смертью». Или одно из изречений бабушки Глеба: «Кто на море не тонул да детей не рожал, тот Богу не маливался». И «спецпознаниями» у Чарказяна можно обогатиться: «Это у нас длинное и нескладное слово — верблюд, а у них короткое — уш»; и чувства в душу добавить: «Ребята бросали им (голодной афганской ребятне — Н. Ц.), что могли из наших сухих пайков». И это несмотря на то, что часто после таких набегов мальчишек, под днищами танков и машин находили магнитные мины. Как тут не вспомнить живое из собственной детской памяти.

На работу строем идут пленные немцы — они строят у нас на Замостье винницкий Дом учителя и Дом офицеров, и моя бабушка, почти всю родню которой немцы же и положили в Бабьем яру, прошагивая конвой, раздает им вареную картошку... Может, и потому пишутся мне эти заметки...

А дом Глебу все снится и снится, и вспоминается. Уже не хочешь этих мучительных видений, а они приходят и приходят... Нехитрые игры с яблоком там, приходят драмой сюда — попал бабушке в лицо. В романе — это страница светлых дней и редких теперь сладких слез. Это невозможный, опять тайный ход в небо. Он едва проявляет себя и только ощущается. Не то, что Глеб не может его разгадать, но даже, наверное, и автор тоже. Только вспомнил горький миг счастливого детства и сразу же: «...молю всех богов, чтобы это навсегда стерли из моей памяти».

Это, по-моему, стало камертоном романа — о чем бы дальше не писал автор и не читал читатель, они уже не забывают это яблоко, бабушкино лицо в форточке и тяжкую думу Глеба о том, что его судьба — есть наказание за то...

Писатель знает больше того, о чем пишет. Это нормальное положение вещей. Но и при этом я не раз удивлялся «легальным» познаниям автора «Полыни...». Он осведомлен об «архитектуре» тамошней жизни на всех ее этажах. Это прибавляет веры, как в него, так и в роман. Сколько времени нужно даже горскому человеку, чтобы аккумулировать в себе такую всеохватность знаний — обычаев, нравов, «знаков» бытовой культуры и культов горных аулов страны, где ты не жил... Так естественно сыграть «роль» жертвы и палача, православного и мусульманина, «быть» чеченской бабушкой и внучкой, главой рода и его внуком — быть целым аулом! «Но я же все-таки родился, пускай не в Чечне, но в горах...» — сказал на это Ганад. Помолчал — он обычно молчит — и добавил: «Было время все это узнать — годы...»

Роман — призыв соразмерить себя со звездами. Тогда можно понять свой масштаб и значимость. Но «даже звезды, высокие и независимые, такие близкие и непривычно крупные в южном горном небе, даже они тоже подчинены неумолимым законам». Что же тогда нам, звездной пыли... Каплям океана, дождинкам ливня, искрам костра. Жизнь человека... Тем драгоценней. Это же так понятно. Почему? Чарказян философ не от учебника-книги, а от жизни. Потому его суждения современны не безликому веку, а нашему часу и дню: «Все сущее разумно постольку, поскольку пробилось к свершению». Но как оно может быть разумным в сумасшедшем мире, родившем его? И — «убивая другого человека, ты убиваешь себя». Одно из центральных суждений книги.

Прочитав роман, я позвонил внуку, который готовится вступить в большую жизнь, и попросил его запомнить одно утверждение из книги: «Собаки, которые не лают, — самые страшные».

Часто автор «создает» конструкции — подобие стартовых колодок для бегунов, чтобы резко и жестко бросить читателя в неожиданную, но точную ассоциацию. Нынешняя «цивилизация не может тратить время на индивидуальные

казни. Она оперирует большими числами», — иронизирует он. И тут же дает рецепт выхода из этого цивилизационного тупика: «Когда-то исход сражения решался поединком лидеров. Почему бы современным президентам не принять этот способ решения конфликтов? Это было бы самое убедительное доказательство их любви к собственному народу». И я тут же вспомнил наши студенческие лекции по истории Древней Руси. В Лаврентьевской летописи под 1022 годом описано, как бы это сейчас сказали, знаковое событие.

У поселения Листвена подле Чернигова должна была состояться битва русского полка Мстислава Храброго с касогами князя Редеди. Но во избежание большого кровопролития, князья договорились исход битвы решить в поединке. Кто победит, тот и возьмет все, что принадлежало поверженному. С трудом, призвав в помощь Богородицу, Мстислав убил касожского богатыря. Ни русские, ни касоги не пролили ни капли «народной» крови. Об этом символическом сражении упомянуто в летописи Никона и в «Слове о полку Игореве»: «И рек се, удари им о землю, и вынзе нож и зареза Редедю». В плену у Мстислава оказалась жена Редеди и двое его сыновей. За одного из них он выдал замуж свою дочь Татьяну.

Вот так решали государственные проблемы наши предки. Так что неплохо советует тандем — автор романа и автор эссе — нынешним правителям. Сколько народа на земле было бы спасено!

Глеба спасли враги. А какие они ему враги? «Теперь старая чужая мать делает то, что делала моя мать. Одна женщина продолжила священное женское дело другой. Было в этом что-то от обещания, если не рая на земле, то хотя бы мирного сосуществования разных народов». Он старается понять и на время «становится» одним из них. Но понять и тех и этих одновременно невозможно. И книга, как душа, мучается и разрывается в этой невозможности понять и остановить! А поля маков на горных склонах так ярко цветут. Такие красные! Словно они наполнены кровью и тех, и этих: секунда — ты убил, еще одна — убили тебя. Цветут южные маки. Горько пахнет северная полынь.

Чарказян пишет, строит надолбы, роет траншеи, доты... А вражеские войска могут пойти и в обход, «другим путем»... Но до момента окончания работы Солнца еще много времени. И вот тут надо отметить, что еще не было случая, чтобы обращенное к человеку не дошло до него. Надо только жить. «Живи — до всего доживешь», — сказала моя бабушка.

Я не впервые рассказываю эту историю. И опять не могу ее обойти. Она о спасающих и спасенных в «нетипичных» обстоятельствах. И одним из действующих лиц был я сам.

Мне пошел шестой десяток, когда аукнулись больные военные годы, стал я помаленьку умирать. Спасли немцы: 107 дарителей 50 тысяч марок, которые собрала немка Ингрид. Бременские кардиохирурги сделали операцию, и сквозь послеоперационный туман я увидел над собой прекрасное лицо моей белорусской жены и услышал: «Все хорошо... У тебя все хорошо...» И я остался на Земле. Жить. В конце этой простой информации я хочу сообщить вам, что отец Ингрид — учитель и что воевал в гитлеровской армии на Восточном фронте...

Я написал об этом документальную повесть, и люди узнали, сколько же надо было усилий многих людей, чтобы спасти только одну жизнь. Вы читаете газеты и смотрите телевизор, вы знаете, сколько людей гибнет на этой Земле каждый день. И все, все знают, что «кровь людская не водица»...

В свой первый приезд в Минск я пошел на празднование Дня учителя в городе, где двадцать семь лет знакомил детей с историей нашей страны. «У стены Дома учителя сидел безногий парень. После того, что 107 дарителей-немцев подали мне милостыню (среди них был и отец Ингрид), я не могу равнодушно проходить мимо нищих. Положил пару «зайчиков» в полотняную пятнистую шапку, понимая, что передо мной афганец-шурави и хотел поскорее уйти: невыносимое зрелище — молодой парень без ног... Он спросил сигарету, я отдал пачку и спросил: «Чего ж ты так? Пенсию же платят...» И он ответил, помню до сего

дня: «Мать-старуха еще жива. Наших пенсий и на одного не хватает... А иногда и выпить надо». Белокурый, голубоглазый... Я тогда не пошел на праздник. Купил бутылку водки, какую-то закуску, и мы с тем парнем посидели на скамейке. Родной брат героя «Полыни...».

Философская истина поднимается за строками «Полыни...»: мы подошли к пределу ментальных возможностей человека — комплекс «вывихнутого сустава» сегодняшнего человечества. А за этим, как в театре, еще одна заставка — человечеству надо менять не свои действия, на что сегодня устремлены усилия, а менять самих себя.

Если условно представить человеческий мир как идеально работающие часы, за которыми необходим уход, то, по мнению поэта — «директора земного шара» — Хлебникова, «в стройном механизме этих «часов человеческих» есть лишняя деталь — война». Об этой «детали» и написан роман «Полынь...». Точнее, о войне как главном условии жизни; о войне как среде обитания: два поколения Афганистана и Северного Кавказа выросло не зная мира; и, наконец, о войне, «внутри» которой прорастают все-таки человеческие чувства и главное и первое из них — любовь. И там, где это чудо не убито, там невозможное становится возможным. И об этом тоже говорит роман.

В газетах писали о случае, когда пленный русский парень не был дома двадцать лет. Он был рабом, потом стал мусульманином, потом американцем, потом чьим-то мужем и отцом, а потом приехал в гости на родину. «Я прочел это и стал этим парнем, был им все это время, что писал «Полынь...», — сказал Ганад. Сказал спокойно. Горцы в своем большинстве люди спокойные и малоразговорчивые. А я вспомнил Анну Давидовну Красноперку, с которой работал в детской газете «Пионер Беларуси». Аня была в минском гетто. Я убедил ее в том, что она обязана написать об этом. Однажды, когда Аня все же стала писать свои, ставшие потом известными, «Письма моей памяти», она укоризненно сказала мне: «Это страшно... Я опять живу там...»

Четыре года Ганад писал роман и был тем белорусским парнем, который попал в рабство к пожилому чеченцу, в бедную аульскую семью. Несколько раз умирал, два раза безуспешно бежал, каторжно работал и невольно узнавал врага изнутри. А враг этот жил беднее, чем его родня в Беларуси; врага этого, у которого было одно кремниевое ружье, бомбили современные самолеты и расстреливали из мощных орудий. И годы, годы жизни в «предлагаемых обстоятельствах», хотел он того, не хотел, заставили его совершить невозможное: он стал понимать, что афганская кровь тоже не водица. Что белорусская и русская, и кровь многих народов России так же красна, как и кровь любого афганца.

А хозяин Глеба, старый Сайдулло, не понимает происходящего. Он делится со своим рабом: раньше мир умещался в голове одного человека, земля мира — шариат, земля войны — джихад, земля перемирия — многобожники и люди Книги. А сейчас? Почему они бомбят и расстреливают мирные аулы? Что ждет его внуков?

«Афганский навруз — в переводе «новый день» — похож на нашего Ивана Купалу. Он связан с древним культом солнца и его легендарным пророком Заратуштрой. Мы уже прощаемся с солнцем, когда оно только начинает уходить с небосклона, а там в это время радостно встречают его первую победу — день весеннего равноденствия... Как и наш Иван Купала, навруз тоже сопровождается прыжками через огонь — семь прыжков очищают от всех грехов. Ведь огонь — это тоже маленькое солнце, сжигающее всю нечисть». До принятия ислама в Афганистане жили солнцепоклонники...

Почему мы с ними воюем, — спросил он себя. И не смог ответить. Почему они с нами воюют? Сквозь собственную боль и обиду, сквозь былую ненависть маячил неясный ответ, который страшно было прояснять. Он все больше из нездешнего, которого едва не забили камнями, становился *тутэйшим*. Душой сопротивлялся, а умом понимал: все мы люди. И — молодой и красивый, белокожий с голубыми

нездешними глазами — он смог ответить на любовь хозяйской дочери, которую впервые увидел еще ребенком, когда был спасен от страшных ран бабкой этой будущей красавицы — Дурханой. Красавицы и... жены, его жены.

Как-то один мудрый пуштун сказал ему: «Пока еще тебя переполняет гнев и обида, которых слишком много в нашей общей беде». Общая беда. Общая. Это понимали рядовые крестьяне. И не понимали те, которые устроили эту беду? Тоже понимали, но золото, как всегда, дороже и... роднее.

...Отмечали юбилей Валентина Тараса. После вечера в Доме литератора пошли к нему домой. Соседом по щедрому столу был Алесь Адамович. В один из моментов, который показался мне подходящим, задал я автору беспрецедентных тогда по смелости «Карателей» вопрос, как писал он один из жутких эпизодов этой повести. «В тот момент я там был. Это и меня расстреливали в той яме... Иначе читатель не поверит», — сказал он. Был я и на встрече Адамовича и Климова со зрителями их картины «Иди и смотри». На вопрос молодого зрителя, почему так много страшных натуралистических сцен, Адамович сказал: «Чтобы достучаться до вас, сегодняшних, надо искровянить весь экран». Прошло четверть века... Качество ни зрителя, ни читателя, почти уверенно говорю я, как бы это не задевало сегодняшнего зрителя и читателя, качество ни того, ни другого не улучшилось. А как старому учителю, мне кажется, что не только не улучшилось, но и ухудшилось.

Я не пишу книги об Афганистане, но мои ученики, выпускники минского ГПТУ-38, там воевали и делились со мной «впечатлениями», в которых было много пауз... Чарказян пишет об этом роман. И несколько лет «живет» среди боли и крови, жестокости и бездушия, обнаруживая потаенную человечность и запредельную свободу гор и ущелий; живет среди ада внутри жизни, иногда обнаруживая себя у теплого и гостеприимного пастушьего костра. Или среди тьмы — в горячих волшебных женских объятиях. Что это? Это жизнь.

Густой настой полыни по рецепту Чарказяна, его книга — не есть полигон для удовлетворения самолюбивых критиков. Писать о ней — это атаковать свою и вашу совесть и «сидеть» у больной постели автора, помогая ему выздоравливать, вместе с ним страстно ждать кризиса общей смертельной болезни человечества, о которой он в «горячечном счастливом бреду» — высокой болезни писателей — выстрадал эту книгу. Она позволяет нам проецировать тогдашние события в сегодняшний день и делать неутешительные выводы: пришло новое поколение, а ничего, я имею в виду «афганский синдром», не изменилось. И в этом тоже одно из серьезных «послевкусий» романа.

Таланту нужна определенность, позиция. Она не обретается «параллельно таланту», она «должна» быть раньше, впереди него. То есть, прежде чем «стать» писателем, надо уже быть человеком с твердым нравственным началом, той самой позицией. Вполне может быть, что позиция эта дана генетически. Но только тогда талант может себя проявить — есть толчковый момент. Общественно результативным он может быть, только стартовав с такой «взлетной полосы».

Книг у Чарказяна много и они разные. Почему написана эта? Ее строки не отпускают, пока вы вместе с автором и героем не пройдете их тропами и дорогами. Из кровавого хаоса жизни Сизифовым трудом он по крохам все же собрал «пароходы, строчки и другие долгие дела»; как добрый фокусник, он к концу «представления» преобразил ад в мир и покой, показал дом и его людей — людей! — на окраине Минска. Хэппи-энд? Оксюморон? Ошибка? Нет. Вера. Несмотря ни на что. Именно вера — понятие антиматериальное — в самые тупиковые моменты истории спасала человечество, спасала вполне материально, с Божьей помощью.

Я вспоминаю и его молитву, которую он услышал от женщины, испившей переполненную чашу горя: «Дерево надежды, стой прямо!» Это в то время, когда «в небе висит, пропадая, звезда — некуда падать...» И не проклятие этому миру, этой земле, а вера в добро, которое пока еще по-человеческим законам — обязательно. Вот что

уходит от людей к Небу. Один из сильных акцентов романа — почти физиологическое чувство родины и неубиваемая вера — все таки! — в человека.

Чарказян не «красивит» своего Глеба, он любит его, он ему сочувствует, но не делает его Героем Советского Союза. Да, в решающие минуты он совершает поступки, как говорят, на три Звезды, но он обыкновенный человек. Он много раз переходит Рубикон в себе, с одного берега на другой. Но как соединить берега? (Мне вспомнился Григорий Мелехов из великого «Тихого Дона»...) Люди редко бывают счастливыми на острие исторических событий. А уж те, кто непосредственно выполняет волю однозначно правых, со счастьем определенно не знаются.

Книга не только рассказывает и показывает, она рождает мысли, которые до знакомства с ней и не «думались». Да хотя бы из многих только эта: «Кто вы такие и какие вы, власть предержащие, доверенные, взявшие ответственность за свой народ, если столько уже лет не можете сесть и договориться с мировыми своими коллегами, и вместо умного и всемогущего слова взаимно ищете врагов и готовы воевать и воюете, и льете кровь самых молодых и красивых сыновей родной земли. Зачем вам Министерство иностранных дел, если у вас есть Министерство обороны. Шли бы вы, что ли, на пенсии, попросив прощения у тысяч молодых седых матерей».

Это театр времен нормальной жизни тех, настоящих — послевоенных — моих лет, театр одного актера, автора, который талантливо «сыграл» все роли, и зритель-читатель, очнувшись в финале, понимает, что «увидел», наконец, самую главную «национальную» идею, которую без конца ищут сегодня — единственную, спасительную, надежную. Она — это мы с тобой, это живые люди, и настал последний час спасать наши жизни на земле. Может ли быть что-то более идейное, национальное и общечеловеческое?

Прочитав последнее предложение романа: «Неодолимая логика побеждающей жизни», я вспомнил завещание убитого большевиками последнего русского царя. Оно оканчивалось словами: «Зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а только любовь». Не потому ли главный герой «Полыни...» женится на дочери своего рабовладельца, и, даже не зная этого, увеличивает удельный вес земной любви. Не в граммах, а в единицах земного добра: он действительно полюбил эту афганскую девушку.

Обняться, чтобы не упасть с земного шара. Это идея большого поэта, это идея и моего друга романиста Ганада Чарказяна. Это и есть наша общая национальная и интернациональная идея.

Довелось мне однажды услышать слова, которые могли остановить восход солнца. Вот они: «Неужели ты думаешь, что я пожалею твоего сына, когда ты убил мою жену?» Но мне посчастливилось услышать и такие слова, от которых в небе прибавилось синевы. Вот они: «Я люблю тебя». Это сказала моя жена, когда она еще не была моей женой.

Слова могут превращаться «...в и другие долгие дела», а могут — в кровь и слезы. Роман «Горький запах полыни» и об этом тоже.

Многое происходит вопреки уверенному движению расчетливой цивилизации, в разрез и вопреки. В том числе и потому, что «простой» белорусский парень Глеб — а такой он, потому что просто естественный, как лес и озера в Беларуси, — не знает, как можно по-другому жить в стороне от жизни. Вот и пусть «стоит прямо».

На дворе XXI век, и опять осень, и теплое бабье лето. Умиротворенность разлита в самой природе — учительнице нашей. На небе написано: «Надо качественно, по-человечески жить». Не опоздать бы... И как же тут не поклониться памяти одной из лучших и трагических поэтэсс Ольге Берггольц:

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться.

ВАЛЕРИЙ ЛИПНЕВИЧ

Слабая сила

На моем письменном столе вот уже год лежат три книги Любови Турбиной. Одна издана в Минске — «Огни на воде», другая в Москве — «Сны-города», а третья в Санкт-Петербурге — «Отплывающий катер». Как-то получилось, что появились они с небольшими интервалами, в преддверии круглой даты в жизни автора. Три города — три значимых вехи в жизни и творчестве. И рядом с солидными томиками скромно пристроилась ее самая первая — тоненькая, в 64 странички, «Улица детства», вышедшая все-таки в Минске. Именно здесь Любовь Турбина и родилась как поэт, испытала влияние не только Ленинграда и Москвы, но, прежде всего, Минска. Но выйти к читателю, как и ряд других минских авторов, она смогла только благодаря той уникальной для литературы ситуации, что сложилась в семидесятые и в начале восьмидесятых годов в издательстве «Мастацкая літаратура». Возглавляли его тогда Николай Ткачев, а потом и Михаил Дубенецкий. Но то, что к руководству издательством пришли именно эти люди, было следствием общей культурной атмосферы тогдашнего Минска. А тон в ней задавал первый секретарь ЦК — Петр Миронович Машеров. Он строил социализм с человеческим лицом и не плодил диссидентов, как в Москве. Поэтому минским литераторам, тому же Василю Быкову, было позволено гораздо больше.

Именно в Минске Любовь Турбина состоялась и как прозаик, но уже в наше время. «Огни на воде» — по преимуществу проза, тоже лирическая, откровенно-исповедальная, воссоздающая атмосферу минской жизни поры нашей общей молодости. Она лишь немного дополнена и разбавлена стихами. Треть стихотворений в «Снах городах» и в «Отплывающем катере» — из самой первой книги. Несмотря на то, что Любовь Турбина издавалась довольно часто — «Отплывающий катер» ее десятая книга — стихотворений у нее немного, где-то около двухсот. Что свидетельствует также и о не графомански-невротическом характере творчества. Ни дня без строчки — это не о ней. Пять-шесть стихотворений в год — не больше. Поэтому она счастливо избежала такого явления как самотиражирование, когда поэты выдают копию за копией своих когда-то удачных стихотворений. А копии, как и положено копиям, становятся все бледнее и бледнее. В какой-то мере профессиональных поэтов вынуждала к этому и система оплаты: в каждую новую книгу должны были входить, за небольшим исключением, только новые стихи. Но хороших стихотворений не может быть много. Впрочем, как и хороших поэтов.

Само понятие «профессиональный поэт» скрывало одно из самых странных и противоречивых явлений советской действительности, где луга поэзии безжалостно вытаптывались табунами записных стихотворцев. То есть людьми, получавшими регулярное и часто чрезмерное вознаграждение за то, что пишут и печатают стихи — обычно среднего, проходного уровня, — изо дня в день, из года в год, десятилетиями, превращаясь, как правило, в нечто монструозное, как в творческом, так и в человеческом плане. Поэтому я придерживаюсь мнения, что писать надо мало, а печататься часто, если стихи того заслуживают и постоянно находят новых читателей. Как заметил Чеслав Милош, «можно писать стихи толь-

ко редко и неохотно, по крайней нужде и с тою надеждой, что добрые духи, не злые, выбрали нас инструментом». Именно ощущение того, что стихи написаны по крайней нужде и под покровительством добрых духов сопровождает чтение каждой книги Любови Турбиной. К массиву уже знакомых стихотворений органично прибавляются новые, заставляя прочитывать и ранее написанные, с удивлением открывая в них неожиданные, затаившиеся смыслы.

Многочтение — болезнь нашего века, следствие кошмарного переизбытка печатной продукции. В принципе, можно всю жизнь читать одну книгу — как раньше читали Библию — не только собственно читая, но и вчитывая свое содержание. Но такое чтение нам уже практически недоступно. Впрочем, остаются томики любимых стихотворений, один-два романа, которые постоянно перечитываются в разные периоды жизни.

Первая книга стихотворений Любови Турбиной, вышедшая на пороге сорокалетия, явила читателю уже сложившегося поэта со своим собственным, проникновенным, естественным голосом. Нужна была немалая отвага, чтобы так заявить о себе, рискуя остаться неуслышанной вообще. Ведь в женской поэзии тех лет доминировали оглушающе громкие, цветаевского разлива голоса. Именно семидесятые годы оказались тем временем, когда стихам большой русской поэтессы, как драгоценным винам, настал тот самый черед, о котором она когда-то мечтала. Думаю, что пришлись они ко времени еще и потому, что не только отвечали возросшему культурному уровню массового читателя, но и были острой приправой к вялотекущему и внешне очень спокойному времени. На фоне этих поэтесс, часто, как и у Цветаевой, тоже с истерическим надрывом, стихи такого естественного звучания, как у Любови Турбиной, рисковали просто потеряться. Но этого не случилось. К тому времени уже уверенно существовала ниша «тихой поэзии». Она не воевала с громкоголосой, а просто существовала, поддерживаемая любовью своих верных и тоже многочисленных читателей. Одним из ее мэтров был московский поэт Владимир Соколов, а в белорусской литературе — Михась Стрельцов. Дружба с обоими, а с последним особенно, была для Любови Турбиной тоже очень значима. До сих пор в ее книгах наряду со стихами, посвященными Михасю Стрельцову, присутствуют и переводы этого тонкого и проникновенного лирика, пожалуй, наиболее убедительно отразившего белорусскую ментальность. Думаю, что в значительной мере именно эта белорусская ментальность — от Богдановича до Стрельцова — и оказала определяющее влияние на тип творчества Любови Турбиной. Точнее, она оказалась близка типу ее собственной личности.

Сегодня часто помогает по-новому прочитать уже казалось бы давно известного поэта и такое нынешнее явление как интернет. Я стал понемногу вывешивать стихотворения Любови Турбиной на самом демократичном и доступном портале стихи.ру. Через некоторое время обнаружил, что каждое стихотворение начало жить своей жизнью. В книге стихотворение невольно соотносится с другими, создавая некий коллективный образ-впечатление. А на интернет-страничке каждое — самостоятельно, независимо, и в итоге оказывается гораздо значительнее своего книжного варианта. Поэтому, когда начали появляться отзывы ее друзей, удивленных, какие хорошие стихи она начала писать, Люба даже немного расстроилась: стихи-то старые! Давно напечатанные в давно подаренных книжках! Но дело в том, что интернет помог прочитать по-новому, с большим вниманием к каждой строке. Так что и за это мы можем быть благодарны одному из чудес нашего времени. И когда редакторы поэтических журналов стенают, что поэзия погибает, никто не читает стихов, они фиксируют только то, что не читают их журналы, где давно всем надоевшие тусовки пытаются всучить читателю все те же — хотя и с другим знаком — вирши профессиональных борзописцев. Не говоря уже о том, что никакими ду́хами в этих писаниях и не пахнет. Как ни странно, стихи сейчас не только по-прежнему пишут в громадных количествах, но и читают так же интенсивно и заинтересованно, как и раньше. А возможно, даже и больше. Количество читателей у некоторых интернет-авторов, пусть и не самых лучших с точки зрения высокого вкуса, подбирается к миллиону. Благо есть для

этого доступная всем площадка. Сидит пенсионерка в каком-нибудь заброшенном поселке, но регулярно появляется на стихире, обменивается мнениями, заводит друзей и недругов. Конечно, в миллионной армии пользователей этого сайта представлены авторы самого разного уровня. Но каждый находит нишу по себе и пытается на своем уровне осмыслять исторические процессы, происходящие на территории бывшего Советского Союза и непосредственно в собственной судьбе. Именно в их сообществе этот союз все еще сохраняется: русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и армяне, грузины и азербайджанцы, русскоязычные жители Европы и Америки, Японии и Австралии. А какой материал для социологов, психологов, философов, политиков (увы, для сотрудников спецслужб тоже) дает громадная армия авторов стихиры! Все, что чего-либо стоит, незамедлительно прочитывается и к автору идет импульс благодарной энергии, снова подвигающий к творчеству. О такой обратной связи еще недавно могли только мечтать подлинные поэты. Помню, как мой старший товарищ Владимир Бурич поставил в своей первой книге домашний адрес и радовался каждому полученному письму. Теперь его страничку веду я и радуюсь, что поток читателей не ослабевает. Так же не слабеет поток и читателей Любови Турбиной, слова благодарности постоянно звучат в рецензиях. Конечно, работает на нее и то, что именно сейчас ее стихи, как в свое время стихи Цветаевой, оказались ко времени — спокойные, раздумчивые, остужающие разумом и немного упорядочивающие безумно-непредсказуемую реальность.

Еще при первом знакомстве с ее творчеством я обратил внимание на то, что Любовь Турбина никогда не открывает книгу своим лучшим стихотворением. Эту традицию она сохранила и во всех последующих книгах. Только понемногу вчитываясь, понимаешь, что автор — сознательный и принципиальный противник «первого впечатления». Застенчивая гордость не позволяет выдавать самое дорогое случайному и поверхностному взгляду. Из этого чисто человеческого качества вырастает формальное свойство большинства ее стихотворений: ничего бьющего на эффект — ни лобовых метафор, ни ударных концовок. Содержание равномерно распределяется по всей площади стихотворения. Каждая строфа нагружена одинаково и равно значительна. Посылы и выводы почти не акцентируются, по большей части вообще отсутствуют. Поэт доверяет читателю: сам справится, разберется, дойдет до подтекста.

Характерно в этом отношении стихотворение «Кривым переулком» (в «Улице детства» оно шло под более удачным названием «Старый город»). Героиня спускается под гору и опять поднимается, и за это время собор, находившийся справа, оказывается «по левую руку». Больше ничего не происходит. И происходит очень многое: уже другой человек оказался на вершине, нашел в себе силы преодолеть подъем. И не только его. Так незначительные изменения картины внешнего мира становятся в ее стихах знаками душевных событий.

Но у Турбиной обнаруживается и обратная связь: от тончайших душевных переживаний к событиям мира. «Пригублена чаша, где счастья и боли...» — одно из лучших стихотворений такого плана. Война, даже если она и не задела человека непосредственно, все равно достает его и сегодня, лишая если не жизни, то счастья, полноты воплощения. Трудно назвать другого поэта, у которого эта мысль была бы выражена так глубоко лично. Пожалуй, можно вспомнить имя белорусской поэтессы Таисы Бондарь, тоже отважившейся родиться «под пули, под бомбы», но у нее эта тема поднята до уровня цветаевского трагизма. У Любови Турбиной — другая тональность, проникновенно-интимная, домашняя. И от этого, возможно, более ранящая, как не имеющая возможности изжить боль в открытом и громком проявлении чувства.

Именно эта личная, интимная интонация подкупает почти во всех ее стихотворениях и помогает преодолеть соблазн буквального и поверхностного прочтения. Помогает понять, где внешнее, только намекает о внутреннем, — прямого и грубого прикосновения оно не выдержало бы, — а где внутреннее, не тыкая пальцем, указывает на внешнее. Иногда это все происходит одновременно, как, например, в стихотворении «Набросок»:

Я к двери нетвердо, с заминкой,
Приблизилась, но не вошла.
Круги разошлись от пластинки,
Царапнула сердце игла.
Остался и точный и ложный
Набросок — поплачь и порви —
Той самой, одной, невозможной
Исполнившейся любви.

Всего лишь восемь строк «о свойствах страсти». Но за ними целая жизнь, которой будет тесновато и в романе. Такая весомость поэтических строк — свидетельство сближения прозы и поэзии, происходящей в наше время. У Турбиной это сближение происходит в рамках классического стиха — за счет возрастания роли подтекста, углубления психологизма. В сущности, ее поэтические книги — повести о жизни, где каждое стихотворение как главка. Читатель невольно соотносит и свою жизнь с жизнью поэта, которая и ему часто представляется странной и в которой он тоже многого не понимает.

По вечерам я прячусь в ванной,
Одежды тесные снимая.
Жизнь представляется мне странной —
Я многого не понимаю.

Исчезли прежние порывы,
Погас маяк — не видно цели,
Душа, как море в час отлива,
Свои зализывает мели.

Очень часто многого не понимающий поэт вызывает большую симпатию, чем готовый все понять и объяснить. Тем более, что тайна мира не убывает, она то заслоняется обыденностью, то снова является во всей своей непостижимости. Жить с тайной — с явным и законным присутствием непонятного в жизни — современному человеку все еще трудно. Он то бросается в религию, кардинально упрощающую, оптимизирующую картину мира, прячущую тайну от человека, то в философию, до предела усложняющую мир и в этой сложности прячущую уже человека от тайны, то в какой-нибудь «изм», в свою очередь предлагающий какое-нибудь очередное спасительное решение. Ну и конечно для женщин — и не только для них — остается самый понятный выход — любовь. «Любовь — испытанное средство избегнуть собственного плена» — так заканчивает это стихотворение поэтесса.

Думаю, что читатель уже видит даже только по этим выше процитированным стихотворениям, что поэт Любовь Турбина требует внимательного и чуткого чтения. И неоднократного. Просто пробегать по ее стихотворениям, словно считая ступеньки, нельзя. Надо двигаться вместе с автором, также отрешенно-сосредоточенно, не захлебываясь чувством, но поверяя его разумом, давая ему внятное и точное выражение. Поэтому по отношению к стихотворениям Любови Турбиной вполне правомерно говорить об интеллектуальной эмоции. И вовсе не потому, что у автора два высших образования — техническое и гуманитарное, плюс диссертация по радиобиологии. Просто таков тип ее личности, ее восприятие мира. Хотя, конечно, как у всех женщин, эмоция все же доминирует, хотя и не захлестывает, не размывает смыслы.

Любовь Турбина менее всего сторонник «поэзии без слов», которая лишена точности, отлитости, где все взволнованно-приблизительно, избыточно, призвано лишь наметить движение некоего потока переживаний. С такой поэзией, сугубо женской по определению, у Любови Турбиной очень мало общего. Ведь эта поэзия исключает себя из того культурного космоса, в котором живет сегодня душа современного думающего человека. «Посланник Гермеса в крылатых сандальях» — так сказать о прогулочном катере, летящем, как на крыльях, на веерах воды, может только человек, для которого греческие мифы такая же реальность, как и готовые взорвать

себя и весь этот мир шахидки. Присутствие культуры, то есть того, что сохраняет человека в процессе цивилизации, который есть не что иное как шараханье из одной крайности в другую (синусоида — единственная линия движения вообще) — всегда ощутимо в ее стихотворениях. И культура, в сущности, это именно ось икс, которую постоянно пересекает синусоида, продляя ее в бесконечность.

Музыкальность, свежесть и изящество метафор, точность мысли, пластика, психологизм — всеми этими качествами мягко и ненавязчиво очаровывают читателя стихотворения Любови Турбиной. Но все эти качества существуют не порознь, не сами по себе, но сплавленные личным и непридуманным чувством, которое естественно и органично соединяет все компоненты таланта. И тогда появляются такие строки:

Мимо пролетают — тени не спугнут —
Бабочки мгновений, ласточки минут.
Пробегают мыши серые ночей:
Шум дождя по крыше, шорох у печей.
Днями электрички стороной гудят,
Липою в июле пахнет тихий сад.
Грохотом осыплет редкий самолет,
Серебристый в синем — в синем — исчезает год.
Только с каждым летом выше из травы
Светлый одуванчик детской головы.
Стебель-тонконожка с розовым сачком
Бегает за каждым легким мотыльком.
Главное — а дети тут мудрее нас —
Происходит в мире именно сейчас.

В этих строках и трогательное ощущение самой подлинной жизни, ее шероховатых мгновений, и пронзительная грусть об улетающем времени, и глубокая мысль о ценности каждой сегодняшней минуты, и о том, что смысл жизни — в настоящем, в осмысленном переживании этих мгновений, и о том, что детство — постоянная и безусловная мера всех наших потерь и приобретений. Стихотворение движется быстро, но ничего не теряет, осторожно отмечая изгибы мысли и одновременно стараясь ничего не упустить из ликующего разнообразия мира.

Цвет, звук, запах, прикосновение — почти в каждом стихотворении Турбина трогает эти клавиши, создавая эффект какого-то цепкого, чисто женского присутствия в мире, максимально убеждающей реальности, праздничности бытия. Эта праздничность невольно смягчает трагедию непонимания, отчужденности, боль неразделенной любви. Постоянное присутствие видимой, слышимой, осязаемой реальности снимает остроту субъективных переживаний, помогает дать им форму, меру, трезвую оценку, помогает отделиться от них, освободиться. Если в первой строфе раскаленное «я» («В крестиком отмеченную среду...»), то в третьей уже холодноватое «она». В пределах одного стихотворения — дань полету и благоразумное приземление. Согреться — да, сгореть — нет. Это реализм женского мышления, запрограммированная природой большая выживаемость женщины. Это тоже мучительно: постоянно помнить о реальности, не расставаться с ней. Попробуй тут взлететь — сколько надо поднять вместе с собой! Половинчатость мучит, но спасает. И возвращает на улицу детства и материнства, к земным радостям и заботам.

Стихотворение «Босиком с бидоном — лето!», вошедшее и в последнюю книгу, — светлое, мажорное — подтверждает, что это счастливое возвращение: «И овес такой зеленый, что на сгибах вовсе синий!» Это возвращение — уже на новом витке спирали — к свежести детского восприятия, к растворению в настоящем, к вере в будущее, в счастье.

Несмотря ни на что и вопреки всему.

Слабое, но упорное противостояние брутальности мира демонстрируют все десять книг поэта. И особенно последние, изданные за свой счет.

Любовь Турбина верит в силу и правоту слабости — зеленой травы и поэтического слова.

ЕЛЕНА СТЕЛЬМАХ

Свет неоткрытой звезды

Определяемся с датой проведения торжеств в честь 210-летнего юбилея прославленного земляка Адольфа Янушкевича. Октябрь улетает в небо с запоздалыми птичьими стаями, кружит последней золотой листвой. Впереди нудные дожди и промозглые холода — неизменные попутчики глубокой белорусской осени. А дел предстоит еще немало. На семейном (Панском) кладбище Янушкевичей в деревне Дягильно Дзержинского района необходимо закончить возведение каплички над надгробьем матери Адольфа — Текли Соколовской. Ждем, что ответят на наше приглашение из Казахстана. Присутствие гостей из мест, где Адольф Янушкевич значительную часть своей жизни отдал укреплению веры и духа казахских кочевников, предрекая этому народу великое будущее, считаем крайне необходимым.

По стечению обстоятельств торжества назначаются на начало ноября. Чуть позже приходит мысль — это же Дзяды, издревле почитаемый белорусами день памяти своих предков! Осеняют строки из известных «Дзядоў» Адама Мицкевича, где прототипом героя одной из глав поэмы стал Адольф Янушкевич. Он был почитателем творчества великого поэта, дружил с ним. Осмысливая все это, невольно хочется верить в знамение свыше...

Человек и время. Как сопоставимы эти понятия? Кто-то уходит из жизни сегодня, и уже завтра его имя исчезает в безвестности. Другому суждено воскреснуть из небытия даже через столетия.

След на земле. Не он ли мерило исторической памяти? Затеряется ли этот отпечаток среди песчинок в море людских судеб? Или через века нескончаемый людской поток будет течь к надгробию, чтобы поклониться праху великого предшественника? Все зависит от дел земных, от того, с какой целью каждый начинает свой путь, каким содержанием наполняет по нему движение.

«О дивные человеческие судьбы!» — в сердцах воскликнет Адольф Янушкевич, когда ему придется «плыть по сухому океану киргизской степи» и изучать совершенно неведомый мир, «лежащий на самом краю европейской цивилизации»...

Адольф Янушкевич — поэт, этнограф, путешественник... Романтик, бунтарь, сподвижник... Умение в непростых жизненных испытаниях противостоять обстоятельствам, понимание нужд и чаяний других народов вызывают восхищение, делают необычайно притягательной его личность. И это при том, что еще не раскрыты все стороны его многообразной деятельности, как под сибирскими сугробами, укутанной пеленой времени. До конца не разгадана его поэтическая душа.

Честь и достоинство — превыше всего!

Родился Адольф Янушкевич в начале XIX столетия в Несвижском замке — колыбели магнатской столицы. Сама эпоха предрекала ему неспокойную судьбу, наполненную учебой на литературном отделении Виленского универ-

ситета, путешествиями, революционными настроениями молодежи, участием в восстании, двадцатипятилетней ссылкой в Сибирь, возвращением на Родину... Но осмысление всего этого произойдет спустя время, когда на полотне жизни выткется замысловатый узор человеческих взлетов и падений...

Его отец, Михаил, служил у Радзивиллов и являлся доверенным лицом у Михаила Геронима Радзивилла, крестного отца Адольфа. Мать, Текля, приходилась внучкой родной сестре Тадеуша Костюшки. Детские годы Адольфа прошли в белорусской деревне Усово рядом с Копылем. В апреле 1821 года супруги Янушкевичи подписали протокол актикации о переходе усадьбы Дягильно, которая состояла из деревень Малое и Большое Дягильно и застенка Садковщина (на бывшей Койдановщине Минского уезда), от князя Радзивилла в их владение. Из Дягильно их старший сын, Адольф, уехал на учебу в Виленский университет.

От высоких духовных начал идут истоки понимания Адольфом толерантного менталитета белорусов, уважительного отношения к людям. И сын своего времени становится тем, кто честь, достоинство, любовь к Родине ценит превыше всего. Неспроста уже в 23(!) года Адольфа Янушкевича избрали в Каменце-Подольском депутатом Гражданской Палаты в Главном Суде. Но уже тогда его здоровье требует лечения, беспокоит болезнь века — чахотка.

В сентябре 1830 года, похожий на пушкинских героев, наделенных лучшими душевными качествами, Адольф вернулся из продолжительного путешествия по Западной Европе. Двадцать месяцев пребывания за границей прошли для него в такой «роскоши духа», на которые он часто оглядывался «среди гнетущих пустот изгнания, как на цветущий оазис прошлого». Озаряли воспоминания того, «как с вершины Альп спускался в прекрасные долины Италии; когда с Капитолия смотрел на руины Форума или в венецианской гондоле грезил о возлюбленной»... Эти счастливые мгновения путешествия теперь у обреченного на жизнь в ссылке свободолюбивого бунтаря вызывали лишь «жалостливые вздохи»...

Но разве тогда полного молодых сил и энергии, уверенного в себе Адольфа могли остановить какие-то возможные превратности судьбы? Новость польского историка и общественного деятеля, преподавателя Виленского университета Иохима Левеля, о готовящемся восстании Адольф воспринял как призыв к действию. Ему едва хватило времени на «приветствия после длительной разлуки», как он тут же развил бурную деятельность: вошел в созданный комитет Легиона Литвы, Вильно, Подолья, Украины. Именно он вдохновил польского поэта Юлиана Словацкого на написание «Марша Литовского легиона», пожертвовал 1000 злотых на нужды восстания, от имени матери передал в кассу повстанцев кольцо с бриллиантом.

В марте 1831 года, будучи адъютантом руководителя Легиона, Адольф Янушкевич участвовал в военных действиях, получил тяжелейшие ранения, упал с коня и был взят в плен. Вместе с другими заключенными под усиленной охраной его повели по этапам...

Как же отличалось это путешествие от прошлогоднего! Он нигде не упоминал о том, что происходило с ними на протяжении полугода. Более трех тысяч километров шел, в глубине души храня только скорбь и веру в Бога...

В 1832 году из Вятки Янушкевича переслали в Киев с тем, чтобы суд в отношении его вынес соответствующий вердикт. Адольф не раскаивался в своих поступках, утверждал, что его участие в восстании было осмысленным и соответствовало его убеждениям.

Суд признал Янушкевича одним «из самых опасных и упорных преступников империи». Было бы наивным рассчитывать на иной приговор. 21 февраля 1832 года полевой аудиториат принял решение: смерть через повешение.

Отнесся ли стойкий бунтарь к благоволению царя спустя некоторое время изменить высшую меру наказания на пожизненную ссылку — поселение в Сибири, конфискацию имущества, лишение дворянских привилегий, — как ко второму рождению, сегодня сказать сложно. Но судя по тому, как он жадно стремился

делать все, что могло быть дозволено ссыльному, он действительно воспользовался этой возможностью как подарком судьбы.

За него не однажды ходатайствовали перед царем, в том числе мать подавала свои прошения. «Если Бог даст, — писал Адольф из Тобольска в январе 1833 года, — что сбудутся мои ожидания и надежды Мамы, не могу представить всей силы чувств, всей величины счастья, которое только вместит мое сердце в ту минуту, если возле ног я увижу землю мою, мое небо и все, что есть для меня самым милым». Сбыться этим мечтаниям было не суждено еще в течение более двух десятилетий. Прочитав протокол, Николай I запомнил фамилию гордого инсургента и вплоть до смерти вычеркивал ее из списков, представляемых для помилования.

«Так будем же печалями заветными делиться здесь, в отчизне вьюг...»

Почти восьмилетний период в изгнании — «в полном расцвете сил между тридцатью и сорока годами» — Янушкевич провел в сибирской деревне. Перед выездом из Тобольска он писал: «Буквально сию минуту узнал, что в воскресенье, то есть 10 декабря, оставляю Тобольск и еду в Ишимский округ, в деревню Жиляковку. Буду теперь как арендатор-переселенец. Купил себе огромные сани и, упаковавши себя самого и все свое имущество, накопленное за полтора года, двинусь скоро в дальнюю сторону и, как простой крестьянин, буду сажать репу на берегах Ишима и Карасули».

Рисуя картину будущей жизни, Адольф в действительности не представлял ее. Только время расставит все по своим местам. Пребывание Адольфа Янушкевича на этой земле значительно повлияет на его творчество, восприятие действительности. Описания сурового и по-своему прекрасного края останутся в его литературном наследии.

В Жиляковке начался период глубокого осмысления его нынешнего положения, обустройства быта, различных знакомств. «Копаю садик, гоняюсь за утками и зайцами, ловлю рыбу, беспрестанным движением сопротивляюсь меланхолии, которая так легко нападает в подобном моему положении, купил коня, развожу скот, выбираюсь на пастбище, жаль только, что край этот — не Аркадия», — писал Адольф в одном из писем, рассказывая матери о своем житье-бытье, которое старался видеть пусть и несветским, но далеко небезнадежным.

По признанию Янушкевича, его окружали «простые люди, но очень порядочные». «Я доволен ими так же, как они мной. Живу у них уже третий год и не испытал ни одной неприятности, ни одна булавка у меня не пропала, хотя выходя из дома никогда не беру с собой ключей».

Вскоре Адольф Янушкевич познакомился с близким по духу и таким же, как он, ссыльным, отбывающим наказание декабристом, поэтом Александром Одоевским. Они быстро нашли общий язык в вопросах литературы, искусства, истории, политики. Обменивались журналами и книгами, которые получали от родных и знакомых, обсуждали новости с Запада, вспоминали былое...

Адольф подарил Одоевскому кипарисовую веточку, которую во время своих путешествий по Европе сорвал с дерева у могилы Лауры, возлюбленной Петрарки. Интерес к творчеству великого итальянского гуманиста у Янушкевича был не случаен. Петрарка был исполнен высоким патриотическим настроем, что, в частности, отразилось в известной песне «Моя Италия», скорбел по поводу раздробленности своей родины, призывал к прекращению междоусобицы. Неспроста из путешествия Адольф вернулся в приподнятом настроении и тут же пополнил на Родине ряды мятежников.

Какой могущественной силой обладала эта хрупкая веточка в глуши сибирской тайги! Она служила символом высокой духовной ценности, значимость которой не смогли принизить годы изгнания.

Воодушевленный А. Одоевский в стихотворении-посвящении А. Янушкевичу, признается в созвучии их душ:

Так будем же печалями заветными
Делиться здесь, в отчизне вьюг.

Человек деятельный и талантливый, Янушкевич с крестьянским интересом посвящал себя сельскохозяйственному труду и с достоинством интеллигента занимался научной работой. Он перевел монографию «История захвата Англии норманнами» французского историка Августа Тьери, активно переписывался с друзьями, в том числе с Адамом Мицкевичем, составлял библиотеку для ссыльных.

«Пусть мама не думает, — писал Адольф в одном из писем, — что я постоянно сижу над книгами. Я всегда нахожу себе что-нибудь новое для полезного использования времени. Занимаюсь переплетным делом, даю уроки, двух моих товарищей обучил французскому настолько, что они теперь могут читать любую книгу...» Он был примером для других ссыльных, которые, оказавшись в изгнании, далеко не все смогли перестроить жизнь на новые рельсы. Янушкевич доказал, что его невозможно обречь на сибирский тупик.

«Буду в сторону смотреть, где Дзяхыльна...»

Никогда не прерывалась пусть и тонкая ниточка его связи с Родиной. «Теперь разбиваю с моим товарищем и соседом по квартире (Иозефом Новаком), одноногим, как мой свояк Михась, садик перед нашими окнами. Это будет нечто оригинальное, так как он собирается украсить свою половину цветами, а я свою — сосной, березой и терновником; он на своем участке будет делать диванчик, я же на своем намереваюсь насыпать высокую гору, с которой буду смотреть в ту сторону, где находится Дзяхыльна...»

Каковы же были удивление и радость, когда из семян, присланных из Дягильно, на разбитой им бахче выросли арбузы!..

Все время пребывания в чужих краях взоры Адольфа через «радужную призму надежды» были устремлены именно к этому месту, где трепетно и нежно произносили его имя родные и близкие люди. «Сегодня получил письмо от мамы, Зоси, Касыльки, Стефании и Томаша. Едва ли протер глаза, как мне принесли столько милых свидетельств памяти самых дорогих для меня людей. Не могло быть более приятного для меня начала года».

Особая теплота связывала Адольфа с матерью. Очень трогательна ее материнская забота о попавшем в беду сыне, ее гнетет страх потерять его. Она, исполненная горести и печали, ехала по ухабистым дорогам, чтобы поддержать его в трудный час, рвалось ее материнское сердце, чтобы согреть сына теплом среди сибирских морозов. Потому и сыновняя любовь была безгранична: «О, дорогая мама! Как же я благодарен тебе за то, что не жалела времени и труда, рисуя картину своей жизни, настоящего положения своего и всех несчастливых превратностей судьбы. Картина эта отпечаталась в моем сознании и будет для меня впредь лучшим примером того, как мне следовать тернистой дорогой моего печального предназначения. Лишь бы Бог дал мне такую выдержку. Лишь бы когда-нибудь позволил к стопам твоим возложить благодарность за такой спасительный пример».

Он называет ее «самой лучшей мамой на свете»:

«Последняя почта принесла мне праздничные поздравления и подарки. Мама не поверит, сколько каждый праздник стоит мне здоровья. Представляю, как в каждый такой день мама вспоминает, что когда-то, все мы лично поздравляли ее, а теперь меня нет, и это воспоминание заставляет ее ронять слезы. А это все разрывает мне сердце и душу».

Была еще одна боль, которая, трудно сказать, притупилась ли с годами, несмотря на то, что Адольф отпустил от себя Стефанию Гиновскую. Очень откровенны его признания: «Ее образ слишком сильно живет в моем сердце, чтобы какой-то другой мог его заменить. Когда в Риме, когда в Милане, в Венеции, в каких еще местах не стал жертвой привлекательных женских глаз, то Стефания может быть убеждена, ей не так просто потерять надо мной власть». Перед своей поездкой на «воды заграничные» он написал сонет «Отъезд», посвященный Стефании, в котором признавался ей в любви.

Сладкие мечты влюбленных разбились о тяжесть приговора. Но Стефания не теряла надежды. По разрешению своей матери, она прислала Адольфу свадебное колечко с ее именем; писала письма, полные самых нежных чувств; утверждала, что «Сибирь не является для нее припятствием» и «отчаяние ее будет бесконечным, если он не поддержит ее намерений».

Честь и совесть Адольфа не позволяли из сибирской дали сделать шаг навстречу возлюбленной. Он не мог обречь ее, будущих детей на страдания и лишения, которых было достаточно ему одному. Потому так мучительно рождались строки письма, в которых Адольф сообщал о «невозможности благополучного результата» в решении их судеб, с отчаянием возвращал колечко назад. Каково ему было пожелать любимой счастья с другим?!

Более шестисот писем, каждое из которых шло не меньше месяца за время нахождения Адольфа в изгнании, доставила почтовая служба в Дягильно. В своих весточках на родину он писал «тысячи слов, исходящих из глубины сердца». Он не раз благословлял отличную зимнюю дорогу, которая так быстро приносила ему новости из дома.

Письма во многом носят семейно-бытовой характер, но благодаря таланту Адольфа Янушкевича, так содержательно переданы не только его личные чувства и переживания, но и, по сути, созданы картины того многообразного мира, которые ему самому довелось увидеть.

«Народ, одаренный творцом...»

В августе 1841 года А. Янушкевича перевели в Омск. По случаю бракосочетания цесаревича ему разрешили поступить на государственную службу с присвоением чина «коллежский регистратор». Вскоре его приняли на службу в Канцелярию пограничного начальника сибирских казахов, которых в то время называли «киргизами». Янушкевич был назначен секретарем комитета «по уложению проекта киргизского права».

Судьба ему уготовила новую роль — путешественника — и с любопытством наблюдала: как же он ею воспользуется?

Во время пребывания на торжествах в Дзержинске писатель из Казахстана Омар Хаким скажет: «В лице А. Янушкевича мир потерял великого классика-романиста. Однако в его лице казахи приобрели непревзойденного тюрколога».

Казахи считают, что это по воле руки Божией Адольф Янушкевич участвовал в восстании, остался жив и ему было суждено «исполнить свою великую миссию: запечатлеть уходящий мир кочевников».

Летом 1843 года Янушкевич, ступив на казахскую землю, испытал те же чувства, что и А. Пушкин, когда поэт в поисках материалов для «Капитанской дочки» побывал в Западном Казахстане. «О как пусто и грустно, ни одного деревца поблизости», — огорченный увиденным, восклицает Янушкевич. Ему в течение многих дней предстоит открывать многовековые тайны незнакомой вселенной — степи, в которой казах ориентируется с удивительной точностью: знает каждый куст, камешек, неровность, различит масть показавшейся на горизонте лошади. И совсем другим этот мир представляется европейцу. Слишком

непростыми были эти поездки в дикую степь для славянина. Ему приходилось преодолевать расстояния, которые нелегко давались даже привычным к долгим переходам казакам Сибирского казачьего войска.

«И я, видимо, помаленьку превращаюсь в казаха, и юрта становится для меня обычным жилищем», — неожиданно для себя осознает Янушкевич. И казахи признают его за своего: «Он почувствовал “внутреннее сердцебиение казахской степи”».

В 1845 году во время своего очередного путешествия Янушкевич достиг границы Казахстана с Китаем. В 1846 году он участвовал в русской миссии российского генерала Николая Вишневского, которая из Омска добралась до гор Алатау и озера Алакол.

Двигаясь по степи, он шаг за шагом все больше проникает в ее глубины, раскрывая тайны удивительного мира природы, изучает ее ландшафт, восторгается феноменальным народом — казахами. Он не случайно оказался в составе экспедиции — ценилась его разносторонняя образованность. Он вошел в дипломатический отряд Виктора Ивашкевича (Виктор Ивашкевич, сосланный за организацию тайного общества «Черных братьев») и исполнял там должность историографа, вел канцеляскую работу. Отряду Ивашкевича предстояли разбор жалобы кочевников одной из волостей на управителя, примирение враждующих сартов и киргизов в Аягузе, выборы старшего султана Аягузского округа, перепись населения и скота в Средней Орде. Но главной задачей был поход на пограничную реку Лепсу для принятия в российское подданство Семиречья. Ссыльный революционер оказался в гуще жизни казахской степи: лечил больных лихорадкой, мирил и объединял вражеские племена, добросовестно переписывал местное население.

«Это первый такой чиновник — не кричит, не бранится. С того времени, как мы родились, мы не видели, не слышали и не представляли себе такого чиновника», — недоумевали казахи.

Все, что лицезрел, Адольф описывал в так называемый «Дорожный дневник», в котором ставил кочевников на уровень европейских народов.

В современной оценке самих казахов, созданные Адольфом Янушкевичем «Дневники и письма из путешествия по казахским степям», — это не просто путевые заметки путешественника. Это произведение, как классический роман, построено на внутренних коллизиях, здесь есть свои положительные и отрицательные герои. Автор находит удивительные сходства и достигает необычного накала эмоций со свойственным ему юмором. Казалось бы, незначительные факты в его описании тонко подчеркивают самобытность степняков: «Виктор сердито выбранил меня за нарушение правил казахского этикета: я подставил руки под струю воды вместе с ним, а надо было, о чем я не знал, мыть каждому по отдельности, даже не стоя, а присев на корточки. И вторая такая же важная ошибка: я вел себя, как голодный пес, набросившись на еду, стал грызть бараний мосол, в то время, как хорошо воспитанный человек должен обрезать его пшаком — ножичком, всегда специально для этого висящим на поясе каждого казаха».

«Автором фактически создан этнографический портрет народа, который искусно вырисовывается на каждой странице. К тому же представлен великолепный сборник хроник событий, впечатляет коллекция антропонимов, привлекают просто интересные истории степной жизни. Это позволяет европейцам мир, в котором живут казахи, видеть другими глазами — полными любопытства и восхищения», — такую оценку труду Адольфа Янушкевича дает Омар Хаким.

Среди тех, с кем виделся А. Янушкевич, вместе разбирал спорные дела, вел беседы на разные темы, он выделяет многих деятелей: султанов, ведущих свое родство от самого Чингисхана, биев, волостных, богатых и бедных, деловых и простаков. Например, Кунанбая Ускембаева, отца великого Абая, Янушкевич величает степным Цицероном: «Одаренный природой здравым рассудком, удивительной памятью и даром речи, дельный, заботливый о благе своих соплеменников, большой знаток степного права и предписаний алкорана, прекрасно знаю-

щий все российские уставы, касающиеся казахов, судья неподкупной честности и примерный мусульманин, Кунанбай стяжал себе славу пророка, к которому из самых дальних аулов спешат за советом молодые и старые, бедные и богатые... Каждое его приказание, каждое слово выполняется по кивку головы».

На страницах «Дневника» оживают живописные картины природы, созданные натуралистом. Автор восхитительно пишет о великолепном озере Алаколь, о красоте Тарбагатая, о величии Алатау. «Ни один король в мире не живет в такой прекрасной, такой романтической стороне, как наш казах!» — восклицает А. Янушкевич, говоря о несравненной прелести казахской земли.

Пронзительный взгляд помог Янушкевичу сделать пророчество через столетия. Он был уверен: «Акмола, например, будущая столица всей степи». А глубинное понимание особенностей степной жизни позволило предречь казахам большое будущее: «Народ, который одарен творцом такими способностями, не может остаться в стороне от цивилизации: дух ее когда-нибудь проникнет в киргизские пустыни, разнесет здесь искорки света и придет время, когда намад, который сегодня кочует, займет достойное место среди народов...»

Исторические труды, созданные Адольфом Янушкевичем, не имеют себе равных, поскольку работ по истории Казахстана XIX столетия практически нет.

Библиотекарь, «самодержец» сада и даже астроном

В феврале 1853 года Адольф получил сообщение о том, что судьба делает новый поворот: его переводят в Нижний Тагильск. Он попадает под опеку промышленников Демидовых. Предысторией такого решения стала встреча осенью 1852 года брата Ефстафия в Карлсбаде с Анатолием Демидовым, который решил принять участие в судьбе ссыльного Янушкевича.

Адольфа назначили главным садовником графа Анатолия Демидова и по совместительству библиотекарем заводской библиотеки, открытой по распоряжению А. Н. Карамзина.

Адольф организует сбор коллекции камней, гербариев для краеведческо-минералогического музея; принимает активное участие в написании многотомной истории хозяйства Демидова; приводит в порядок подшивки альбомов с письмами Карамзиных о последних днях жизни и обстоятельствах смертельного поединка Пушкина. Здесь ему предоставляется возможность обобщить труды, собранные во время поездок по Казахстану.

Но все же наибольший интерес у него вызывает библиотечное дело. Библиотека и кабинет для чтения находились на втором этаже двухэтажного флигеля, расположенного слева от заводоуправления. Основу фонда составляли книги, присланные А. Н. Демидовым из библиотеки Выйского училища. Литературу приобретало и заводоуправление. Янушкевич получал все присылаемые издания, расписывался за них, составлял каталоги, расставлял тома по полкам. В библиотечном фонде числилось 1215 томов.

Согласно «Уставу библиотеки», пользоваться ею разрешалось лишь служащим заводоуправления, священникам, приказчикам (начальникам цехов) других заводов горного округа. В Нижнем Тагильске это была первая библиотека общего пользования, а Адольф Янушкевич — ее первым библиотекарем.

Неудивительно, что новое место вдохновило Адольфа. Здесь, в царстве книг, в сокровищнице человеческой мудрости, среди читающей публики, он ощутил себя равным среди равных. Потому с таким воодушевлением делился с родными: «С половины десятого до половины первого, от 6 до 9, а когда много работы, и до 10 вечера, нахожусь в библиотеке. Плохо было бы, если бы я ошибся и приходил на службу позже, потому что уже к этому времени собирается много читателей, ожидая меня. Особенно утром я не располагаю ни минутой свободного времени, настоящий «перпеттум мобиле». Радует, что двигатель этот при исполнении

своих функций приносит каждому читателю немалое удовольствие. Если бы вы видели, в каком фаворе я у местного населения! Особенно его прекрасная половина благодарна мне вдвойне. Летом виною тому произведения моего сада, создаваемые, прежде всего, для этой половины зимой — лекарство от скуки длинных вечеров, которое подается ей вежливо и предупредительно».

«Мало того, что я являюсь библиотекарем, но и «самодержцем» сада, — сообщал он о своем новом статусе матери, и не без гордости добавлял: — Пришлось стать и астрономом!» Янушкевич вел астрономические и метеорологические наблюдения во впервые созданной им на Урале обсерватории, о которой давно мечтал Демидов.

Запоздалая весна

И вот — долгожданная весть об амнистии. Она пришла в апреле 1856 года, только после смерти царя.

Встречай, родина, истосковавшегося душой и телом сына, личное счастье променявшего на борьбу за твою независимость! Встречай изгнанника, который тщетно сражался за свободу в одной части света, и, неся за это наказание, укреплял веру и дух в светлое будущее другого народа! «Снилось ли мне когда-нибудь, что я в другой части света буду играть роль дипломата среди народа мало мне известного», — писал Янушкевич друзьям. Везде, куда бы ни забрасывала его судьба, он оставил о себе добрый след, как в прочем, и «часть своей души».

Но получил ли Адольф ту радость, о которой грезил долгие годы под завывание сибирской вьюги, под свист ветра в казахской степи? Не раз он мысленно представлял свое возвращение домой. В одном из писем подзадоривал племянницу для столь торжественной встречи выучить какой-нибудь гимн. «Что терпел от страданий ежедневных, что передумал в своих ночах бессонных?» — все осталось позади...

Каждое письмо с родного края он ждал словно ласточку, которая на крыльях несет весну. И пришла она, эта весна. Но какой оказалась запоздалой...

Болезнь легких стала мучить его еще в марте. До того здоровье было подорвано десятком горячек, двумя воспалениями легких и горла, три зимы подряд его ломал ревматизм. Суровый климат сделал свое губительное дело. В апреле Адольфу стало настолько плохо, что он вынужден был просить об увольнении.

Буквально через пятнадцать минут после подачи прошения об амнистии он узнал, что оно удовлетворено. Казалось бы, немыслимо долгожданное слово «свобода» его окрылит. Но болезнь брала верх. Адольф видя, что ему с ней не справиться, решил «отдаться во власть Божию» и как можно скорее покинуть Тагильск, тем более, что и доктор ему настойчиво рекомендовал сменить климат.

Природа, которая пела, звенела всеми голосами весенних мелодий, цвела буйством красок, и через четверть века была восхитительна. Мощь и красота ее пробуждения от темноты, холода и вьюг — вечны в своем торжестве. Адольф невольно поймал себя на мысли, что когда он пленником преодолевал километры изнуряющего пути, так же радовалась жизни пышущая весна. Но и тогда, и сейчас он не мог слиться с ней воедино, почувствовать гармонию жизни. Сначала он следовал тернистым путем навстречу туманному будущему, теперь здоровье было «утрачено бесповоротно»...

Дягильно ждало того, о ком денно и нощно думались горестные думы; чье имя сполна было омыто горькими слезами; чьи весточки передавались из уст в уста, как самая большая радость. Где он, близкий-далекий изгнанник? Скорее бы увидеть, протянуть к нему руки...

17 июля 1856 года навстречу Адольфу вышли мать, родственники, друзья. Хлебом-солью его приветствовали деревенские люди. Но недолго он смог быть

в дорогих объятиях, попросился поскорее прилечь. Несмотря на обстоятельное лечение, болезнь не отступала, туберкулез изматывал его обессиливающее тело. В конце апреля 1857 года Адольф еще смог написать братьям в Париж: «Боже! Сколько я вытерпел за все это время, сколько терплю до сих пор!» Утром 6 июня 1857 года его не стало...

Назавтра крестьяне, которые год назад приветствовали «милого» господина, пришли во двор усадьбы, чтобы проводить его в последний путь. В глубокой скорби Адольфа похоронили на дягильнянском кладбище. Белорусская земля приняла тело своего сына, который прославлял ее в чужих краях...

Одной беды оказалось мало. По возвращении с похорон обнаружили еще одно бездыханное тело. Убитые горем по ушедшему из жизни Адольфу, родственники не заметили, как отлетела душа Касыльды, дочери Януария. У несчастного отца не было слез, чтобы оплакать потерю единственной дочери. В молчании ее похоронили рядом с дядей Адольфом.

Через несколько дней в Койдановском парафиальном костеле за отошедших в мир иной прошла поминальная служба. В глубокой печали съехались близкие и далекие соседи. Молитва ксендза Виктора Малевича была трогательной и проникновенной...

Так закончился путь земной Адольфа Янушкевича.

Не поддаваясь забвению

Сколько же за два столетия произошло событий, которые во многом изменили мир, отношения в нем! А как же Дягильно? Как на нем сказалось время?

Адольфа очень беспокоила угроза конфискации усадьбы. Из-за него эта трагедия коснулась бы лично всех родных. Имущественное дело Янушкевичей рассматривалось в различных инстанциях, бюрократическая волокита тянулась не один год. Тем не менее, родственники и после смерти Адольфа продолжали жить в Дягильно.

В 1871 году Ефстафий высказывал сожаление о том, что отец, Михаил Янушкевич (похоронен в Вильно), не лежит в Дягильно, где похоронены Адольф, четверо детей Януария. Здесь же покоится и мать, которая умерла в 82 года, на три года пережив Адольфа.

«Какое это красивое место для вечного упокоения», — говорил о семейном кладбище Ефстафий. Дальнейшее владение усадьбой он предлагал передать Тадеушу, сыну брата Ромуальда, как единственному мужчине, который остался в их роду. Сам Ефстафий в Дягильно больше не приезжал и похоронен на парижском кладбище в Монмаранси. Владели Янушкевичи усадьбой до 1879 года.

Братья Адольфа, Ефстафий и Ромуальд, хотели сразу же опубликовать его записи, признав их весьма интересными для европейцев. Даже журнал для этого подобрали: «Ундину друскенинских источников». Но Адольф был категорически против: ему, как политически ссыльному, запрещалось публиковать любые статьи. А вот своему другу, Густаву Зелинскому, при условии не указывать источник, разрешил использовать его описания в стихотворной поэме, названной «Киргиз». В 1861 году, после смерти Адольфа, дневники и письма из путешествия по Казахстану братья издали в Париже.

Письма лежали в Дягильно. Брат Януарий сделал их копии, которые и сейчас хранятся в Париже. В 1875 году часть наиболее ярких писем была опубликована в Берлине.

После октябрьской революции 1917 года изменилось отношение не только к собственности, но и к культурному наследию. В 20-е годы прошлого столетия с дягильнянского кладбища растаскивались камни для кладки печей в соседней деревне... Былое имение стало приходить в запустение...

В 1966 году об А. Янушкевиче вспомнили благодаря преподавателю КазГУ Фаине Стекловой, которая его «Дневники и письма из путешествия по казахским степям» перевела на русский язык и опубликовала в Алматы. До этого времени дневники А. Янушкевича не упоминались ни в одном библиографическом справочнике по истории Казахстана. Книга вышла в издательстве «Казахстан» тиражом 7900 экземпляров, по советским временам она стоила 56 копеек. Есть сведения, что Фаина Стеклова в 1978 году приезжала в Дягильно.

В 1979 году казахский перевод «Дневников и писем» сделал Мукаш Сертекеев.

К 200-летию А. Янушкевича в Польше была издана книга «Listy z Siberii», дополненная материалами Фаины Стекловой из российских и Яна Тринковского из польских архивов. Анна Судник-Матусевич из Дзержинска сделала ее перевод, и на белорусском языке книга вышла в свет в 2008 году весьма ограниченным тиражом.

Начиная с 80-годов прошлого столетия, энтузиасты не раз пытались наводить на кладбище порядок. Под руководством научного сотрудника Института истории Академии наук Беларуси Николая Кривольцевича здесь велись раскопки. Появлялись публикации в прессе. Свое слово сказали известные в Беларуси авторы: профессор, доктор филологических наук Адам Мальдис, историк-краевед Анатолий Валаханович. Однако этих усилий было явно недостаточно, чтобы по-настоящему осознать значимость сделанного Адольфом Янушкевичем, оценить его вклад в культурное наследие.

«Золотой мост», проложенный пером

...Утро выдалось не по-ноябрьски теплым. В небесной глубине через стену густого тумана настойчиво пробивалось солнце. Казалось, природа замерла, но это не было дряблым увяданием старухи-осени. В ее уходе на покой было нечто гордо-величавое. Она сохраняла свое достоинство перед неизбежностью наступления предзимья.

Не с таким ли душевным настроем — светлой грусти — идем к могилам своих предков? С ними нас связывают одни гены. В наших жилах течет одна кровь. Идем поклониться их памяти, осознать на этой земле свою роль...

...Дягильнянскую улицу заполнил поток людской реки. Отдать дань уважения Адольфу Янушкевичу собрались люди разных должностей, званий, те, кто постарше, и пытливая молодежь — всем хотелось прикоснуться к величию этого имени. У символического памятника, созданного скульптором Валерианом Янушкевичем, люди выражали свои лучшие патриотические чувства, на которые их вдохновил «один из лучших наших «Дзядоў». Молитва ксендза костела святой Анны в Дзержинске Рышарда Пежхалы вознеслась к небу, прославляя земные труды дорогих нам предков, призывая хранить светлую о них память.

Принять участие в Международных Койдановских чтениях, которые в тот же день прошли в Дзержинской центральной библиотеке, пожелали многие ученые, писатели, общественные деятели, просто неравнодушные к истории родного края люди. Обстоятельный доклад сделали школьники.

Заместитель председателя Комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Владислав Цыдик, главный инициатор всей подвижнической деятельности по признанию заслуг Янушкевича, сказал о том, что нельзя предавать забвению историческое прошлое своей Родины. Адольф Янушкевич оставил богатое наследие, и наш святой долг — быть благодарными за это Великому Человеку. Его имя и сегодня объединяет народы.

По мнению Ергали Булегенова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, Адольф Янушкевич своим пером проложил золотой мост между далеким казахским краем и культурой Европы.

По этому мосту может двигаться и экономическое сотрудничество, что, собственно, подтверждают реалии современной жизни — участие Беларуси и Казахстана в Таможенном союзе. Нынешний представитель рода Янушкевичей, Феликс Янушкевич, растроганный столь высоким уровнем торжеств, по-своему определил их значимость: «Могила матери Адольфа, которая вопреки всем разрушениям, сотворенным вокруг, сохранилась, служит свидетельством того, что такая земля не подлежит забвению. Дух ее нельзя истребить, он все равно будет возвращаться. Как и Адольф, находясь в изгнании в Сибири, сердцем был в Дягильно».

Члены казахской делегации Михаил Буланов, руководитель портала belarus.kz, заместитель председателя культурного центра «Беларусь в Казахстане», Сакен Сейфуллин, бизнесмен, общественный деятель, меценат и писатель Омар Хаким подчеркивали значимость сделанного Адольфом Янушкевичем. Казахи были едины во мнении: сейчас их время увереннее протянуть руку дружбы к родине столь уважаемого ими человека. Тем более, что гости сами убедились в том, насколько гостеприимна белорусская земля.

Все это и дало толчок для создания Международного казахско-белорусского Фонда имени Адольфа Янушкевича, в планах которого — осуществление различных масштабных проектов. В Казахстане многие улицы носят имя Адольфа Янушкевича, чего пока нет в Беларуси. Да и самих книг, главных популяризаторов творчества А. Янушкевича, крайне мало. Кроме их издания, был бы очень кстати фильм, посвященный судьбе нашего земляка.

Требует дальнейшей мемориализации семейное (Панское) кладбище в Дягильно. Интерес к творчеству Адольфа Янушкевича проявляют многие исследователи, но и белых страниц в книге его жизни еще немало. Хотя есть все основания роль Янушкевича рассматривать в более широком преломлении, как к той эпохе, так и в актуальности его идей в нынешнем времени. Говорится о необходимости детального исследования родословной Янушкевичей, и другие выходцы которой были неординарными личностями.

К участию в работе Фонда могут подключиться все страны, где так же чтут наследие А. Янушкевича. Как, например, небезразличен к судьбе Янушкевича казахстанский режиссер Сергей Шафир, живущий в Израиле.

Главный итог Международных Койдановских чтений прозвучал в словах главного редактора, директора Дирекции зарубежного вещания Белорусского радио (радиостанция «Беларусь») Наума Гальперовича: «По-прежнему мы только сейчас по-настоящему открываем имена уроженцев Беларуси, которые стали известными деятелями науки, культуры, искусства в других странах. Мы уже чтим Костюшку, Черского, Домейку, Шагала, которые имеют всемирную славу. Однако, по свидетельству профессора Мальдиса, таких выдающихся сыновей Отчизны, которые имеют международное признание, около трех тысяч.

Гордиться своим, знать свою историю и культуру — это и есть высокий патриотизм. Он абсолютно не мешает интересоваться культурой и историей других народов, жить в тесных дружеских отношениях с ними. Как говорит народная мудрость, не будешь уважать себя, не будут уважать тебя другие».

* * *

Увлекшись астрономией, Адольф Янушкевич проникал в тайны Вселенной. Удалось ли ему разглядеть там свою звезду? Сможем ли мы отыскать ее?

Возможно, будет суждено сбыться и еще одному пророчеству, тому, которое было выбито на памятнике Янушкевичу. Автор этой стихотворной надписи — его товарищ по Виленскому университету поэт Эдвард Одинец: «Пусть и терпел муки перед глазами людскими, однако не покидает надежда на его бессмертие»...

ВАДИМ САЛЕЕВ

Национальная театральная...

...У писателей (как, впрочем, и у ученых) есть известное присловье: все решает вторая книга.

Первую может человек сотворить как бы по наитию. У каждого есть свой взгляд на мир, и свой, в чем-то уникальный, человеческий опыт. Сопряжение этих компонентов, плюс порыв, в соединении с некоторыми способностями — все это, вместе взятое, в состоянии породить книгу (картину, изобретение, научный труд).

Первую... И иногда — единственную... Потому что для сотворения второй одного порыва и личностного отражения может уже и не хватить... надобно овладеть закономерностями, по которым и творится данный «артефАкт». И именно второе «творение» обозначает вписанность данного явления в сферу культуры и обозначает не только его уровень (как и уровень творящего), но и саму тенденцию, парадигму порождения в дальнейшем подобных артефактов...

...Вторая национальная воспринималась театральной общественностью без излишнего пафоса, довольно спокойно-обыденно (что позволило одному из изданий, считающему себя элитарным, позволить фривольный заголовок: «Между Первой и Второй»)... Живо вспомнились тот особенный настрой, то волнение, которое охватило организаторов и участников Первой национальной премии ровно год назад... Тогда было все первопроходческим, волнующим — и выбор 12 спектаклей-финалистов, и рекордное число членов жюри (к известным драматургам, художникам, композиторам, специалистам в области теории и истории театра, критикам были присоединены представители практически всех имеющихся в стране театров — академические театры заявляли по 5 членов жюри, остальные — по 3), и волнительные минуты открытия и закрытия форума.

Вспоминаются и лауреаты Первой Национальной премии. В определении лучшего спектакля особых расхождений среди членов жюри не наблюдалось (Лауреатами стали «Набукко» Дж. Верди в представлении Большого театра оперы и балета и спектакль «Не мой» А. Адамовича театра имени Я. Купалы). Сомнений не вызвало получение наград художника-постановщика Борисом Герлованом и Аленой Игрушей за сценографию и костюмы к спектаклю «Не мой» А. Адамовича.

Несколько неожиданными, но тем не менее справедливыми, выглядели лауреатские триумфы в режиссуре и в «лучшей мужской роли». Алексей Лелявский блеснул неожиданной метафорической трактовкой в спектакле «Драй твестер» А. Чехова, причем в этих знаменитых «Трех сестрах» фоновое присутствие кукол только подчеркивало глубину чеховского осмысления бытия и значимость актерских работ «живых» исполнителей.

Первый лауреат «актерского цеха» — Павел Харланчук-Южаков блеснул достоверной искренностью в роли Пигдена в спектакле «№ 13» Р. Куш, поставленном Т.Троянович в театре-студии киноактера национальной киностудии «Беларусьфильм».

...А вот остальные три награды оказались весьма спорными и вызвали известный резонанс в среде театральной элиты Беларуси.

Во всяком случае я, член жюри от «Белорусской театральной академии», считаю, что очень неточно была сформулирована номинация — «лучшая современная белорусская постановка». Награду в ней получили Алена Колюнова (за инсценировку) и Александр Гарцуев, постановщик спектакля «Не мой». Но ведь основой этого спектакля выступала известная повесть Алеся Адамовича. К тому же, в конкурсе участвовали и другие белорусские драматурги с оригинальными современными пьесами. Аналогичное положение сложилось и вокруг музыкального лауреатства Первой национальной премии. Некоторое недоумение вызвало вручение премии Олегу Ходоско. Нет, конечно же, музыкальное оснащение спектакля «Не мой» вполне на уровне, но в конкурсе участвовали не менее интересные работы А. Еренькова, В. Кондрусевича (автора оригинальной музыки к целым двум спектаклям-номинантам на премию); наконец, поскольку в конкурсе участвовали и музыкальные театры, то, как горько пошутил один из членов жюри, весьма странно, почему не вручили первый приз Дж. Верди, ведь эта музыка неподражаема.

...И наконец, лауреатство, которое вызвало наибольшие возражения. Национальную премию за лучшую женскую роль получила исполнительница роли Полины (спектакль купаловцев «Не мой») артистки С. Аникей. Нет, вовсе не хочется преуменьшать достижений молодой актрисы: она вполне искренна в своей работе и временами демонстрирует высокие взлеты. Но это случается не всегда, а даже в спектакле купаловцев имеется не менее интересное исполнение женской роли. Речь идет об образе матери героини, которой рисуется актрисой Т. Мироновой настолько глубоко и достоверно, что олицетворяет собой как бы судьбу белорусского этноса в бесчисленных войнах веками прокатывающихся по белорусской земле...

...А были еще две женские актерские работы, на наш взгляд, более чем достойные лауреатских лавров. В спектакле национально-академического театра им. М. Горького по пьесе Л. Улицкой «Эсфирь», спектакле камерном, где режиссура (постановщик В. Еренькова) отмечается вдумчивостью и точностью, все или почти все определяют взаимоотношения дуэта двух сестер, их контрастное отношение к жизни: одна — взбалмошная, сверхактивная (Эсфирь) и вторая — мягкая, женственная, добрая (Елизавета).

И безумно жалко, что этим двум великолепным актерским работам: Елизавету играла з. а. Л. Былинская, Эсфирь — н. а. О. Клебанович — и, особенно, последней, где исполнительница, в конце концов, достигла впечатляющего совершенства — так и не было воздано по заслугам...

...Подобное сожаление можно адресовать и следующему театральному впечатлению. На этот раз оно связано с постановкой на сцене Республиканского театра белорусской драматургии спектакля «Сонечка» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Необычный и яркий спектакль интересный и сам по себе (постановщик — з. д. РБ В. Анисенко, пластика, прекрасно сопрягающаяся с музыкой В. Кондрусевича, поставлена з. а. РБ И. Сиговым), принес целый ряд успешных актерских работ. Но и среди этих работ одна выделялась настолько, что спектакль, вероятно, следовало бы назвать именем именно этой героини — «Екатерина Ивановна». В исполнении этой роли артистка Л. Сидоркевич показала тонкую, нервную и, одновременно, исполненную щемящей силы натуру... Вспомнить, как она, как орлица, прикрывает собой детей, как она, ссорясь с хозяйкой пансиона, упирает на свое дворянское происхождение (и мы действительно словно ощущаем его!), как горестно всплескивает руками при виде кончины мужа, как, собрав последние силы, защищает достоинство падчерицы. Поистине, героиня Достоевского...

И как жаль, что эта блестящая театральная работа тоже осталась без награды...

...И, наконец, заключительный аккорд Первой «Национальной премии»... Праздничная атмосфера в Большом театре оперы и балета... Помнится торжественный проход (что-то вроде красной ковровой дорожки для прохода звезд — непременный атрибут всех кинофестивалей) участников смотра, представляющих различные театры, телекамеры, вспышки фотоаппаратов, торжественное ожидание зала — здесь и руководство Министерства культуры (во главе с вдохновителем создания Национальной театральной премии Павлом Латушко), и члены жюри, и приглашенные... Правда, ожидание немного затянулось. В последствии оказалось, что причиной явилось спешное изготовление «Павлинки» для одного из победителей — ведь лучшим спектаклем форума были объявлены сразу 2 работы: «Набукко» и «Не мой»... Конструктивным и интересным показалось представление номинантов на премию: претендентов на режиссерскую награду представляли маститые режиссеры, на актерские призы — известные актеры.

Взбодрил аудиторию забавный эпизод с вручением премии за лучшее исполнение мужской роли — победитель Павел Харланчук-Южаков явился нарушителем дресс-кода, и когда он, смущаясь, в джинсах, получал заслуженную награду, зал переживал за него с не меньшей энергией, чем на спектакле. И замечательным аккордом торжественной церемонии явились чествования корифеев нашего театра — народных артистов СССР Т. Нижниковой, Р. Янковского, Г. Овсянникова, В. Елизарьева, творчество которых так обогатило отечественную (не только театральную!) художественную культуру...

...Воспоминание о Первой национальной грело сердца участников второго театрального форума, который состоялся во 2-ую декаду октября 2012 года.

...Снова были представлены академические театры Беларуси, специальной комиссией были отобраны лучшие (с точки зрения этой же комиссии, что в ряде случаев вызвало в театральной среде глухой ропот) спектакли областных театров, в график показов была включена и постановка Современного художественного театра — негосударственного театрального учреждения.

Неизменным остался обширный состав жюри. Ныне состав Белорусской театральной академии формировали 3 художественные союза: «Белорусский союз театральных деятелей», «Белорусский союз литературно-художественных критиков», «Белорусский союз композиторов». Кроме этих 25 избранников (и в самом деле, достаточно известных в театральном мире), как всегда, присутствовали представители театров Беларуси в прошлогодней выделенной пропорции: академические театры 5 представителей, все другие — по три. И если раньше автора этих строк, как театрального критика с неправдоподобно большим стажем, сей факт, скорее раздражал, то ныне он заставил задуматься скорее в позитивном плане и в самом деле: инициатива П. Латушко и А. Курейчика выглядит достаточно демократичной и, что самое главное, объективной. Ведь если окончательное суждение об уровне спектаклей и отдельных исполнителей принимают не пятеро критиков (даже если предположить самого высокого уровня), которые в силу профессиональных наклонностей могут сказаться достаточно субъективными, а 100 человек, то их общее мнение, по совокупности, все же расчищает поле для объективного (а, следовательно, более верного) суждения...

...И вот она началась — вторая театральная сессия 2012 года.

Афиша ее — несмотря на всего только недельное временное пространство — достаточно насыщенная: представлены все областные театры, почти максимальное представительство кукольных театров республики (как выяснилось впоследствии — вполне оправданное) и даже, как уже отмечалось, приватный так бы выразиться, столичный театр «Современный художественный театр».

Из значимых театральных коллективов отсутствовал разве что музыкальный Академический театр, да и отсутствие молодежного театра и хотя бы одного из новых драматических театров (из Молодечно, Мозыря, Пинска) тоже снижало общее панорамное видение театрального пространства страны.

Впрочем, скорее всего уровень мастерства этих новых коллективов еще не достигает необходимой для присутствия в конкурсе на национальную премию планки... Впрочем, их представители в качестве членов жюри присутствовали на всех конкурсных просмотрах, и, надо думать, теперь реально представляют, какова эта планка...

...И в этом плане появляется еще один респект для устроителей национальной премии...

...А течение смотра сразу же свернуло в непредсказуемое русло...

Оба лауреата предыдущего конкурса предстали в ослабленном состоянии. Театр Янки Купалы представил спектакль-реконструкцию «Похищение Европы или театр Уршули Радзивилл» в постановке Николая Пинигина. Эта постановка, по моему глубокому убеждению (следует отметить, что мое мнение, в данном случае, резко расходится с мнением большинства критиков, негативно оценивших спектакль сразу же после его сотворения), является достижением не только театральной культуры, но и национальной белорусской культуры в целом. Потому что спектакль, прежде всего, разбивает сложившийся стереотип, относительно того, что белорусская культура, в основе своей, крестьянская — «мужицкая», как ее характеризовали исследователи едва ли не три столетия.

Нет, на своем «верхнем» уровне белорусская культура, как и аристократическая культура всей Европы, отталкивалась от французского («парижского»!) вектора (недаром сама Франтишка Уршуля Радзивилл писала свои пьесы и на польском, и на французском языках), неслучайно и Несвиж, — театральная и, во многом, культурная столица Беларуси в XVIII веке.

Причем реконструкция оказалась не только интересная в смысле культурологическом (как историческая данность), но и в чисто театральном. Наглядно была продемонстрирована эстетика полузабытого у нас театра представления, при этом балетная часть в сочетании с драматическим действием выглядела вполне профессионально, опера «Счастливое несчастье» также продемонстрировала неплохую вокальную подготовку молодых актрис купаловского театра. И, конечно же, центральное драматическое действо, «Распутники в ловушке», где блестяще действуют народные артисты Беларуси С. Журавель и В. Манаев, где небезынтересны работы з. а. А. Подобеда, С. Зеленковской и П. Харланчука-Южакова и искрометно выглядят В. Гарцуева и, особенно, А. Козела в роли Арлекина, который как бы цементирует все действие. Но почему же этот неординарный спектакль так и не получил главных наград Национальной премии? Ответ прост и банален: потому что членам жюри был представлен не сам спектакль в его органичном, т. е. непосредственном виде, а его видеоверсия. «Похищение Европы» как раз в эти дни было показано зрителям Франции и, судя по отзывам прессы, снискало позитивную оценку, что, конечно, подняло реноме отечественного театра; однако, эти же обстоятельства, по условиям смотра, сыграли против купаловцев.

...Иная, на мой взгляд, причина коренилась в неуспехе Большого театра оперы и балета. По-моему, создатели спектакля переоценили свои силы. Это, прежде всего, касается режиссера-постановщика Михаила Панджавидзе. Довольно спорная трактовка философского содержания великого творения Джузеппе Верди, которое по праву считается символом оперного искусства. К тому же, главную роль исполняла не слишком известная исполнительница Е. Головлева (а не заявленные солистки Большого театра А. Москвина и Н. Шарубина, каждая из которых имеет внушительное число поклонников), достаточно неровно проведшая партию. И, таким образом, к достижениям великой оперы, которая царствовала в белорусском оперном театре 55 лет, можно отнести только привычное мастерство хора (хормейстер-постановщик н. а. Беларуси Н. Ломанович), находящееся на должном уровне исполнение партии Радамеса (н. а. Беларуси С. Франковский) и уникальная сценогра-

фия великого (не побоимся этого слова!) художника Евгения Чемодурова. Его декорации и костюмы в нынешней «Аиде» — живое воплощение классики; от этой работы веет мощью и фундаментальностью — и приятно, что художник-постановщик Александр Костюченко бережно сохранил уникальное достояние, через полвека представшее перед нами в своем величии, и заслужил нашу глубокую благодарность...

...Не удалось блеснуть на национальном форуме и другим отечественным Академическим театрам.

Театр им. Я. Коласа во второй раз открывает театральный праздник и во второй раз оказывается среди аутсайдеров фестиваля. На этот раз витебляне представили спектакль по В. Короткевичу «Леониды не вернутся на землю» в постановке Михаила Краснобаева. Мне помнится, что к тексту В. Короткевича режиссер «припадал» еще 20 лет назад. Однако, как это часто бывает — искусство ведь безжалостно — на уровне спектакля это никак не сказалось. Разумеется, прежде всего, в этом вина режиссера. Постановка осуществлена в стиле 50-х — начале 60-х годов; и прямая романтическая «струя», идущая со сцены, у современного зрителя вызывает разве что иронию. Вообще, необычайно сложно представлять на сцене творения, отмеченные романтическим флером (к В. Короткевичу это относится в полной мере). Не спасает и довольно высокое коллективное актерское мастерство коласовцев, среди которых выделяются з. а. Беларуси В. Грушов и молодые актеры А. Ганум, Ю. Галеев и М. Коржицкий.

Иного порядка относительная неудача горьковцев. На этот раз театр выдвинул на конкурс новое прочтение «сверхклассического» грибоедовского «Горе от ума». Однако подтвердилась старая театральная истина: нельзя «Гамлета» ставить не имея самого Гамлета. Так и здесь: Чацкий в исполнении А. Бельского оказался настолько несостоятельным, что почти все сцены с его участием оставляют тягостное впечатление. И, казалось бы, все при молодом актере: и стать, и хорошая дикция, и неплохое сценическое движение. Но не хватает темперамента и особого «нерва», выделяющего трагического героя. Да и ближайшие оппоненты Чацкого — Фамусов в исполнении н. а. СССР Р. Янковского и Софья в исполнении В. Пляшкевич оказались достаточно «размытыми», знаменитые роли обрисовываются только штрихово. Немудрено, что в этих условиях неожиданно вышли на «первый» план фигуры как бы второго плана — Скалозуб, которому энергичное исполнение А. Кривецкого придало неожиданную убедительность и особенно Молчалин, превратившийся в трактовке Р. Чернецкого едва ли не в главную фигуру постановки. Здесь и угодничество, и лицемерие, и открытая функциональная направленность на выгоду (столь актуальная в наши дни!) и сдержанная, дозированная энергетика, так украшающая облик персонажа.

...Спектакль можно было бы считать и вовсе провальным, если бы не характерная «изюминка», присущая режиссерскому почерку Сергея Ковальчика. Выстроенные им во втором акте «общие» сцены порой поражают уровнем театральной филигранности. И среди этого конгломерата «высшего общества», где даже 5 княжон Тугоуховских выглядят особенными и индивидуальными, блестящими актерскими работами отличаются н. а. Беларуси О. Клебанович (графиня Хлестова), з. а. Беларуси А. Душечкин (Горич), Н. Чемодурова (графиня бабушка Хрюмина). И, повторюсь, весь актерский ансамбль спектакля.

...Не слишком порадовали и другие драматические театры. Так, неожиданно самым востребованным драматургом оказался П. Бомарше. Комедиографа с его искрометным повествованием о женитьбе Фигаро представили сразу два театра: Гомельский областной и Современный художественный театр из Минска. О первом спектакле трудно сказать что-либо позитивное: долгое монотонное зрелище, лучший пример «реализма на подножном корму» (во многом задан-

ное постановщиком и исполнителем роли графа Альмавивы в одном лице — з. а. Беларуси В. Чепелевым). Другой спектакль оказался ближе по своей ментальности к духу французского комедиографа, да и поставлен был с комедийной легкостью (режиссер-постановщик С. Ковальчик); в нем нашлась и череда удачных актерских работ (В. Ковальчик, В. Сорвирова, Н. Чемодурова, А. Полозков), но не слишком убедительное исполнение двух главных ролей (граф Альмавива — В. Ушаков, Фигаро — С. Юревич) достаточно сильно снижало общее впечатление...

...И все-таки были и позитивные, обнадеживающие моменты в панораме, представленной драмтеатрами Беларуси. Таковыми, на мой взгляд, следует считать само участие в смотре Могилевского областного театра драмы и комедии (повесть о Максиме Богдановиче, поставил один из самых интересных отечественных режиссеров — В. Барковский) и Драматического театра Белорусской армии, в спектакле которого — «Беда от нежного сердца» — привлекли внимание завораживающая энергетика молодых исполнителей и стремление режиссера М. Дударевой отойти от стереотипов пластического решения водевиля. К позитивным элементам следует отнести и вторичное появление на смотре режиссера Татьяны Троянович, которая вместе с театром-студией киноактера представила спектакль по широко известной пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса». Творческая манера Т. Троянович привлекает тем, что она дает широкие возможности для актерского творчества. Вот и в этом спектакле были даны широкие возможности актерскому составу, которые, впрочем, не были реализованы. Странное впечатление оставляют актеры театра: вроде, большинство из них достигло достаточно высокого профессионального уровня, но вот так, чтобы прыгнуть еще за черту, приподняться над ней, удивить зрителя чем-то оригинальным — никак не удается. А может быть, этому не слишком способствует выбранный режиссером (и не доведенный до конца) жанр мистического детектива?

...Еще одним позитивным штрихом форума, на мой взгляд, стало явление «театральному бомонду» режиссера Владимира Савицкого. Я оговорился лишь частично — разумеется, как раз минскому высшему театральному обществу режиссер более чем известен. Своей приверженностью белорусской тематике, своей способностью по-своему добиваться от актеров особой психологической достоверности, основанной на особенном же ощущении переливов белорусской ментальности и белорусского строя чувств...

На форуме В. Савицкий представил две классические пьесы, принадлежащие перу основателей белорусского театра. Но если имя Я. Купалы известно каждому белорусу, то для большинства зрителей Ф. Олехнович является практически неизвестным драматургом. Из знаменитой купаловской драмы В. Савицкий развертывает эпическое повествование с библейским акцентом. Трагедия семьи Зябликов перерастает в громадное художественное обобщение: здесь угадывается судьба этноса, здесь, как прекрасно выразился поэт, «дышит почва и судьба». Режиссерскому замыслу соответствует и сценография (сценограф и художник по костюмам В. Тимофеев) — здесь представлены две ипостаси: земля и небо. Максимальный выразительный реализм. Только дощатая дорога, продолженная по этой несчастной, родной, глубоко вошедшей в душу человека земле — и звездное небо над головой...

Мощное действие с конечным криком — выкриком Зоськи: «А-а-а», заставляет по-новому переосмыслить великую купаловскую драму — и это, полагаю я, уже достижение, достойно венчающее юбилейный год песняра. Иное дело, что актеры Брестского театра оказались не в состоянии поддержать порыв режиссера и художника (из общей картины, где каждый персонаж, являет знаковую фигуру. Можно, пожалуй, отметить лишь молодых актеров: О. Лойдову (Зоська) и Б. Хомика (Данилка)...

...Известный контраст в отношении купаловской постановки В. Савицким являет спектакль ТЮЗа по Ф. Олехновичу «Пан министр». Перед нами

фарс, представленный в своем классическом, первозданном виде. Режиссер В. Савицкий предстает скрупулезным реконструктором, который тщательно и любовно восстанавливает не только драму полузабытого белорусского классика, но и время, столь характерное для становления национальных государств и первоначального накопления капитала. Возникают художественные параллели и с творчеством В. Маяковского и Б. Нушича. Спектакль выглядит достаточно цельным и по режиссерскому замыслу и по его реализации. Претензии некоторых молодых критиков, обвинивших спектакль в публицистичности и авангардизме 70-х—80-х годов XX века не представляются нам достаточно аргументированными — важно, что представляет собой спектакль здесь и сегодня. А при показе в конкурсе 2-й Национальной он выглядел достаточно презентабельно. Введение инфернального начала, хороший темпоритм дает, как обычно, в спектаклях В. Савицкого актерам пространство для творческого самовыявления. Не все из них воспользовались карт-бланшем. Претензии есть даже к исполнителю заглавной роли Александру Полозкову (Филимон Пупкин). Временами самоигральная стихия захватывает артиста. Но в целом, и образ, и все происходящее на сцене выглядит достаточно остро и броско...

...Несколько особняком в конкурсе стоит спектакль Могилевского областного драмтеатра «Одноклассники» по пьесе Ю. Чернявской. Он поставлен Екатериной Аверковой, одним из лидеров «молодой режиссуры», которая уже была лауреатом молодежных театральных фестивалей, и является как бы признанным «специалистом» по современной белорусской драматургии. Увы, сценический результат скорее разочаровал, чем порадовал.

Пьеса Ю. Чернявской, разумеется, претендует на актуальность. И внешне все так и выглядит. Потому что едва ли не главным действующим лицом в пьесе выступает компьютер, интернет, «буковки», как говорит юный Митя, сын героини, аутист. Ибо отношения между главными персонажами Ильей — редактором журнала, уехавшим в Германию, и Машей, которая так сложно живет на родине, так и не проясняются до конца спектакля.

...Вроде есть тяготение, вроде есть намек на вырисовывающееся чувство, но все как бы тонет в тумане, сникает в неопределенности. Ошибка, прежде всего, в нечетком режиссерском решении. Да и в актерском плане можно, пожалуй, отметить лишь работы Е. Кривонос (Марта) и Ч. Вилькина (Митя). В общем, большие ожидания канули, как говорится, в вечность...

...Размышления эти, скорей всего, окрашены в грустные тона. Обобщая сказанное, можно считать, что драматический и музыкальный «сегменты» фестиваля, явно уступили номинантам и лауреатам Первой национальной премии, состоявшейся ровно год назад...

...Но, как известно, мир движется вперед неожиданностями. И такой приятной неожиданностью, по сути, изменившей весь характер проведения форума, явилось триумфальное шествие кукольного театра.

Уже в первом представлении кукольников — спектакле «театра «Лялька» «Принцесса и свинопас» по Х. К. Андерсену (режиссер В. Климчук) была создана волнующая атмосфера сочетания волшебства и реальности. Все внешне просто, но первородно по сути. Примерно такое же впечатление осталось и от спектакля Могилевского кукольного театра «Волшебная кисточка», здесь, правда, стержнеобразующим фактором выступила сценография Т. Несисян.

Это были добротные спектакли, но два последующих воздвигнули планку на новую высоту. Причем эта планка оказалась столь высокой, что она взметнула вверх весь театральный форум. Так, спектакль Белорусского государственного театра кукол «Венчание» как бы продолжил прошлогодний триумф этого театра на Первой национальной... Вновь сложнейший, по сути, классический (поскольку пьесы В. Гомбровича давно уже относятся в европейском измерении к этой славной когорте) драматический материал, вновь блестящая сценография (здесь автором выступает Татьяна Нерсисян). Разница лишь в том, что слож-

ное творение Витольда Гомбровича осуществил на сцене молодой режиссер Александр Янушкевич. Осуществил смело, достаточно ярко и достаточно выразительно. Более всего привлекает в спектакле его энергонасыщенный темпоритм и умение сплотить драматических актеров в единый ансамбль. Здесь нет места оговоркам: на «кукольное» присутствие в этом спектакле намекают лишь фигурки — уменьшенные копии пальцев всех размеров «вживленные» в сценическое пространство сценографом Т. Нерсисян и так мощно поддерживающие действие. Прекрасно и то, что режиссура представляет большие возможности для реализации собственной художнической позиции актерам, и они их в большинстве своем используют. Во всяком случае, Игнат (А. Васько) и Пьяница (з. а. РБ В. Грамович) выглядят на сцене весьма убедительно, а Хенрик в исполнении Т. Муратова — временами настолько блестяще, что для меня остается большой загадкой, как он не победил в номинации на лучшую мужскую роль.

...А главное — второй год подряд люди, приближенные к театральной культуре, убеждаются, что кукольному театру подвластно почти все. И, несмотря на некоторые претензии к спектаклю (к ним можно отнести, прежде всего, размытость финала), он являет собой пример современного театрального прочтения классики. И не так важно, как расценят это творение теоретики театра (абсурдистский спектакль, постмодернистский и т. д.) — важно, что этот спектакль есть, что он сделан молодым, одаренным режиссером, что в нем присутствуют подлинные актеры, и в нем живет дух Театра!..

...А победу «кукольников» на форуме закрепил, сделав ее почти абсолютной, спектакль Гродненского областного театра кукол «Пиковая дама». Спектакль этот оказался удивительно целостностным. А ведь задуманная и осуществленная режиссером О. Жюгждой мистификация весьма сложна по своей структуре. С одной стороны, она опирается на знаменитую повесть А. С. Пушкина, с другой — на оперу П. И. Чайковского. И не только, как сказали бы постмодернисты, на «текст» того и другого — в спектакле как бы присутствуют и Александр Сергеевич и Петр Ильич, через письма, через музыку. А помимо этого, на фоне Петербурга (сценография М. Сташуленок одновременно несет в себе точность и лаконизм) развертывается стихия, а вернее — вакханалия игры. Все оттенки ее, все человеческие стремления, связанные с игрой, сюжетный ход, текст и подтекст, настоенные на ощущении игры. И куклы, вперемежку с актерами, и выверенная точность исполнителей, когда трудно верить своим глазам, но только что перед нами был Пушкин, а через несколько минут возникает Герман — и это все один исполнитель (А. Ратько). О. Жюгжда добивается от своих артистов максимальной синхронной ансамблевости. И все они хороши, убедительны; но и на этом фоне выделяются работы Ларисы Микулич — Дама, Фон Мекк, Графиня, Лиза. Последние по своему содержанию и по контрастности исполнения просто блестящи. И совершенно закономерно их исполнительница стала лауреатом 2-й Национальной театральной премии. А сам спектакль, — по-моцартовски легкий, с непрерывным, стремительным темпоритмом, с акцентированными «отвлечениями», с привлечением фигур великих классиков, с блистательно используемой музыкой П. Чайковского и Г. Доницетти — стал украшением Национального театрального форума. И по справедливости завоевал большинство почетных наград. Подумать только, когда это было, чтобы спектакль театра кукол стал лауреатом сразу в 4-х номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший спектакль театра кукол», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль». Если к этому присовокупить победы за «лучшую работу художника-постановщика» (уже упоминавшаяся Татьяна Нерсисян, за спектакль «Венчание» Белорусского государственного театра кукол и за «Лучший спектакль для детей» (приз получил за постановку спектакля «Волшебная кисть» Могилевский областной театр кукол — режиссер Игорь Казаков), то победа «кукольников» в 2012 году покажется тотальной. И в самом деле другим кон-

курсантам немногочисленные награды достались как бы по «остаточному» принципу: лучшей постановкой по произведению современного белорусского автора был признан спектакль «Одноклассники» Могилевского областного драматического театра (автор пьесы Юлия Чернявская, режиссер Екатерина Аверкова), награду за работу над лучшим музыкальным спектаклем получил Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси (спектакль «Аида» — режиссер Михаил Панжавидзе). Однако, следует заметить, что оба спектакля были единственными претендентами в своих номинациях, что заметно снижает значимость их побед. А вот лауреатство спектакля «Похищение Европы или Театр Уршули Радзивилл» (здесь получили награды Наталья Фурман за лучшую работу хореографа-постановщика и Андрей Зубрич за лучшее музыкальное оформление спектакля) пробуждает надежды на то, что наш Академический драматический театр еще не сказал последнее слово, и что подспудно копятся силы для удивления театральной общественности страны. А удивление — не только мать философии (так утверждал великий Платон), но и точка отсчета для новаций в любом виде человеческой деятельности.

...А именно в новациях, основанных на крепком фундаменте национальной театральной традиции, больше всего и нуждается ныне наш театр.

...Подводя итоги двух прошедших национальных театральных форумов, можно констатировать, что нововведение оправдало себя. Сам факт, что для участия в конкурсе 2-й Национальной премии было получено 39 заявок от 27 театров, 25 из которых государственные и 2 — частные. По сути, вся театральная Беларусь участвовала в смотре-конкурсе, отборочная комиссия для финала представила лучшие 16 спектаклей. В это счастливое число попал только каждый третий спектакль, что, естественно, вызвало недовольство некоторых (в основном, провинциальных) коллективов, что предъявляет повышенные требования к работе отборочной комиссии. Факт, однако, остается фактом: Национальная театральная премия стимулирует развитие театральной культуры в стране. И она, кроме всего прочего, обнаруживает тенденцию к совершенствованию. Так, в 2012 году увеличилось число номинаций премии. И было радостно наблюдать, как наряду с Премией Министерства культуры за вклад в развитие театрального искусства (его получил народный артист Беларуси Геннадий Гарбук), появился и приз «Хрустальный цветок» за лучший дебют в рамках Национальной театральной премии (его получил молодой исполнитель роли Александра Золотникова в водевиле «Беда от нежного сердца» Драмтеатра Белорусской армии Сергей Фромичев-Корсаков). Весьма плодотворной оказалось и обсуждение, где обменялись мнениями о закончившемся форуме ведущие театроведы и критики, в том числе зарубежные. Не все вопросы, которые подняло проведение 2-х конкурсов Национальной театральной премии, были разрешены... Разумеется, следует кончать с «общим потоком», когда на равных основаниях оцениваются конкурс драматических, музыкальных и кукольных театров. Тем более, что каждый более или менее оснащенный опытом театрал понимает, что даже отдельно взятый музыкальный спектакль не равен оперному спектаклю и спектаклю балетному. К тому же не стала бы такая дифференциация резким стимулом и для театрального совершенствования в «профильной» театральной деятельности (и кроме «музыкального» профиля театральная общественность с радостью бы выделила и специфический «кукольный» профиль нашего театра)?

И особое внимание соотношению, количеству и виду номинаций в каждой из особо взятых конкурсных секций (драмы, кукол, оперы, балета и музыкального театра).

Хотелось бы и утверждения нового приза «Театральное открытие». Причем в номинации на получение этого приза могут участвовать все создатели спектакля (как и сам спектакль): драматург, режиссер, актеры, сценограф, композитор.

И, наконец, особый приз следует, по-нашему глубокому убеждению, присуждать и авторам работ в области театроведения и театральной критики. Такой

приз является одним из постоянных наград, вручаемых в России на «Золотой маске». Да и в самом деле, разве театральной критике не принадлежит немалая роль в развитии живого театрального процесса? Разве она не главный инструмент и в тяжком деле воспитания подлинных (читай — высоких) вкусов театрального зрителя и разве она же — не один из существенных факторов прогресса самого театрального искусства?

Все эти вопросы — по усовершенствованию проведения белорусского театрального смотра требуют настоятельного разрешения. Поэтому театральная общественность страны замерла в ожидании. Ведь известно, что начиная с весны 2014 года специалисты Министерства культуры совместно с представителями творческих союзов пытаются разрешить проблемы, связанные с Национальной театральной премией, сгладить острые углы, оптимизировать, как модно выражаться, ее проведение.

...Ибо необходимость ее существования не нуждается в доказательствах. И дело здесь не в том, что почти в каждой стране (европейской, по крайней мере) наличествуют аналогичные театральные смотры. Конкурс необходим нам самим; он одновременно и отражает, и как бы направляет весь театральный процесс в стране. Ибо в нем присутствуют и столь дорогая нам национальная театральная традиция, и попытки (порой весьма удачные!) театральных новаций. И поэтому мы с нетерпением ждем наступления осени, когда распахнется занавес сразу в нескольких столичных театрах и под торжественные фанфары будет объявлено, что всебелорусский театральный форум начинает свое шествие...

...С надеждой на новые свершения.

...В третий — символический, в известной мере — по счету раз.



С точки зрения рецензента

Послания апостола правды и науки

«У каждого народа есть имена, по которым судят о его вкладе в мировую сокровищницу знаний, искусства и изящной словесности, определяют, говоря купаловскими словами, его «пасад між народамі». В этих именах — гордость и величие нации. Янка Купала и Якуб Колас — у белорусов, Пушкин — у русских, Адам Мицкевич — у поляков, Тарас Шевченко — у украинцев», — пишет составитель книги «Вершы. Паэмы» Т. Шевченко, В. Бехтина. С этими словами нельзя не согласиться, однако их стоит дополнить. Поэзия Тараса Шевченко давно стала достоянием духовной культуры всего человечества. И, конечно, большое влияние оказало творчество Кобзаря на развитие белорусской литературы. Проникнувшись горячим патриотизмом, желанием жить в мире и справедливости Тараса Шевченко, начинали свой творческий путь деятели национального возрождения Беларуси в начале XX века: Ф. Богушевич, Тётка, С. Полуян, М. Богданович и др. Поэзия Шевченко всегда современна, и до сих пор в нашей стране ее читают, переводят и вдохновляются ее гуманистическими идеями.



А первое знакомство поэта с Беларусью произошло в 1829 году, когда тот, будучи крепостным, ехал в Вильно в составе обоза помещика П. Энгельгарта. Второй раз, уже вольным человеком, Тарас Шевченко посетил Беларусь в 1843 году. Кобзарь упоминал Беларусь в письмах, «Дневнике», повести «Музыкант». Лично знаком был с литераторами Р. Подберезским, Я. Борщевским, художником М. Башиловым. Причем следует отметить, что поэтическое творчество Тараса Шевченко получило признание в Беларуси почти с того же времени, что и на Украине. Были необычайно популярными песни на слова Шевченко «Запавет», «Ад сяла да сяла», «Ой, адна я, адна», «Раве і стогне Днепр шырокі» и др. Они быстро распространялись в устной форме, в печатных и рукописных белорусских сборниках. Уже с самого начала своей творческой деятельности Янка Купала переводил произведения Шевченко на белорусский язык («Думка», «За думаю дума роем вылятае» (опубликованы в сборнике

«Жалейка»), «Пажоўкнуў ліст, прыгаслі вочы» (в оригинале «Мінають дні, мінають ночы» (переведен в 1906 году, опубликован в 1930). Посвятил Янка Купала Кобзарю стихотворения «Памяці Т. Шаўчэнка» (1909), «Памяці Шаўчэнкі» (1909), поэму «Тарасова доля» (1939). В 1910 году были опубликованы отрывок из шевченковского послания «І мёртвым, і жывым, і ненароджаным» в переводе А. Гурло и стихотворение «Думка» в переводе Ф. Чернышевича.

Несмотря на запрет царского правительства, в Беларуси были отмечены памятные шевченковские даты в 1911 (50-летие с дня смерти) и 1914 годах (100-летие со дня рождения поэта). Писатели выступали с тематическими статьями, посвящениями Кобзарю. Так, в 1911 году в «Нашай ніве» печатаются статьи А. Бульбы «Памяці Т. Шаўчэнкі», Р. Земкевича «Тарас Шаўчэнка і беларусы» и др. В 1914 году появляются статьи «Тарас Шаўчэнка» Л. Гмырака («Наша ніва»), «Памяці Т. Р. Шаўчэнкі» и «Краса і сіла» М. Богдановича («Голос» и «Украинская жизнь» соответственно).

2014 год ЮНЭСКО объявило годом Тараса Шевченко. Весь мир отметил 200-летний юбилей Кобзаря. Славные традиции празднования памятных дат Шевченко не забыты и в Беларуси. Вышел сборник материалов XI Международной научной конференции «Славянские литературы в контексте мировой: к 900-летию К. Туровского и 200-летию Т. Шевченко», проходившей на филологическом факультете БГУ. Национальная библиотека Беларуси провела ряд интересных и насыщенных мероприятий. Совместно с посольством Украины в Республике Беларусь, Обществом дружбы «Беларусь—Украина», Минским общественным объединением украинцев «Заповіт» и филологическим факультетом БГУ был организован Международный «круглый стол» «Тарас Шевченко и влияние его творчества на духовный мир славянских народов», где выступили известные ученые-слависты И. Черота, Н. Трус, М. Тычина и др. Книжная выставка в Национальной библиотеке представила посетителям около 200 изданий (книг о жизни и творчестве Т. Шевченко, сборники его произведений), а также фотоматериалы. Посол Украины в Беларуси Михаил Ежаль передал директору НББ Роману Мотульскому ценные книги по шевченковедению. Также в рамках празднования прошел Первый минский Шевченковский конкурс — выставка рисунков учащихся детских художественных школ и многие другие мероприятия.

Драгоценным подарком к юбилею Кобзаря стал выход книги переводов Т. Шевченко на белорусский язык «І мёртвым, і жывым, і ненароджаным» в издательстве «Мастацкая літаратура» при поддержке Министерства информации Республики Беларусь, составителями которой являются авторитетные литературоведы: доктор филологических наук Вячеслав Рагойша и кандидат филологических наук Татьяна Кобржицкая. Книга является уникальной уже потому, что стала первым, после перевода «Кобзаря» на белорусский язык, вышедшего под редакцией Янки Купалы и Якуба Коласа в 1939 году и повторно выпущенного в 1952 году, изданием такого рода. «І мёртвым, і жывым, і ненароджаным» включает переводы всех украиноязычных стихотворных произведений Шевченко (стихотворений, поэм, баллад). Кропотливая текстологическая работа ученых заключалась в сопоставлении оригиналов и существующих переводов, выборе лучших из них, при этом учитывались новейшие достижения украинского шевченковедения, последние прижизненные редакции произведений Шевченко, исправлялись ошибки печати и вносились изменения в тексты в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. Также предельная внимательность и ответственный подход к делу В. Рагойши и Т. Кобржицкой позволил включить в книгу найденный украинскими текстологами в последнее время перевод стихотворения «За што мы любім так Багдана?», которое до этого не воссоздавалось по-белорусски. В целом издание максимально приближено к акаде-

мическому. Оно имеет внушительное предисловие «Пасланні апостала праўды і навукі», богатый иллюстративный материал (автопортрет Т. Шевченко 1860 года и другие рисунки классика украинской литературы, автографы его стихотворений, картины и фотографии мест, где жил и мимо которых проезжал Кобзарь, фотографии памятников и мемориальных досок в его честь, обложки отдельных изданий произведений Т. Шевченко). Комментарий к книге включает сведения об источниках текстов, принципах, которыми руководствовались составители при их подготовке к изданию, а также толкование редких слов, антропонимов и топонимов. Для удобства читателей в конце книги размещен «Алфавітны паказальнік украінскіх твораў і іх перакладаў на беларускую мову».

Значительным событием XXI века назвал выход книги «І мёртвым, і жывым, і ненароджаным» кандидат филологических наук Анатолий Воробей на ее презентации. Думается, что данный сборник долгие годы будет оставаться примером высокой культуры книгоиздания. Теперь каждый белорус, который ценит и горячо любит шевченковское слово, сможет без труда вновь и вновь прочитать его на родном языке в переводах Янки Купалы, З. Бядули, П. Глебки, А. Кулешова, П. Бровки, Р. Бородулина, Н. Гилевича, В. Зуенка и др. С полной уверенностью можно говорить, что сбылись пророческие слова Янки Купалы:

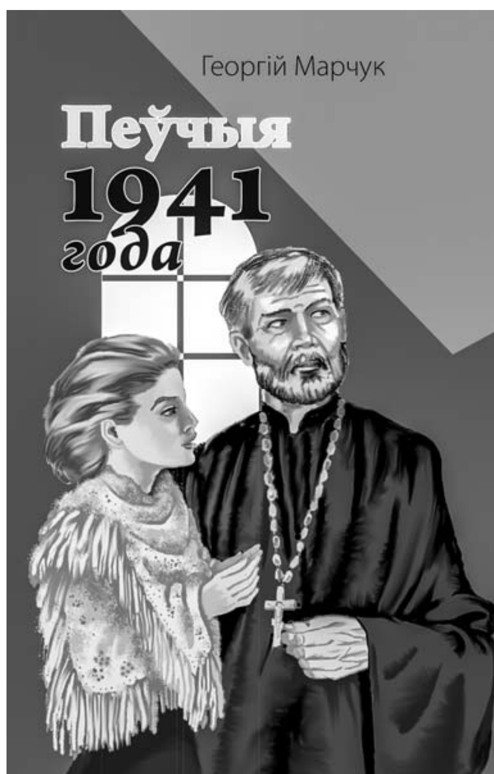
...песня кабзарыста
Ад краю да краю
Плыве вольна-расхадзіста,
Перашкод не знае!

Юлия АЛЕЙЧЕНКО



С точки зрения рецензента

О мужестве, солдатской дружбе и... героях Гомера



Наше время — время прозы...

Был взлет интереса к поэзии во второй половине XX столетия, когда поэты собирали стадионы и огромные концертные залы (сейчас это с успехом делают «поп-звезды» эстрады). И люди отстаивали длиннющие очереди в надежде получить-таки заветный билетик на выступление Евтушенко, Вознесенского, Рождественского...

На стихи белорусских поэтов такого ажиотажа, может, не было и в то время, но повышенный интерес к поэзии существовал тогда и в нашей республике. И интерес, скажем так, настоящий. Книги белорусских поэтов (и хорошо известных, и даже молодых, начинающих) выходили немалыми (особенно по нынешним меркам) тиражами и все равно долго не задерживались на прилавках книжных магазинов...

Но то время, увы, минуло.

Пришло время прозы...

Вот почему издательства в последнее время не особенно горят желанием выпускать поэтические сборники, тем более, сборники молодых, малоизвестных еще поэтов. Прозы — пожалуйста! Особенно детективной, фантастической, исторической... так называемой «женской», в конце концов...

Но только не поэзии!

А вот как насчет драматургии? Не театральной, а именно литературной...

Тоже не особенно рискуют издательства. И никогда драматургия в особом почете у них не была.

Впрочем, многое тут еще зависело от таланта и, главное, известности самого драматурга. Ведь сборники пьес Дударева, Поповой, Ковалева все же издавались и даже переиздавались, как и пьесы Крапивы, Макаенка, Делендика. И тоже не залеживались долго на книжных прилавках...

То же самое можно сказать и о пьесах Георгия Марчука...

Для меня лично знакомство с творчеством Георгия Васильевича началось с прозы. Точнее, с романа «Крик на хуторе», который я, помнится, прочитал на одном, как говорится, дыхании.

В общем, начиная именно с этого романа, я и «открыл» для себя нового и необычайно талантливого белорусского прозаика. И последующие произведения Георгия Васильевича лишь сильнее меня в этом убедили. Взять хотя бы такие романы Марчука, как «Сава Дым і яго палюбоўніцы» или «Год демонов».

Но, познакомившись с пьесами Георгия Марчука, я понял вдруг, что как драматург Георгий Васильевич не менее талантлив, нежели в своей «прозаической» ипостаси...

А, может, даже и более...

Вообще-то, как «просветил» меня в свое время один маститый режиссер, пьесы бывают двух видов: для чтения и для постановки. Я сам какое-то время всерьез увлекался драматургией (был у меня такой, можно сказать, переходный творческий период от стихов к прозе), и оказалось, что все мои пьесы предназначены именно для чтения. То есть, читать их как художественное произведение легко и приятно, а вот что касается постановок...

Наверное, этот режиссер знал, что говорил. Но вот пьесы Дударева или Поповой и смотрятся, и читаются с интересом. И пьесы Георгия Марчука, кстати, тоже...

Наверное, поэтому Издательский дом «Звязда» и рискнул выпустить недавно сборник пьес Георгия Марчука под общим названием «Пеўчыя 1941 года».

Что можно сказать об этой книге?

В ней помещены четыре пьесы, из них две первые и две последние — совершенно отличные друг от друга. Наше время (или не столь далекое прошлое) и мифические «гомеровские» еще времена... Казалось бы, как им ужиться под одной обложкой... Но прекрасно, можно сказать, уживаются! И даже, на мой взгляд, в чем-то дополняют друг друга...

Наибольшее впечатление на меня произвела первая пьеса сборника, по названии которой он и назван.

«Пеўчыя 1941 года» — пьеса о первых месяцах той, самой страшной войны. Хороший язык, динамичный сюжет... но более всего импонировало мне в этой пьесе другое.

То, что тут нет однозначно «черного» и однозначно «белого»...

Ведь, что греха таить, вся концепция соцреализма, из «объятий» которого еще полностью так и не выкарабкалась наша белорусская литература, строилась именно на этих очевидных контрастах. Положительный герой должен был быть положительным во всем, этакий «рыцарь без страха и упрека». Ну, и, соответственно, герой отрицательный никоим образом не должен был вызывать у читателя ни малейших симпатий.

В пьесе «Пеўчыя 1941 года» к типично отрицательным персонажам можно отнести разве что полицая Кульбакова, да и то с некоторыми оговорками. Остальные же — просто живые люди со всеми их достоинствами и недостатками. Можно понять даже Хорста, потерявшего под Москвой брата (именно понять, а не простить). Трусоватый и жадноватый Сухорук все же взрывает бензохранилище (хоть и преследуя при этом свои корыстные интересы). В то страшное и жестокое время все трагически перемешалось в душах и сердцах людей: жестокость и милосердие, подлость и благородство, трусость и отчаянная отвага...

Конец пьесы, несмотря на всю его трагичность, все же звучит достаточно оптимистично. Автор смог показать в нем жажду отмщения, которая объединила таких, казалось бы, совершенно разных людей, как священник Викентий, командир Красной армии Зуев, полицай Сашка... и из которой вскоре разгорится пламя всенародного сопротивления оккупантам.

В пьесе «Пісьмы салдату» показано, как постепенно становятся настоящими солдатами такие, казалось бы, разные парни: бесшабашный сорвиголова Павел Буян, с детства обиженный жизнью сирота Тадеуш Сидорчик, потерявший голову от безответной любви Адам Серада. И даже донельзя изнеженный и, казалось бы, совершенно не приспособленный к суровым солдатским будням Михаил Кулик тоже,

в конце концов, показывает настоящий мужской характер.

А еще эта пьеса о дружбе. Крепкой мужской дружбе, которая и в мирное время высоко ценится...

Но (сам не знаю почему) больше всего мне запомнился в пьесе «Пісьмы салдату» эпизодический, казалось бы, образ рядового Мехмона Муртазо. Немного анекдотичный и не совсем натуральный, он, тем не менее, весьма оживляет пьесу и, на мой взгляд, здорово смотрелся бы именно в театральной постановке...

Кстати, насчет постановок...

Все четыре пьесы Георгия Марчука, представленные в сборнике, хороши еще тем, что легко могут быть поставлены не только на профессиональной сцене, но и народным и даже самодеятельным театром. Автор, как мне кажется, сознательно не стал вводить в пьесы никаких батальных сцен и вообще ничего такого, что потребовало бы при постановке сложных декораций и весьма дорогостоящих спецэффектов...

В сборнике также помещены две пьесы, в которых повествуется о мифических событиях времен Троянской войны: «Менелай, Елена і Парыс» и «Арэст і Касандра».

Скажу честно, они произвели на меня меньшее впечатление, нежели две первые...

Не потому, что написаны плохо или сюжет скучен. Все очень достойно.

Но мне все же куда больше по душе пьесы «реалистические». Да и романы я предпочитаю поэмам... хочется, почему-то, чтоб люди в них разговаривали, как в жизни, а не стихами (белыми ли, рифмованными ли).

Но все это — моя, может быть, несколько субъективная точка зрения.

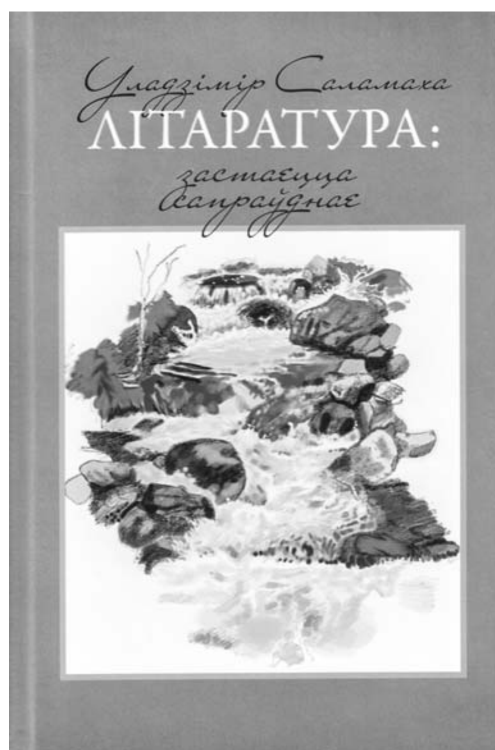
А новую книгу пьес Георгия Марчука «Пеўчыя 1941 года» рекомендую прочитать всем. Уверен, не пожалеете!

Геннадий АВЛАСЕНКО



С точки зрения рецензента

В поиске настоящего



Название новой литературно-критической книги Владимира Саламахи «Літаратура: застаецца сапраўднае», увидевшей свет в Издательском доме «Звязда», говорит само за себя. Настоящее применительно к литературе — это то, что наполнено высокими нравственными и эстетическими критериями, глубоко и всесторонне отражает современную жизнь, равно как и то, что происходило в иные времена, что несет в себе общечеловеческие нравственные ценности и, конечно же, написано на должном художественном уровне. Казалось бы, добавить нечего. Да только вся беда в том, что ныне эти критерии, в значимости которых сомневаться не приходится, размываются. В ранг художественно-значимых произведений нередко возводятся такие, которые явно на это не тянут, а то, что и в самом деле заслуживает внимания, нередко ставится под сомнение, а иногда и вовсе отрицается. С легкой руки некоторых так называемых критиков появляются «дутые» классики. Поэтому столь необходимо честное и правдивое слово тех авторов, которые понимают, что в литературной критике принцип не навреди — также важен, как и в других сферах деятельности. Прежде всего, надо не навредить самому писателю, так как предвзятая, необъективная оценка творчества не только его самого ранит, но и вводит в обман читателя, лишая его правильных ориентиров, толкая на путь ложных оценок.

Владимир Саламаха, к счастью, об этом не забывает, что уже было видно и в его предыдущих критических книгах «Званыя і выбраныя» и «Сусвет дабрыні», в которых он также уверенно отделял зерна от плевел. И тогда разговор шел именно о настоящей литературе, которой подходит и определение *серьезная*, а не о той, которая написана на злобу дня, однако не имеет никакой художественной ценности. Точно так он обходил вниманием и так называемое «легкое чтиво». Такого же принципа придерживается и в этой книге, внося тем самым свою лепту в осмысление, прежде всего, классики, о чем свидетельствуют то, что в поле его зрения находятся такие вершины нацио-

нальной изящной словесности, как Янка Купала, Василь Быков, Владимир Короткевич, Михась Стрельцов, Иван Чигринов и другие.

Отрадно, что автор книги «Літаратура: застаецца сапраўднае» не обошел вниманием Ивана Шамякина — писателя, значимость которого в истории белорусской литературы, несмотря на то, что он, по сути, постоянно на виду, как мне кажется, еще по-настоящему не оценена. Конечно, есть монографии, посвященные его творчеству, книги о нем, немало написано (да и по-прежнему пишется) статей, но, к сожалению, находятся и желающие в чем-то принизить роль этого замечательного мастера слова. Особенно это касается произведений, написанных Иваном Петровичем в последние годы его жизни. Видите ли, он, дескать, негативно относился к процессам, связанным с так называемой перестройкой. Самое удивительное, что с такой позиции — принимал изменения в жизни общества или принимал — к тому, что написал И. Шамякин, подходят и некоторые исследователи со званиями, забывая аксиому, что — принял или не принял — это вовсе не критерий определения значимости того или иного произведения. Куда важнее, насколько правдиво, психологически убедительно раскрыты те или иные жизненные явления. Здесь же равных И. Шамякину в белорусской литературе мало, о чем и свидетельствуют такие его произведения, как «Сатанінскі тур», «У засені палаца», да и другие, в которых Иван Петрович остался тем, кем и был: правдивым и убедительным художественным летописцем современности.

Однако я несколько отвлекся в сторону. Творчество И. Шамякина В. Саламаха рассматривает в двух статьях. Первая из них — «Гісторыя кахання, любові, жыцця» — это анализ повести «Слаўся, Марыя!», которая имеет подзаглавие, взятое В. Саламахой в качестве заглавия. Название другой статьи еще более конкретно: «Вялікія таксама людзі, альбо Пра што расказалі «Дзённікі» Шамякіна». Обе публикации обладают качеством, столь необходимым для того, чтобы написанное критиком в равной степени было интересно как тем, кто постоянно следит за творчеством любимого писателя, так и тем, кто в силу некоторых обстоятельств еще слабо знаком с тем, что он создал. Несомненно, что после прочтения этих статей им обязательно захочется приобщиться к первоисточнику. Благо В. Саламаха свои рассуждения строит так, что, давая оценку произведениям в целом, особо отмечает наиболее значимые места. Те, кто не читал эту повесть, как и те, кто незнаком с дневниками И. Шамякина, получат как бы ориентир, поймут, что в этих произведениях наиболее значимо, на чем следует сосредоточиться, чтобы не пропустить главное. Кто же знаком с этими произведениями, сможет сверить свою оценку с высказанным В. Саламахой.

Несколько материалов посвящено творчеству (да и не только творчеству) Янки Сипакова: «Закон раўнавагі Янкі Сіпакова», «Ён заўсёды любіў Беларусь», «Усе мы з хат». В заглавии последнего, как не трудно заметить, положено высказывание Ивана Даниловича, ставшее крылатым. «Усе мы з хат» вмещает в себя очень много, позволяя как бы заглянуть в душу тех, кто родом из деревень, а став горожанами первого поколения, несут в себе своеобразный, только им присущий менталитет. Исходя из этого, и нужно походить к ним, чтобы постичь их душу.

Если говорить о книге в целом, то она состоит из эссе, статей, диалогов. В каждом конкретном случае В. Саламаха стремится как можно лучше использовать возможность того или иного жанра. Если это эссе, то он пишет раскованно. Характерная особенность статей, как уже видно из названных выше материалов, — не только глубина анализа конкретного произведения, но и выход за его рамки. Этого же принципа В. Саламаха придерживается и в статьях «Персанажы, з якімі хочацца быць» (Юлия Зарецкая), «Святло роднай зямлі, цяпло добрых людзей» (Владимир Гаврилович), «У свет ішлі з любоўю і дабром...» (Микола Малявка), «Чараўнік родна-

га слова» (Владимир Мацвеенка), «Ад свайго — да агульналюдскога...» (Алесь Карлюкевич), «Каб больш станавілася на зямлі дабрыні...» (Алесь Савицкий), «Жыццядайныя зёлкі» (Виктор Гордей) и других. В диалогах же В. Саламаха, сосредотачивая внимание на творчестве того, с кем разговаривает, одновременно касается и определенных жизненных моментов, как в беседах с Анатолием Козловым («...Там, дзе пачынаецца боль, — пачынаецца літаратура»), «Журба і радасць Уладзіміра Скарынкіна», Наумом Гальперовичем («Застаецца толькі сапраўднае...»).

Знакомит В. Саламаха читателя и с писателями, творчество которых, по сути, обойдено критикой. Этому есть несколько причин. Одни из них в литературе работали недолго, следовательно, и написали относительно мало, поэтому и не успели обратить на себя должного внимания. Книги же других прошли незамеченными критикой из-за того, что, если хорошо разобраться, объять необъятное просто невозможно. Мастерству же некоторых просто завидовали, поэтому их и замалчивали. Некоторые и вовсе в основном писали «в стол». Хотя причину невостребованности того или иного литератора, при желании, всегда можно найти. Важнее, однако, сказать о них слово, как это и сделал В. Саламаха, рассказав о тех, кто близок ему и своим творчеством, да во многом и своей жизненной позицией.

Один з них прозаик — Иван Сергейчик («З першапраходцаў афганскай тэмы»). Биография его вроде бы и совсем «не писательская». Родился на Слонимщине, после окончания восьми классов учился в сельском профессионально-техническом училище, получил специальность механизатора, после чего работал в колхозе, строил дороги в Средней Азии. И двадцать лет отдал службе в армии, попал в Афганистан. Афганистан же, как известно, многих закалил, но другим сломал судьбу, не говоря уже о том, что не все вернулись с этой войны. И. Сергейчика же она и сделала писателем. Оттуда, где кровь и смерть, прислал он в редакцию журнала «Маладосць» свои первые рассказы. В них была та суровая правда, которую в то время старались замалчивать. Но в «Маладосці» не побоялись вынести ее на суд общественности. Так и родился Сергейчик-писатель. Несколько позже в «Бібліятэцы часопіса «Маладосць» вышла его первая книга «Горкі пыл Гіндукуша». Яркая, до боли правдивая, ибо это не что иное, как афганский дневник, а в нем увиденное, пережитое, осмысленное и переосмысленное. Правда, эта книга у И. Сергейчика была не только первой, но и последней. Талантливый писатель рано ушел из жизни. То, что не предложил в печать, осталось в рукописях. Возможно, со временем оно дождется своей встречи с читателем. В. Саламаха как бы подсказывает, что оно заслуживает внимания.

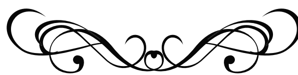
Еще одна интересная судьба — журналист и писатель Михаил Кадет («Сумленнасць»), отдавший армейской печати почти тридцать лет. Им, безусловно, немало писалось на злобу дня, но не только. М. Кадет, исследуя события Великой Отечественной войны, особое внимание обратил на творчество замечательного советского поэта Александра Твардовского. Кстати, в сентябре 1939 года Александр Трифонович, являясь специальным корреспондентом газеты 4-й армии «Часовой Родины», был и на родной М. Кадету Стародорожчине. Осенью того же года, уже находясь в Бресте, А. Твардовский стал инициатором выпуска книги «Фронтовые стихи». В ней опубликованы произведения, как его самого, так и таких известных поэтов, как Евгений Долматовский, Семен Кирсанов, Илья Френкель и другие. Однако, пожалуй, самое интересное то, что в годы Великой Отечественной войны газета «Красноармейская правда» печатала разделы из «Василия Теркина». Предвижу, что кое-кто готов удивиться — а при чем здесь Беларусь? Да ларчик открывается просто: «Красноармейская правда» после войны была переименована в «Во славу Родины», став газетой Белорусского военного округа. Это нынешняя «Белорусская военная газета». Кстати, А. Твардовский белорусскими дорогами прошел и во время

наступательной операции «Багратион». Разве мог после всего этого М. Кадет не взяться за книгу под названием «Белорусская осень Твардовского»?! Написал он и повесть «Тайны скорбного лета» — о первых днях войны. Но отдельными изданиями эти произведения так и не вышли. Из «Белорусской осени...» в печати появились отдельные фрагменты. Больше повезло «Тайнам скорбного лета». Она почти полностью была опубликована в трех номерах журнала «Нёман». Но, как и в случае с И. Сергейчиком, многое осталось в рукописях.

Статья В. Саламахи «Сумленнасць» — это, по сути, и возвращение имени Г. Кадета из небытия. Так что, несомненно, благое дело он осуществил. Это касается и сказанного о Владиславе Рубанове («Быць чалавекам з кожным...») и о Викторе Стрижаке («Ёсць светлы свет...»). Обоих их В. Саламаха хорошо знал, а с В. Рубановым еще и дружил со своих студенческих лет. Так что материалы эти в какой-то степени и воспоминание. Однако не в жанре дело, а в том, насколько искренне, прочувственно рассказывается о тех, кому судьбой было отведено прожить так мало. Но, тем не менее, В. Рубанов и В. Стрижак оставили значительный след в литературе. Сказанное же в начале в материале о В. Рубанове, пожалуй, следует воспринимать критикам и упреком в свой адрес: «Не ведаю, калі даследчыкі нашай літаратуры ўсебакова прааналізуюць творчасць Уладзіслава Рубанава, і наогул, ці прааналізуюць, а яна ж — пачытайце, перачытайце яго кнігі (іх, на жаль, няшмат), — думаю, пагадзіцеся са мной, своеасаблівая, і ён — творца гэты зусім іншы, чым усе астатнія нашы празаікі (ніякім чынам не хачу нікога прынізіць, бо кожны з нас такі, які ёсць). Так, Уладзіслаў Рубанаў, вельмі адметны, па-свойму, і мовай, за якую яго ўшчувалі іншы раз класікі і паўкласікі, і поглядамі на жыццё. А можа, найперш тым, што ён, я ўпэўнены, як ніхто, хай з нас, яго аднагодкаў або амаль аднагодкаў, у асобных сваіх творах глыбока пранік у чалавечую душу, а значыць, і сваю». Хорошее напоминание: пишите о тех, кто заслуживает внимания. В первую очередь — об ушедших, ибо им, хотя они уже и находятся в другом мире, так же не хватает правдивого и заслуженного слова о их творчестве, особенно если они не услышали его при жизни.

Книга «Літаратура: застаецца сапраўднае» — из тех изданий, которые будут полезными самой разной категории читателей. Не в последнюю очередь старшеклассникам, студентам, поскольку она поможет им расширить свое представление о современной белорусской литературе. Хотелось бы, чтобы на нее обратили внимание и преподаватели-словесники. По этой же причине. Конечно, не со всеми оценками В. Саламахи можно соглашаться. Что и понятно: любой критик, как бы он ни старался быть объективным, полностью от субъективизма избавиться не может. Главное иное: В. Саламаха, находясь в постоянном поиске настоящего в литературе, это настоящее находит. Не в последнюю очередь благодаря тому, что не идет на сделку с собственной совестью, придерживается тех высоких критериев, которые предъявляет к другим писателям, как, например, в своей статье «Дэвальвацыя... сумлення».

Виктор ГОЛЬЧЕНКО



Память

Первая мировая: музей общественной инициативы

Нынешний год, по календарю совпавший со 100-летием начала Первой мировой войны, был особенно насыщенным и для коллекционера и историка Владимира Лиходедова. Его авторскому проекту «В поисках утраченного», старт которому дала газета «СБ. Беларусь сегодня», исполнилось десять лет. На традиционной Минской международной книжной выставке-ярмарке в феврале Министерство информации страны с участием газеты «СБ. Беларусь сегодня» и Издательского дома «Звязда» организовало работу большой площадки, представляющей проект «В поисках утраченного». Затем прошла презентация в Национальной библиотеке Беларуси. Выставки, подготовленные по материалам коллекции, были представлены в мае и гостям Чемпионата мира по хоккею. Серьезную поддержку в продвижении проекта, придании ему международного статуса оказало Министерство иностранных дел. Совсем недавно Владимир Лиходедов побывал в США. И в Библиотеке Конгресса США, и в Музее Холокоста, в других знаковых местах Вашингтона, Нью-Йорка, Балтимора с помощью материалов коллекции раскасывал об истории и сегодняшнем дне нашей страны.

Множество раз рассказывая о страстном увлечении Владимира Алексеевича старой открыткой и фотографией, не перестаю удивляться масштабу мышления филокартиста. Кусочки картона, бумаги являются для него одушевленными предметами, способными выступать свидетелями событий разных времен. И даже тех времен, которые датируются, считай, на столетие-два раньше появления фотографии и даже гораздо раньше печатания открыток. Восстание под руководством Тадеуша Костюшко, Отечественная война 1812 года, еврейская жизнь в Беларуси и сопредельных территориях, Беларусь и мусульманский мир, православные храмы и личность Александра Невского — и это не весь перечень интересов коллекционера и настойчивого исследователя истории Беларуси, часто вступающего в спор с устоявшимися и утвердившимися мнениями, точками зрения.

— У меня есть аргументы, — любит повторять Владимир Алексеевич, имея в виду объективный характер старой открытки как источника по изучению истории.

Сегодня Лиходедов стучится во все инстанции, будоражит общественное мнение и отстаивает точку зрения по вопросам мемориализации событий Первой мировой войны в Беларуси. И на упомянутых выставках нынешнего года, и в ходе осуществления других историко-филокартических проектов тема событий 1914—1918 годов в нашей стране занимает центральное место в коллекционной работе Владимира Алексеевича. Поэтому, наверное, не случайным является партнерство собирателя с другими увлеченными историей людьми. Многие посетители минской книжной ярмарки видели и представленную рядом с репродукциями открыток экспозицию раритетов Первой мировой из коллекции Владимира Лиходедова, а также экспозицию из общественного музея из деревни Забродье Вилейского района, созданного художником Борисом Цитовичем.

Именно там, на рубеже противостояния русского и немецкого фронтов, несколько десятилетий назад художник Борис Борисович начал работу по созданию мемориальной зоны. Можно только удивляться, сколько за это время сделано. И в основном — за счет личной, общественной инициативы одного увлеченного человека. Фактически — готовый музей Первой мировой...

— Мы благодарны газете «СБ. Беларусь сегодня» за проведение «круглого стола» по вопросам сохранения памяти о Первой мировой, — говорит Владимир Лиходедов. — Дискуссия получилась предметная. И главное, что все ее участники (а были представители Министерства культуры, Минского облисполкома) оказались единодушными в главном: только Забродье — лучшего места для музея не найти.

— Но ведь война шла не только на Вилейщине, причем не только в Вилейском районе занимаются историко-краеведческой работой в рамках этой проблемы...

— Вы знаете, никто Забродье не выделяет особо. Конечно же, государственный музей Первой мировой войны нужен стране. И мест для его создания много: Барановичи, Сморгонь, Крево, Минск, Могилев... Но зачем создавать с нуля то, что уже в другом месте уже создано. К тому же места кровопролитных боев — Сморгонь, Крево, Нарочь — находятся рядом с Забродьем. Неплохо было бы объединить все это в единый мемориальный комплекс. В Забродье и без того люди едут. Случается, что несколько сотен человек приезжает в один день. А если какое-то мероприятие организовывается, то и вся тысяча собирается. Борис Цитович не только собрал экспонаты, он и кладбище облагородил, памятные знаки установил. В последнее время ему в этом серьезную поддержку оказывают местные районные власти.

Такие планы поддержали не только на «круглом столе» в газете, но и в Минском облисполкоме. Вот что, в частности, по этому поводу думает начальник Управления идеологии, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Руслан Трухан:

— На мой взгляд, оставаясь краеведческим, Вилейский музей покажет свой край, Вилейщину через призму Первой мировой войны. Каждый районный музей должен иметь свою особенность. У Вилейского она есть, только надо ее реализовать. И вообще я считаю, что идея увековечивания памяти Первой мировой в целом по стране как нельзя лучше кладется на ту основу, что уже



Близники. Разрушенная церковь. 1916 г.



Брест. Беженцы. 1916 г.

есть в Забродье, Русском Селе, на Вилейщине. Сегодня именно эти места могут быть точкой отсчета специальных краеведческо-туристических маршрутов.

Еще раньше Борис Цитович не единожды говорил о том, что мемориальная зона вокруг Забродья и создается, чтобы привлечь внимание молодежи, школьников. Более того, общественный музейщик предлагает по дистанции маршрута создавать специальные краеведческие центры на базе местных школ. Почему бы и нет? Навыки краеведческого поиска, опыт собирания исторических материалов в своей местности — разве это не деятельная организация патриотического воспитания?..

Дело, как говорится, за малым. Принять решение и всемерно, сообща способствовать открытию государственного музея Первой мировой войны в местах, овеянных и славой, и драматическими, и трагическими событиями. Казалось бы, здравый смысл в предложениях и В. Лиходедова, и Б. Цитовича, и Минского облисполкома есть. Но это только на первый взгляд. В министерстве культуры думают совсем подругому. Как будто и не возражают... Но если быть более точными... — считают, что: «... наиболее знаковым объектом Первой мировой войны для Беларуси является линия противостояния в годы Первой мировой войны в г. Сморгони, по которой в настоящее время создается мемориальный комплекс». И далее (цитируем из письма за подписью заместителя министра культуры В. Черника): «Перепрофилирование Вилейского музея в Музей истории Первой мировой войны приведет к негативным последствиям в сборе и сохранении всего многопланового пласта культурного наследия Вилейщины, что является недопустимым с точки зрения политики в сфере музейного дела. Создание нового музея в Вилейском районе, а также его текущее содержание, учитывая отдаленность объектов друг от друга, потребует значительных финансовых средств. Также необходимо будет решить вопрос о передаче всех указанных в вашем предложении объектов, по которым не имеется всех правоустановленных документов, в оперативное управление одной организации». И еще: «В настоящее время в распоряжении Вилейского музея не имеется достаточного количества культурных ценностей по теме Первой мировой войны».

Язык документа для понимания простого и ясного дела часто представляется сложным. Но через языковые дебри еще, пожалуй, можно пробраться.

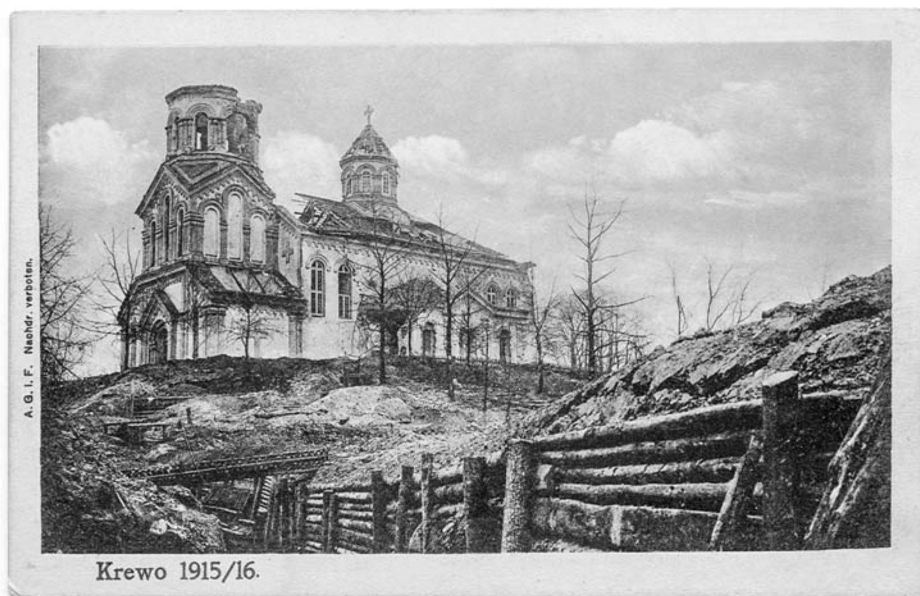
Сложнее — с другим: с логикой, пониманием значимости дела. Следуя логике минкульта, надо было Борису Цитовичу с его коллегами-общественниками в одном пакете принести все готовые документы и передать в пользование того или другого учреждения земли, памятники, камни, восстановленное кладбище. Удивительно, что раньше, когда все было заброшено, никто и не думал, что надо восстанавливать, что-то делать, приводить в порядок могилы солдат Первой мировой... Выходит, что проще — ждать, когда все не только лесом зарастет, но и вообще может уйти в небытие.

После всего этого возникает вопрос: «А были ли авторы ответа из минкульта в Забродье? Видели ли они, как и многие десятки тысяч белорусов и гостей страны то, что там уже сделано?»

— Сегодня нет лучше экспозици по Первой мировой войне, чем та, которая представлена в Забродье, — считает фотограф, специалист по воинским захоронениям Первой мировой войны в Беларуси Владимир Богданов. — Поэтому, если говорить о создании музея, правильно было бы начинать здесь. Я в этой теме работаю больше десяти лет и понимаю: масштабов того, что сделано Борисом Цитовичем и его сподвижниками на Вилейщине, нигде нет. Начинать работу следует там, где для этого есть все основания.

Согласен с ним и Владимир Лиходедов, который готов часть своей коллекции передать будущему музею совершенно бесплатно. А также Владимир Лиходедов создает уникальную экспозицию редчайших фотоматериалов времен Первой мировой войны на территории Беларуси. А создавать есть из чего. Это не только десятки тысяч старых почтовых открыток и фотографий, но и личные фотоальбомы генералов кайзеровской и царской армий, собрание книг и периодических изданий времен Первой мировой войны, фотоархивы отдельных воинских частей. Например, уникальный архив 2-го Кавказского армейского корпуса, насчитывающий более 850 фотографий, собирался по крупицам не одно десятилетие. На старых снимках отражен весь боевой путь корпуса с начала войны до 1918 года. Это и Польша, и Украина. А в Беларуси штаб соединения находился под Молодечно. Фотоархив санитарного поезда императрицы Александры Федоровны и другие не менее ценные материалы... Такую коллекцию хотели бы иметь многие ведущие музеи и библиотеки мира.

На экспонирование этой коллекции пришли приглашения из Библи-



Крево. Сморгонский р-н. Линия обороны. 1916 г.



Сморгонь. Тяжелая артиллерия. 1917 г.

отеки Конгресса США, Музея Холокоста в Вашингтоне, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также музеев Германии, России, Литвы, Польши... Странно, что все это не вызывает интереса в родном Министерстве культуры. Хорошо, что у Владимира Алексеевича сложились нормальные, партнерские отношения с Министерствами информации и иностранных дел. В этих серьезных ведомствах понимают всю важность и международное значение подобной работы для всей страны. Это является хорошим примером государственно-частного партнерства, о чем не единожды говорил Президент нашей страны.

Ссылка на то, что создание музея в Забродье потребует значительных финансовых затрат, не более, чем отговорка. Ведь создание музея на пустом месте обойдется значительно дороже. Удивляет и тот факт, что к 100-летию начала Первой мировой войны на создание так называемой передвижной выставки Национальным историческим музеем деньги все-таки нашлись. И довольно серьезные... И ладно, если бы эти деньги пошли на закупку редких артефактов для экспозиции, особенно военной техники, которых у нас в стране практически нет. Но они идут на создание не совсем понятных вещей и закупку стеклянных витрин, которые уж точно не пригодны для передвижной выставки и будут заполнены экспонатами, собранными из музеев по всей Беларуси. И самое интересное, что передвижные выставки, посвященные Первой мировой войне, уже существуют. Одна из них, оказывается, — в... том же Национальном историческом музее. Материалы для которой представили региональные музеи и коллекционеры, в том числе известные читателю Владимир Богданов и Владимир Лиходедов. Причем совершенно бесплатно. А вторая выставка создана Владимиром Лиходедовым при поддержке Министерства информации. Заметим — в трех экземплярах. И экспонируется как у нас в стране, так и за рубежом. Зачем лишать региональные музеи выставочных экспонатов и тратить огромные деньги, которых так не хватает, на малопонятные цели, когда можно совершенно бесплатно показать действующую экспозицию музея Первой мировой войны из Забродья и уже существующие передвижные выставки?..

Микола БЕРЛЕЖ

Фото из коллекции лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова.

Авторы номера

ДОМАШЕВИЧ Владимир Максимович. Родился в 1928 г. в д. Водятино Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Прозаик, переводчик, редактор. Автор множества романов, повестей, рассказов. Заслуженный работник культуры Беларуси, лауреат Литературной премии имени И. Мележа. Умер в 2014 году в Минске.

ЧАРКАЗЯН Ганад Бадриевич. Родился в 1946 г. в Армении. Окончил Белорусский политехнический институт. Поэт, прозаик, переводчик. Пишет на курдском и армянском языках. Автор книг поэзии и прозы «Прочность», «Цвет доброты», «Пространство и время», «Тоска по дому», «Опередить смерть» и др. Живет в Минске.

КРАСНЕВСКАЯ Зинаида Яковлевна. Родилась в 1947 г. в Риге (Латвия). Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводчик, автор нескольких книг по проблематике перевода. Живет в Минске.

БОЛДОВСКИЙ Николай Яковлевич. Родился в 1937 г. в д. Кубок Невельского района Псковской области (Россия). Окончил Опочецкое педагогическое училище, филологический факультет Калининского педагогического института и Ленинградский университет искусств. Автор книг поэзии «Пульсар», «Кроны памяти», «Из родника... або з крыніцы». Живет в Полоцке.

ПЕЛЮШОНОК Юрий Анатольевич. Родился в 1957 г. в Минске. Окончил Белорусский институт физической культуры и медицинский факультет Тартуского университета. Прозаик. Автор книги «Strings For A Beatle Bass. The Beatles Generation In The USSR». Живет в Минске.

БОЯРОВИЧ Змитер (Дмитрий Владимирович). Родился в 1990 году в Минске. Окончил Институт журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, журналист. Автор книги прозы «Шалі». Победитель конкурса «БрамаМар» в номинации проза. Живет в Минске.

ДУБЕНЕЦКИЙ Эдуард Станиславович. Родился в 1966 г. в д. Чудин Ганцевичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Историк, культуролог, эссеист, поэт. Автор книг поэзии «Душы маёй няскончаны палёт» и «Покліч самотнага неба». Живет в Минске.

БОРИСЮК Татьяна Петровна. Родилась в 1971 г. в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета, аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Автор книги стихов «Автопортрет» и научных работ по современной белорусской поэзии. Печаталась в республиканских литературных журналах, газетах, альманахах. Живет в Минске.

БАДАК Алесь Николаевич. Родился в 1966 г. в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Главный редактор журнала «Полымя». Автор сборников поэзии «Будзень», «За ценем самотнага сонца», «Маланкавы посах», книг для детей «Верабей з рагаткай», «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» и др. Живет в Минске.

ХАСАНИ (Тхазеплов Хасан Миседович). Родился в с. Старый Черек Урванского района Кабардино-Балкарской Республики. Окончил Литературный институт им А. М. Горького. Поэт, Академик Адыгской международной академии наук, главный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария». Автор книг «Белая женщина», «Жизнь земная», «Лунный дождь» и др. Живет в Нальчике.

КУНИ Лула (Жумалаева Лула Изнауровна). Родилась в 1960 г. в г. Грозный (Чечня). Окончила Чечено-Ингушский государственный университет им. Л. Н. Толстого. Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Автор сборника статей «Детектор лжи», поэтического сборника «Гнездо на ветру» и др. Основатель и главный редактор журнала «Нана», Заслуженный работник культуры Чеченской Республики, Заслуженный журналист Чеченской Республики. Живет в Грозном.

ХОЛЬСТ Ханне-Вибеке. Родилась в 1959 г. в г. Йорринг (Дания). Окончила Высшую школу журналистики. Автор романов «Летом», «Чистое сердце», «Настоящая жизнь», «Великий Кнуд», эссе «Головная боль моей тетки» и др. Обладатель множества премий и призов. Живет в Дании.